

АРТКРАС

Израильский литературный журнал

АРТІКЛЪ



№ 4

Общественный фонд культурных связей
“Израиль - Россия”

Тель-Авив
2017

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

| | |
|--|-----|
| Дина Рубина. Снег в Венеции..... | 3 |
| Анна Файн. Небесный Цфат..... | 38 |
| Ирина Маулер. Добрая я..... | 42 |
| Эли Люксембург. Рядовой Ихвас..... | 49 |
| Григорий Подольский. Второгодник..... | 54 |
| Валентин Толецкий. На дне..... | 70 |
| Глеб Шульпяков. Римская элегия..... | 86 |
| Яков Шехтер. Бесы и демоны..... | 113 |

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|-----|
| Ирина Власова. Чашка с именем..... | 158 |
| Марина Ариэла Меламед. Сентябрь насвистывает лето..... | 162 |
| Игорь Губерман. Новые гарики..... | 166 |
| Игорь Божко. Кошка живет в мавзолее..... | 174 |
| Борис Фэрт. Звонки из вселенской прихожей..... | 181 |
| Дмитрий Стровский. Ничего не прошу у Господа..... | 188 |
| Григорий Кульчицкий. Счет к оплате..... | 193 |
| Михаил Каганович. Безнадежное наше занятие..... | 197 |

ДРАМАТУРГИЯ

| | |
|---|-----|
| Александр Карабчиевский. Важная персона..... | 201 |
|---|-----|

НОН-ФИКШН

| | |
|--|-----|
| Роза Ляст. Сокровищница Кейсарии..... | 214 |
| Галина Подольская. И.Е.Репин и его персонажи..... | 221 |
| Илья Абель. Возвышенное освоение священного..... | 234 |
| Эдуард Бормашенко. Обретение метафизики..... | 241 |
| Даниэль Клугер. Параллельные, которые сходятся..... | 252 |
| Михаил Сидоров. Ближний Восток: близок ли мир?..... | 255 |
| Аарон Мунблит. Три жены тому назад..... | 275 |
| Илья Корман. Город оживающих сюжетов..... | 296 |

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ПРОЗА

Дина Рубина

СНЕГ В ВЕНЕЦИИ

«...Вступает домино – и запретов более не существует. Все гениальнейшие в городе убийства, все трагедии ошибок случаются во время карнавала, в течение этих дней и ночей, когда мы – на миг – обретаем свободу от рабства паспортных данных, от самих себя...»

Лоренс Даррелл, «Балтазар»

Более всего этому городу идет ночь, и, вероятно, особенно хорош бывал он в зловещем свете факелов, в каком-нибудь семнадцатом столетии.

Впрочем, тревожное пламя факела и сейчас иногда озаряет вход в ночное заведение, заманивает в глубокую арку или обнажает подраненный бок кирпичной стены, – который неосознанно хочется чем-нибудь подлатать.

С наступлением темноты в черной воде каналов тяжело качаются огненные слитки света. Под каменным гребнем моста Рeальто ворочаются с боку на бок гондолы, задраенные на ночь синим брезентом. Мелкая волна раздает оплеухи набережным и сваям, а у входа в палаццо, где мы пьем последнюю за день чашку кофе, два гигантских фонаря на причале освещают витые деревянные столбы, увенчанные полосатыми чалмами, что свалились сюда из сказки о золотом петушке и Шамаханской царице...

Но бешеный рваный огонь возник перед нами во второй вечер карнавала, на узкой улочке в районе Каннареджо, на вид совсем

уж захолустной. Мы сбежали туда с площади Сан-Марко, чьи мраморные плиты, усыпанные конфетти, утюжила подошвами ботфорт и золоченых туфелек, мела подолами юбок и плащей возбужденная костюмированная толпа.

Только что на пьядце завершилось театрализованное представление в роскошных декорациях, возведенных по эскизам главного сценографа Ла Скалы. Золотом и бархатом сверкали расписанные красками фанерные ложи, экран на заднике сцены в десятки раз увеличивал фигуры отцов города в костюмах венецианских дождей, и когда, овеванные штандартами, они под барабанный бой и вопли фанфар спустились, наконец, со сцены, публика ринулась к трехъярусному фонтану, – подставлять кружки, пригоршни, футляры от очков и даже туфельки – под розовые струи вина провинции Венето...

А мы брели в туманном киселе февральских сумерек, дивясь меланхолическому одиночеству этой улицы, как бы утонувшей, исчезнувшей с карты карнавала, – возможно, по случаю перебоев с электричеством. Видимо, город, не выдерживая напряжения всех карнавалных огней, отключал на время какие-то, менее туристические районы. Хотя и тут мы то и дело натыкались на извечные венецианские промыслы: за арабской вязью низкой приоконной решетки мастерской по изготовлению масок лежал брикет скульптурного пластилина, стояла банка с кистями, кастрюлька с клеевым раствором, ступка с пестиком набекрень...

Мы шли, и я рассказывала Борису о вычитанной в одной из книг о Венеции изобретательной и веселой казни, которую практиковали в дни карнавалов: осужденного на смерть преступника выпускали на канат, натянутый для канатоходцев между окнами палаццо.

– Ну что ж, – благодушно отозвался Боря, – все-таки, шанс...

– О, да: либо пройдешь до конца и спасешься, либо – умри шикарной смертью артиста.

Вдруг из арки впереди выплеснулась лужа огня. За ней вынырнула фигура высокого мужчины в черном плаще с капюшоном. То, что это «моро», видно было не только по маске, но и по явно загримированной мускулистой руке, в которой пленным пламенем опасно захлебывался факел. Мы даже отпрянули, хотя карнавалый мавр находился шагах в сорока от нас.

– Ты идешь? – крикнул он по-английски кому-то за спиной.

– П-п-погоди, тужель спадает! – Из той же арки возникла выскокая тонкая фигура в лилово-дымчатом, цвета сумерек, платье, в серебристой полумаске и круглой шапочке на пышных каштановых кудрях. Девушка огляделась по сторонам, обеими руками подхватила подол юбки и заспешила вслед за своим грозным спутником.

– Хороши!.. – невольнo выдохнула я.

Они повернули к горбатому мостику в конце улицы (яростный огонь в вытянутой руке мавра метался по кирпичу стен, вывалился пылающий язык, словно ищейка на обыске), поднялись по ступеням на мост и канули – так за горизонт уходят корабли, – утянув за собой отблески пламени. И наступила тишина, такая, что в воздухе родился и долго дрожал где-то над дальним каналом стон гондольера:

– О-о-и-и-и!..

– Знаешь, кто это был? – спросил Борис. – Та странная пара, с нашего катера.

– С чего ты взял? Как тут опознаешь...

– Да по голосам, – отозвался муж. Довод в нашей семье убедительный: он безошибочно узнает голоса актеров, дублирующих западные фильмы.

– К тому ж, она заикается, – добавил он. – Ну, и рост: оба такие заметные... Наверное, костюмы напрокат взяли... Недешевое удовольствие! У них и чемодан был – помнишь, какой?

И пустился в рассуждения о том, что чернокожие очень органичны в этом культурном пространстве: достаточно вспомнить картины венецианца Веронезе, со всеми его курчавыми арапчатами, живописными иноземными купцами в тюрбанах, лукавыми черными служанками...

– Да и тот же Отелло, – подхватила я, – как ни крути, не последним тут был человеком.

Кстати, чернокожий портье у нас в гостинице был добродушен, предупредителен, расторопен и, на мой слух, отлично говорил по-итальянски. Впрочем, и я, на слух непосвященных, отлично говорю на иврите...

Мечта о венецианском карнавале сбылась неожиданно-негадано, и сбылась, как это часто бывает, в считанные минуты: просто я заглянула туда, куда обычно не заглядываю: в рекламный проспект компании «Виза», который получаю каждый месяц по почте, вместе с распечатками трат, по мнению моих домашних, «ужасающими». Там, наряду с путешествиями в глянцевые Барселону, Таиланд и Китай предлагался «Карнавал в Венеции: полет + три ночи в отеле»...Цена выглядела вполне одолимой, тем более, если покрошить ее на платежи, – как голубиный корм на Сан-Марко. И, не давая себе ни минуты, чтобы опомниться, я позвонила и радостно заказала два билета...

В то время мы с Борисом уже задумали эту странную совместную книгу, где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет книжный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной крестовины окна-сюжета. И без венецианских палаццо – с кружевным и арочным приданым их византийских окон, – вышло бы скучновато.

– Ну, ясно, отчего так дешево, – огорченно заметил мой муж.

Он изучал в Интернете карту на сайте отеля.

– Мы загнаны в Местре.

– Как?! С чего ты взял?! – ахнула я.

– С того, что неплохо на адрес гостиницы глянуть, прежде чем банк метать...

Я глянула и со стоном убедилась, что мы опять, из-за моего придурковатого энтузиазма обречены молотить кулаками воздух после драки.

А тут еще Борис припомнил слова нашей итальянской подруги о том, что на карнавальную неделю венецианский муниципалитет расставляет по городу регулировщиков, дабы направлять по узким улицам потоки туристов.

– На эти дни надо снимать комнату исключительно в центре, – говорила она. – Жить в пригороде во время карнавала – это самоубийство: сорок минут в электричке, толкотня, жулье, столпотворение народов, и уже к полудню – отброшенные копыта.

– Хочешь, пошарю в Интернете? – сочувственно предложила дочь, забежавшая к нам после университета. – Вдруг что-то выловлю...

– Да бросьте вы! – крикнул Борис из мастерской. – Безнадежно... Люди разбирают гостиницы на карнавал по меньшей мере за год.

Однако вечером дочь позвонила.

– Слушай, тут выплыла комната! Может, кто отказался. Отель – три звездочки, в двух шагах от Сан-Марко. Но – недешево. И учти, за номер в Местре денег вам тоже никто не вернет...

– Сколько? – нетерпеливо оборвала я.

Она назвала сумму, от которой я задохнулась.

– Сволочи, сволочи, сво-ло-чи!

– Само собой, не заказываем?

– Заказываем, само собой!!! – крикнула я, как раненный заяц. Деваться-то было некуда.

* * *

Мы опасались, что в очереди на катер «Аэропорт – Венеция» придется отстоять немало времени, но – приятная неожиданность – поток пассажиров хлынул к стоянке такси и сильно обмелел на подступах к кассам общественного морского транспорта. Так что, свободно купив билеты, мы вышли на причал и спустились в салон небольшого катера, что терпеливо вздрагивал на холодном ветру и всхлипывал в мелкой волне, как дремлющий пес на привязи...

Я плюхнулась на скамью возле иллюминатора и тоже задремала, а когда проснулась, катер уже взрыхлял лагуну, точно плуг – разбухшую почву, прогрызая в зеленой воде пенистый путь, и как от плуга, плоть волны разваливалась по обе стороны от винта. В какой-то момент поодаль возникла и развернулась каменная ограда кладбища Сан-Микеле... Зимнее солнце стекало по черному плюшу кипарисов на камни ограды, быстро перекрашивая их широкой кистью в розовый цвет. Мы огибали острова, причаливали, сгружали туристов, раскачиваясь и со стуком отирая бок о причал, и вновь сиденье подо мной дрожало, вновь дребезжало какое-то ведро на корме, и между бакенами убегал назад кипучий хвост адриатической волны...

Борис, как обычно, что-то набрасывал карандашом в дорожном блокноте, бегло вскидывая взгляд и опять опуская. Я скосила глаза на лист и увидела портреты двух пассажиров. Зарисовывать их можно было, не скрываясь: слишком оба заняты собой, причем, каждый – собой по отдельности.

Необычная пара: он – высокий, смуглый, атлетического сложения пожилой господин в длинном пальто, с абсолютно лысой, а может быть, тщательно выбритой головой брюзгливого римского патриция. А она... красавица из красавиц. Я даже себе удивилась: как могла пропустить такое лицо!

Юная, лет не больше двадцати, тоже высокая и смуглая, в расстегнутом светлом плаще, который она то и дело нервно запахивала. Редкой, прямо таки музейной красоты лицо, из тех, что глянешь – и лишь руками разведешь: нет слов! Как обычно, дело было не в классических чертах, что сами по себе погоды еще не делают, а в их соотношениях, в теплом тоне кожи, в каких-то милых голубоватых тенях у переносицы, в ежесекундных изменениях выражения глаз. А сами-то глаза, ярко крыжовенного цвета, глядели из-под бровей поистине соболиных: густые разлетные дуги, прекрасное изумление во лбу. Это все и определяло: неожиданный контраст смуглой кожи с весенней свежестью глаз, да еще роскошная грива темно-каштановых кудрей, спутанных маятой ночного рейса.

Господин в длинном пальто всю дорогу непрерывно говорил по двум телефонам, не обращая на спутницу ни малейшего внимания, хотя она то и дело к нему обращалась, даже подергивала за рукав, – как ребенок, что пытается обратить на себя внимание взрослого. Время от времени он вскакивал и разгуливал по салону катера, содрогавшемуся в усиллии движения, и вновь садился, нетерпеливо перекидывая ногу на ногу, иногда грозно порявкивая на невидимого собеседника. Похоже, он давал указания сразу трем туповатым подчиненным или заключал по телефону сразу три крупные сделки. Говорил на каком-то, смутно знакомом мне по звучанию языке, хотя девушке отвечал – да не отвечал, а буркал, – по-английски. Возможно, ему не хватало терпения ее выслушивать: она довольно сильно заикалась. Юной красавице он годился в отцы, хотя мог быть и мужем, и возлюбленным, и боссом.

Наконец, дорога меж бакенами сделала очередную дугу, катер лег на бок, разворачиваясь, и утренней акварелью на горизонте – слоистая начинка черепичных крыш меж дрожжевой зеленью лагуны и прозрачной зеленью неба – открылись купола и колокольни Венеции, к которой катер энергично припустил вскачь,

как пес, завидевший хозяина.

...Интересная пара сошла на остановке «Сан-Заккария». Поспевая за мрачноватым спутником, девушка пыталась обратить его внимание на глянцевый листок какой-то рекламы, который извлекла из сумочки. В тот же миг в кармане его пальто очередной раз грянул марш, он выхватил телефон и прикипел к нему, отмахиваясь от девушки.

– Ты обратила внимание, какой у них чемодан? – спросил Борис.

Явно очень дорогой чемодан на упругих колесах, с множеством накладных карманов, застежек и ремней катил за хозяевами послушно и легко, и казался общим ребенком, которого усталые родители волокут домой за обе руки.

* * *

Наш отель стоял на одном из каналов. Попасть в него с набережной можно было только через горбатый мостик: мини-аллюзия на замок с перекидным мостом через средневековый ров. Высокие окна вестибюля, – днем, несмотря на холод, открытые, – тоже выходили на канал, и во всех трех – изобретательная дань карнавалу! – присели на подставках дивные платья 18 века: одно – классической венецианской выделки, бордо с золотом, все обшитое тяжелым витым шнуром; второе – пенно-голубое, сборчатое, облачное, обвитое лентами по плечам и талии, присыпанное серебряными блестками по кромке открытого лифа. Третье же – черное, траурное, отороченное белыми перьями, – оно и было самым завораживающим, и стоило любой увертюры. А длинные накидки к платьям, искусно уложенные драпировщиками, в изнеможении спускались по ступеням до самой воды...

Присутствие жизни восемнадцатого столетия было столь ощутимым, что самыми несуразными и неуместными казались мы, с нашими фотоаппаратами.

Зато на соседней площади процветал модный магазин-галерея, где дизайнерскую одежду представляли забавные манекены: вырезанные из фанеры и искусно раскрашенные венецианские дожи, в чем мать родила. Причем, это были вполне исторические лица, о чем свидетельствовали таблички: почтенные старцы Леонардо Лоредано, Франческо Донато, Себастьяно Веньер и Марк

Антонио Тривизани стояли в коротких распахнутых туниках и в дамских туфлях на высоких каблуках. Их жилистые ноги и козлиные бородки в сочетании с женской грудью, вероятно, должны были что-то означать и символизировать – не саму ли идею карнавала, стирающего без следа приметы лица и пола?

* * *

– Нет, нет, – повторял Боря, продираясь сквозь вечернее столпотворение на пьянце Сан-Марко, поминутно оглядываясь, – поспеваю ли я за ним. – Нет, это профанация великой темы. И грандиозные деньги, вкопанные в туристический проект.

И в самом деле: умопомрачительное великолепие костюмов встречных дам и кавалеров наводит на мысль о статистах, оплаченных муниципалитетом Венеции. Уж очень дорого обошлись бы такие костюмы обычным туристам, уж слишком охотно персонажи останавливают свой величавый ход и дают стайкам фотографов себя снимать. Они кланяются, садятся в глубоком книксене, трепещут веерами и элегантно отставляют трости, напоказ расправляют плечи и раскрывают медленные объятия...

Мы опоздали к открытию карнавала, к волнующему “Il volo dell’angelo”, – «Полету ангела». Правда, в самолете по телевизору мелькнул этот, действительно потрясающий эпизод карнавала: прекрасная ангелица – а la лыжник с горной вершины, – съезжала на металлическом тросе с высоты колокольни Сан-Марко, и летела, и летела к Палаццо Дукале, а за ней пламенеющим драконом стелился над площадью двенадцатиметровый плащ, сшитый в виде гигантского флага Венеции.

Ко времени нашего приезда карнавал уже созрел, как пунцовая гроздь винограда, настоялся на озорной и злой свободе, как хорошее вино, а, главное, оброс многолюдными компаниями, что шляются весь день, от одной траттории к другой, или просто колбродят с полудня и до рассвета по улицам, набережным и мостам.

Часам к одиннадцати утра ты оказываешься в тесном окружении знакомых и незнакомых личин и персонажей, в коловращеньи масок, полумасок, плащей, накидок, пелерин...Круглощечки «вольто», лукавые «коты», клювоносые «доктора чумы», безликие домино, прекрасные венецианки, коломбины, арлекины, де-

моны и ангелы; наконец, самые распространенные: зловещие, с подбородками лопатой, с выразительным именем «ларва» – белые маски к черному костюму «баута»... и прочие традиционные персонажи карнавала вперемешку с изумительно сшитыми, действительно штучными изысканными нарядами.

Где-то я вычитала, что коренные венецианцы никогда не берут напрокат костюмы в лавках, предлагающих товар приезжим иностранцам. Они комбинируют, подправляют, перешивают старые костюмы персонажей комедии дель-арте, что сохраняются в семьях из рода в род, несмотря на то, что современный карнавал возродился не так давно, – годах в семидесятых прошлого столетия.

Словом, к полудню ты вовлечен в водоворот сорвавшихся с привязи туристов.

Ты утыкаешься в спины и животы, облаченные в камзолы и платья, из шитых золотом: парчи, атласа, бархата, гипюра и муара; извиняешься перед гобеленовой жилеткой, шарахаешься от мундиров всех армий и времен (с преобладанием почему-то формы наполеоновской гвардии); перед тобой мелькают пудренные парики, павлиньи перья, ожерелья и кружева, боа и манто, мех горноста, плюсовые и гофрированные воротники, красные и синие кушаки...

А уж шляпы – это здесь особый вид низко летающих пернатых: залихватские треухи, широкополые многоэтажные пагоды с цветами и бантами, крошечные прищепки с вуалями и мушками, островерхие шляпы звездочетов, шутовские двурогие колпаки с бубенцами, а также тюрбаны, чалмы, треуголки, фески... И в этой тесноте надо беречь глаза и лбы от тюлевых зонтиков, золоченных тростей, перламутровых лорнетов, мушкетов, шпаг и кривых ятаганов...

Вокруг – кобальт и пурпур, мрачное золото и старое серебро венецианских тканей, леденцовый пересверк цветного стекла, трепет черных и белых вееров, невесомое колыханье желтых, лиловых, лазоревых и винно-красных перьев и опухал.

Если удастся скосить глаза вниз – видишь парад изящнейших тупфелек, высоких ботфортов, пряжек и шпор, но и кроссовок тоже, и банальных зимних ботинок и сапог – не у всех достает денег или вкуса для полной экипировки...

На площадях, на центральных улицах расставлены складные столики с коробками и баночками грима; за небольшую плату тебя разукрасят так, что родная мама остолбенеет. За считанные минуты волен ты присоединиться к карнавальному большинству. Сначала и я подумывала – не изукраситься ли как-нибудь эдак, – но увидев трех разухабистых пожилых дам с нарисованными флагами Италии на дряблых щеках, решила не рисковать.

– Нет, это в былые времена романтика карнавала чего-то стоила, – бубнил мой муж, натываясь на барабан, висящий у кого-то на поясе, и извиняясь перед чьей-то спиной. – Демоны Хаоса выходили из подполья... летели все тормоза, все сословные предрассудки. Вихри темной воли закруживали город. И тогда уж ни патриция, ни инквизитора, ни конюха, ни монаха... Ни жены, ни мужа, ни любимого... Воздух был пропитан запахом вендетты! Треуголка на голове, шпага и черный плащ наемного убийцы, безликая «ларва» на лицо – вот она, твоя личная смертельная игра, твой образ небытия, твои призраки ночи в свете факелов... А это вокруг – что? Развлекуха для богатых иностранцев.

Стоит только покружиться часа полтора по пьяцце Сан-Марко и окрестным улицам и площадям, – и на тебя накатит особый род карнавального отупения, – когда ничто уже не может остановить и задержать хоть на мгновение твой рыщущий взгляд: ни дама с золотой клеткой на голове, в которой две живые зеленые канарейки прыгают и распевают, заглушаемые барабанным боем и гомоном толпы; ни жонглеры на ходулях, ни живые скульптуры на каждом углу; ни ансамбль фламенко, пляшущий на отгороженном рюкзачками пятакке пьяцетты...

Нет, вру: в память врезался мальчик лет двенадцати: худенький даун в черном костюме дворянина со шпагой, но без маски. Он стоял на ступенях какой-то церкви и смотрел вниз на пеструю визжащую толпу. Его, типичное для этого синдрома, монголоидное лицо выражало странную сосредоточенность, не вовлеченность в бурлящее вокруг веселье. Он крепко держал за руку маму, тоже одетую в карнавальный костюм, и пристально смотрел в одну точку перед собой, как бы сверяя с кем-то внутри или вовне свои мысли, а уголки его губ изредка выдавали тайную улыбку:

вот я тоже здесь, я тоже в костюме, я ждал и готовился, и я тут, на карнавале, как все вы...

По ступеням на папёрть взбежала хохочущая Коломбина, с намерением повеселить друзей внизу то ли спичем, то ли еще каким-либо вывертом, но наткнулась на отрешенный взгляд мальчика и прыгнула вниз, снова ввинтившись в толпу.

Я тоже встретилась с ним взглядом и замерла: черный ангел, вот кто это был. Черный ангел, посланец строгий, напоминающий: – да, карнавал отменяет все ваши обязательства, все условности, все грехи... Веселитесь, братцы. Веселитесь еще, крепче веселитесь! Но я-то здесь, и я вижу, все вижу...

* * *

К концу первого дня перестаешь фотографировать каждого встречного в костюме. На второй день к ряженым привыкаешь так, что именно их начинаешь принимать за коренных венецианцев. Уж очень органичны все эти плюмажи, парики, трости и веера в арках и переходах, на мостиках и каменных кампо, на стремительных гондолах, которые всем своим обликом и самой своей идеей предназначены к перевозке таких пассажиров...

И тогда возникает странный перевертыш восприятия: как раз туристы в современной одежде, зрители и ценители карнавального действия, прибывшие сюда со всех концов света, производят диковатое впечатление посланцев чужой, технологически развитой планеты. Вот и движутся бок о бок по улицам и площадям самого странного на земле, прошитого мостками, простеганного каналами нереального города представители двух параллельных цивилизаций.

* * *

Нам повезло даже и в метеорологическом смысле: колючий зимний дождик покропил нас лишь в первое утро. Зато лохмотья тумана чуть не до полудня носились над лагуной, цепляясь за колокольни и купола, – как безумные тени Паоло и Франчески.

Мы выходили из отеля еще затемно, когда карнавальная Венеция уже засыпала после буйной ночи. Февральский холод немедленно запускал ледяные щупальца за шиворот. Немилосердно стыли руки, глотки тумана оставляли на губах вязкий водорослевый привкус. В тишине спящего города, в рассвет-

ной мгле лагуны перекликались лишь гондольеры, торопящиеся выпить чашку кофе в ближайшем заведении:

– Микеле! Бонжорно, команданте! – голоса глохли в тихом плеске воды...

Безлюдье улиц и набережных на рассвете было само по себе удивительным – в этом городе в дни карнавала, – но в нем-то и заключалась притягательная странность наших прогулок по зыбкому краю ночи. Впрочем, редкие туманные тени то и дело возникали перед нами на мостах, подозрительно юркали в переулок, стыли в парадных и нишах домов.

Однажды из-под моста вынырнула крыса, бросилась в воду и переплыла канал...

В первое же утро (все – в сепии, все являет собой рассветный пепельный дагерротип: арка со ступенями к воде, смутный мостик вдали, черный проем дверей уже открытой церкви, вода цвета зеленой меди, взвесь острых капель на лице...) – нас обогнал и последовал дальше длинный и тонкий господин в норковой шубе до пят. Словно мангуста или еще какой хищный зверек вдруг поднялся на задние лапы, виляя нижней частью туловища, быстро взбежал на мостик и, прежде чем исчезнуть в рассветном сумраке, вдруг обернулся на миг – я схватила Бориса за руку, – в маске мангусты или хорька блеснули черные глазки.

Можно было лишь гадать о ночных похождениях данного хищника...

2

В какой момент мы стали придумывать сюжет для тех двоих, – для пары с нашего катера? Когда встретили их в галерее Академии? Да нет, в ту минуту мы лишь переглянулись – надо же, какие бывают невероятные совпадения: в третий раз столкнуться в городе, – допустим, это маленькая Венеция, допустим даже – карнавал, то есть, бесконечное кружение по одним и тем же улицам, неизбежные пересечения в густом вареве многолюдья...И все же...

В Академию мы попали после утреннего похода на воскресный рыбный рынок. Но еще раньше, выйдя из отеля и понимая, что буквально через час-другой пестрая толпа вывалит на улицы, решили обойти несколько площадей в районе Дорсодуро и Сан-

Поло. Мы охотились за окнами исконно византийского кроя, и радовались, когда удавалось обнаружить на фасаде какого-нибудь палаццо не замеченную прежде разновидность этого стиля – с наверхшиями, точно ладони, со сложенными легонько пальцами в характерном жесте индуистского танца, или дружную чету высоких узких окон, похожих на островерхие шапки кочевников.

Тогда Борис выхватывал фотоаппарат и принимался искать нужную точку обзора – отбегал, приближался, закидывая голову, делал помногу снимков.

И вновь сожалел, что среди романтического размаха этой невероятной архитектуры уже не встретишь роковых игрищ средневековых страстей... Полет плюс три ночи в отеле, повторял он, саркастически улыбаясь, – жалкая участь туриста! Даже не знаю, на что ты собираешься нанизать всю эту красоту, говорил; мне-то что, – я живопись в каждой подворотне найду. А вот ты? Где сюжет? Сюжет где?! И высоким трагедийным голосом в десятый раз за эти дни читал Вяземского:

Экипажи – точно гробы,
Кучера – одни гребцы.
Рядом – грязные трущобы
И роскошные дворцы.
Нищеты, великолепия
Изумительная смесь;
Злато, мрамор и отрепья:
Падшей славы скорбь и спесь!

Я огрызалась: не травы, мол, душу. Однако в чем-то он был прав: такие фасады взывали к страстям и драмам отнюдь не туристической температуры.

Между тем, в нашей «венецианской котомке» уже было изрядно собрано окон: угловых балконных, трехчастных палладианских, готических, ренессансных, с полуциркульными арками и с арками в форме взметнувшегося пламени; с витыми миниатюрными колонками, разделяющими полукруглых близнецов. Были окна, что стояли в низкой ограде балкончика, точно стакан в подстаканнике. Встречались и парадные, со звонкими витражами в

свинцовых переплетах, и таинственные – со стеклами в дутых кругляшах, словно заводи с икринками...

Когда раздвигались складчатые кулисы их ставен, – зеленых, темно-голубых или карминных, – казалось, что вот-вот начнется действие. Любому персонажу в окне, любой, случайно возникшей там фигуре, это придавало восхитительную театральную загадочность.

Во время одной из прогулок мы видели, как в темно-красных кулисах на третьем этаже небольшого палаццо возник молодой человек. Он быстро и раздраженно что-то говорил по телефону, протягивая руку с сигаретой в окно, словно обращался к публике внизу, на площади. Это был весьма пылкий монолог, изумительно оркестрованный интонационно: голос то взлетал в вопросительном броске, то скандировал слова в патетическом утверждении, то бессильно соскальзывал в стонущей просьбе вниз...

Здание явно стояло на ремонте.

– А это подрядчик базарит с поставщиком, – предположил Боря. – Что-то там не завезли, бригада простаивает. Но какая убедительность, какие пластичные жесты, какое византийское величие мизансцен!

И вот, первая утренняя «заметка»: на кампо Санта-Мария Фор-моза о чем-то долго препирается и договаривается группа престарелых американских туристов (возможно, члены ассоциации друзей карнавала) – в помпезных, явно дорогих костюмах дам и кавалеров шестнадцатого века. Затем, они долго выстраиваются попарно (дама об руку с кавалером), и, наконец, – очень серьезные, даже насупленные, – медленно и торжественно пересекают площадь, в полном молчании шаркая средневековыми туфлями, и удаляются в арку с указателем: «Реальто»...

Мы нырнули туда же, миновали гребенку Реальто, задраенную плотной рябью металлических жалюзи, и оказались на задах Рыбного рынка. Здесь еще были спущены кулисы – синие, красные и зеленые брезентовые полотнища. Но рынок уже проснулся, уже расправлялась его морская душа, его торговые щупальца уже тянулись к самым дальним прилавкам.

По мере разгрузки моторок, барок и барж, что чалются на бовом к рынку канале, по мере того, как солнце все ярче румянит

докторские раструбы старинных каминных труб, а заодно и жирных голенастых чаек, сидящих на них в ожидании законного завтрака, – брезентовые кулисы взвиваются и сворачиваются, как цветные паруса, превращаясь в тяжелые бревна перевитых свиных колбас. Зрению зевак, туристов и хозяек предстают интимные внутренности лагуны, разложенные на прилавках в изысканно продуманном порядке, как жемчужные и коралловые нити, браслеты и диадемы – в витринах ювелирных лавок.

Черные, как гондолы, раковины мидий, буро-зеленые орешки вонголе, бледные лоскуты камбалы, перламутровые россыпи осьминогов, опаловые коконы креветок, панически растопыренные ладони морских звезд, будто вырезанных из раскрашенного картона, и – неисчислимые ломти рыбной плоти: алые, розовые, лиловые, голубоватые...

И все время от причала к прилавкам снует неугомонная массовка, пронося на головах тяжелые ящики, полные серебристого шелка какой-нибудь макрели.

Тут мы видели одно из самых завораживающих зрелищ карнавала, будто поставленных все тем же вездесущим сценографом Ла Скалы: уже сгрузив товар, на пустой грузовой гондоле стремительно уносились по Гранд-Каналу два рыбака в одинаковых накидках, сшитых из множества треугольных лоскутков – бирюзовых, солнечно-желтых, винно-красных, фиолетовых, черных и белых – какая веселая пестрядь лопотала в той безумной чешуе! Каждый лоскут, как флажок, пришит лишь одной стороной, и трепыхался на ветру, отчего накидка шевелилась на спине, как живая шкура. И два эти цветастых сказочных дракона летели гонцами по Гранд-Каналу, синхронно погружая в воду багры и синхронно выпрямляясь, взрезая ножом гондолы серо-зеленую толщу воды...

...В Академии Борис собирался показать мне только две картины. Он всегда клятвенно уверяет меня, что мы лишь «заскочим на минутку в один зал, бросить взгляд», и всегда мы застреваем там на полдня, после чего, еле передвигая пудовые ноги (как известно, ни один военный поход по изнурительной тяжести не может сравниться с топтанием по залам музеев) – я годна лишь на то, чтобы добрести до койки в отеле и надолго обратиться в святые мощи...

На сей раз он торжественно обещал, что речь идет максимум

о часе, ну... двух, «вот, смотри – мы буквально пробегаем все первые залы: Карпаччо – на фиг, Беллини – на фиг, Джорджоне и Басано – свободны навек...

Вот, да, – именно этот зал, по нашей оконной теме...Подойди-ка сюда... Стань по центру, отсюда лучше посмотреть. Вот и смотри...и смотри...»

И умолк: кот, добравшийся до сметаны.

Я привыкла. Я даже знаю, сколько нужно помолчать, прежде чем мой муж начнет говорить, объясняя – почему мы стоим именно перед данной картиной. Но на сей раз ничего объяснять ему не пришлось: передо мной развернулась аркада с пиршеством такого размаха, что дух захватывало; сквозь высокие арки мраморной колоннады празднично сияли вдали небо Венеции, розовый камень ее церквей и колоколен, округлые чалмы ее куполов, балконы и балюстрады ее палаццо. А за длинным столом и вокруг него пребывали в кипучем движении знатные патриции и горожане, купцы, карлики и арапчата, и целая гурьба беспокойных расторопных слуг. «Пир в доме Левия» – грандиозное, во всю стену огромной залы полотно кисти Паоло Веронезе.

Будто карнавальная толпа хлынула сюда с пьядцы Сан-Марко и застыла в детской игре «замри!» Во всяком случае, персонажи на картине были одеты в те же костюмы, что и утренняя группа американских туристов на кампо Санта-Мария Формоза. Движение каждого началось минуту назад, и в любую минуту было готово продолжиться.

Казалось, можно войти в картину, усесться за стол, налить себе вина, побродить среди колонн, потрепать за щечку девочку на переднем плане... Можно было без конца рассматривать и открывать все новые бытовые детали, – например, как идет носом кровь у одного из персонажей...

– Какая сила, а? какая легкость цветовых сочетаний...– проговорил мой художник с явным удовольствием. – Краски прямо звенят, кипят!.. И ведь ему, в сущности, плевать на историческую основу евангелий: разве это древняя Иудея? Какой там Левий, при чем тут времена Иисуса! Его интересуют только Венеция и венецианцы – их жизнь, быт, одежда.

– Да уж, – заметила я. – Некоторая цветовая э-э-э...отвага в одежде присутствует: тона, прямо скажем, витражные...Такая книжка-раскраска в детском саду. Вон, Иисус – хитон розовый,

плащ на плечах темно-зеленый. Воображаю кого-то из моих знакомых в подобном прикиде в общественном городском транспорте, например.

– Ну и что, это были джинсы и блейзеры того времени, – возразил Борис. – Хотя, насчет цветовой жизнерадостности ты права – она и вышла ему боком: его вызывали в суд святейшей инквизиции, за богохульство – как, мол, посмел в евангельской сцене изображать шутов, карликов, пьяных немцев и прочие непристойности... Между прочим, есть протокол допроса.

– Да что ты! А он?

– Он держался молодцом: а что, говорит, у художника есть те же права, что у поэтов и безумцев...

– Неплохо. А инквизиция в те годы уже не сжигала художников?

– Не помню подробностей, но с Веронезе как-то обошлось. Он много чего еще написал, и везде – праздник, свет, огромные окна или арки в голубое небо. В конце концов, все дело в самоощущении художника. Веронезе всегда стремился вовне, его привлекал внешний мир, выход в него, отсюда и окна, и все эти сквозистые арки... А теперь вот сюда посмотри... – Он взял за плечи и развернул меня лицом к картине на соседней стене. – Совсем иной мир, правда? А жили в одном городе, наверняка хорошо знали друг друга.

Это была «Пьета» Тициана. Классический сюжет – оплакивание Христа. Сцена, как и полагается, мрачная по настроению: мертвое тело, окаменевшая в своей скорби Мария, вопящая в пустоту Мария Магдалина и коленапреклоненный старик Никодим, в котором Тициан, говорят, изобразил себя самого.

Да, это не пир... Вот уж где мрачный тупик – глухая ниша в стене, темный камень, полное отсутствие окон или арок; ни воздуха, ни света, ни надежды. Все сумрачно в этой последней картине Тициана.

– Похожа на надгробную плиту...

– Именно. Он и замыслил ее как собственное надгробье в любимой церкви Фрари, мечтал, что его там и похоронят. Но не вышло... Он ведь не закончил картины – ухаживал за больным сыном (была очередная эпидемия чумы), заразился и умер... Так что, заканчивал картину его ученик Пальма-Младший, и одному

богу известно – сколько там напортачил.

– Какой-то бурый сумрак... – почему-то перейдя на шепот, сказала я.

– Да, краски скрытые, приглушенные, но смотри, какая – в каждом ударе кисти, – мощная осязательная пластика!

Он повторил, задумчиво продолжая разглядывать картину:

– Да: невероятная пластическая мощь. В сравнении с нею даже персонажи Веронезе кажутся фанерными...И ведь это писал глубокий старик, изживший все, кроме своего могучего дара!

– Нет, не вижу, – в сомнении пробормотала я, – не понимаю... Будто все под водой.

– Совершенно справедливо. Это – отчаяние человеческого существа, что погружается на дно небытия. Или, если хочешь – судьба Венеции, уходящей под воду. Во всяком случае, о Венеции это говорит мне больше, чем все литературные и исторические...

– А ему было п-п-п-лывать, что Господь т-т-т-трахнул его жену?

Звонкий молодой голос раскатился по залу, подпрыгивая на согласных...Мы оглянулись, и я тихо пихнула мужа локтем в бок. Вот уж кого совсем не ожидала тут увидеть.

Наши мимолетные попутчики с катера стояли недалеко от нас, перед картиной с очередным поклонением волхвов. Неясно было – что, собственно, они нашли именно в данной картине, являвшей типовую мизансцену этого евангельского эпизода: в красноватой полутьме пещеры – благообразный старик Иосиф, слишком миловидная и ухоженная для хлева Дева Мария над колыбелью с Младенцем, а также овцы, козочка, ослик...

В ответ на резонный вопрос девушки (который, признаться, и меня когда-то интересовал), ее плечистый спутник что-то раздраженно и неразборчиво пробормотал.

– И он ей п-п-поверил?! – простодушно настаивала юная дева.
– П-поверил, что у них н-н-не было настоящего секса?!!

Мы переглянулись и поспешили к выходу из зала...

...– Знаешь, что мне напомнили эти любители прекрасного? – сказал мой муж, улыбаясь и ссыпая в кофе сахар из пакетика. – Одну сцену, которую я видел в Русском музее.

Мы сидели неподалеку от моста Академии, за столиком кафе на фундаменте Ферро. В двух шагах от нас, у причала вапоретто, на пяти толстенных сине-красных сваях сидели пять толстенных нахохленных чаек, – по одной на насесте. Тонкий змеиный ветер штопором закручивал в зеленой воде канала мелкие гребешки пены.

Кофе нам принесла официантка с внушительной корзиной цветов на голове. Непонятно, как она с этим грузом умудрялась обслуживать клиентов, да и просто держать равновесие. При виде нее я вспомнила сразу и ящики с рыбой у торговцев на сегодняшнем рынке, и пожилых узбечек моего детства, с тазами, полными яблок на головах.

– Я оказался там в один из приездов в Питер, – где-то в конце семидесятых. Ну и, в очередной раз выстаивал перед «Последним днем Помпеи». Как я стою, ты знаешь – пятнадцать, двадцать, сорок минут...Рядом со мною стоит какой-то мужик, по виду – совершенный работяга. Ну совсем уж странный в окружении изящного искусства. Он стоял и как-то ошалело разглядывал всю эту багровую вакханалию Везувия, всю, так сказать, роскошь сюжета – понятно, что живописные и композиционные глупости его не волновали...И вот на какой-нибудь двадцатой минуте этого остолбенения он вдруг широко развел руками и всей грудью выдохнул великую фразу: – «Усе попадало!!!»

Я кивнула:

– Бывает, конечно. Шофер-дальнобойщик, выперли его из гостиницы раньше времени за вчерашнюю пьянку. А тут дождь, спрятаться негде, деньги пропил, а билет в музей стоит копейки...Согласись, что эти в зале Академии выглядели примерно таким же образом, несмотря на дорогой прикид.

– А что ты про них знаешь? – усмехнулся Борис. – Может, это члены международной банды грабителей музеев на полевых учениях? Разведка боем, так сказать. Проверка сигнализации, расположения залов и переходов ...

– Не годится, – отмахнулась я. – С их ростом? С ее внешностью, с таким звонким заиканием? Их же за версту видать обоих.

Боря внимательно проследил взглядом плавное приземление какой-то морской птицы – то ли чайки, то ли альбатроса – на крыше каюты белого катера, и сказал: – Вот и придумай для них

сюжет. Сочини – с какой это стати они в карнавальных костюмах оказались вчера на окраине Венеции? Заблудились? А может где-то в сыром подвале была у них тайная встреча с главой наркокартеля? И как это их в музей сегодня занесло – шли в казино, ошиблись дверью?...И не маши на меня, чего руками-то махать. Мое дело маленькое: ты придумай, а я тебе картинку с ними напишу...

Сваи у причала набережной торчали вкривь и вкось, как иглы в портновской подушечке. Едва ли не на каждом балконе палаццо, за именем которого лень было лезть в путеводитель, колотились на ветру малиновые с желтым флаги Венеции: крылатый лев, похозяйски положивший лапу на евангелие от святого Марка.

* * *

Ночью я проснулась от гулких веселых выкриков.

Чертыхаясь, поднялась выпить воды и подошла к окну.

Оживленная компания, не успевшая за ночь растратить силы, возвращалась, надо полагать, с костюмированного бала, какие в период карнавала устраивают для избранных персон дирекции знаменитых палаццо и дорогих ресторанов.

Наше окно выходило на крошечную площадь со старинным колоннадом, похожим на могучий, кудрявый от мраморных кружев, пень. В глубокой чаше площади золотой – в свете круглых фонарей – туман; еще не вязкий студень неббии, но вполне ощутимые клубни холодных паров Лагуны. В этом подводном тумане четверьмя резвящимися рыбами плавали двое мужчин в черных треуголках и черных плащах, и две женщины, закутанные в белые накидки. Один из мужчин что-то выкрикнул басом по-немецки – дамы дружно и очень заразительно засмеялись. У себя в Ганновере или в Саарбрюкене, подумала я, они в это время видят детский сон и соблюдают покой соседей...

Компания пересекла площадь и удалилась в низкую арку в дальнем ее краю. И там, внутри, еще похохатывало гулкое эхо ответной женской шутки, потом все звуки проглотил и зачавкал туман.

В этот миг – такое со всеми случается – мне показалось, что я не раз видела этих людей, закутанных в плащи и накидки, ныряющих в эту, вот, гулкую старую арку; что в другой жизни я, вероятно, здесь родилась, и вид гуляк, под утро бредущих домой,

старый колодец в центре площади, и томительное эхо поздних голосов в тумане венецианских дворов, – когда-то были мне привычны, и мною любимы, как в нынешнем воплощении любимы и привычны испепеленная жарой небесная твердь над Иудейской пустыней...

– Что там, гульба? – сонно пробормотал Борис.

Я легла и сказала вполголоса:

– Насчет тех двоих: это дядя с племянницей...

Он приподнял голову с подушки, молча вглядываясь в темноте в мое лицо.

– Он – азербайджанский нефтяной воротила, – продолжала я шепотом. – Отец девушки недавно умер, мать не в состоянии сладить с дочерью: слишком уж резва. Тогда младший брат отца – а он давно тайно влюблен в племянницу, – сбегает с ней в Венецию на три дня. Предлог – сироту надо пристроить в приличный европейский колледж...

– ...и заодно потренироваться здесь в английском, – буркнул Борис, снова откидываясь на подушку, – а то азербайджанский им обоим надоел. Слушай, какой колледж в феврале? Нет, это полная чушь, они вовсе не родственники. Он – турок, глава крупной страховой компании. У него в Риме встреча с партнерами. Он берет с собой юную секретаршу и вылетает на три дня раньше, чтобы...

– ...чтобы, опять-таки, потренироваться в английском, – подхватила я. – Не годится! У турчанки семеро строгих братьев-мусульман, которые за подобную вольность с сестрой оторвут главе страховой компании яйца...И еще: ни азербайджанский воротила, ни турецкий страховщик не попрутся в галерею Академии, будучи в Венеции в период карнавала.

– Согласен... – он похмыкал, подумал. – Тогда вот что: мужик – владелец одной из лондонских картинных галерей. Вообще-то, он албанец.

– С какой стати?

– Родился таким. Но закончил Кембридж.

– Ах, вот как... Ну а она?

– А ее он как раз подцепил в Риме, в гостинице. Она не совсем проститутка, просто девушка в службе отеля. Отсюда приличный английский. Вполне возможно, что она студентка; она фантасти-

чески красива, привыкла к ошарашенным взглядам мужчин, на сей раз решила чуток подзаработать: мужик явно богат, обещал хороший отель, шикарный карнавальный костюм, то, се... Причем, обещания свои выполнил, хотя надоела она ему уже на второй день знакомства.

– Такая красавица? Вряд ли...

– Тогда не знаю. Видимо, у меня творческий кризис... Вообще, я бы еще поспал часик...

3

Мы купили мне полумаску, испещренную нотными знаками – надо же хотя бы минимально соответствовать игривому буйству карнавальной толпы.

Между прочим, ничего особо веселого в венецианских масках нет: они зловещи. Попробуйте надеть хотя б одну и гляньте на себя в зеркало – вы отшатнетесь. Неподвижность маски придает образу невозмутимость покойника и вызывает в памяти древние ритуалы диких народов. И оно понятно: обстоятельства жизни в те людоедские времена требовали от человека перевоплощения в иную, желательную, страшноватую сущность, дабы отпугивать врагов, болезни и смерть. Недаром чуть ли не самой популярной маской в Венеции была «доктор чумы», с ее ужасающим носом-клювом, – впрочем, вполне объяснимым: в эпоху опустошительных эпидемий в этот клюв засыпались благовония, якобы берегающие врача от заразы.

Как ни странно, наиболее живыми и убедительными ряженые выглядят сзади; так, в теснейшем переулке мы с трудом разминулись с японским самураем в полном боевом облачении; спереди он был смешон, сзади – страшен. В другой раз навстречу нам стремительно шел пилигрим (полы длинного балахона распахивались от быстрого шага, на плече полукруглой скаткой лежал алый плащ). И обернувшись вслед, мы восхитились лаконичной целостностью образа, его уместностью меж темных кирпичных стен, как бы пропитанных ненасытным пурпуром старого вина...

А гондолы, эти странные носатые ладьи, черные грифы лагуны – разве не подходят они более всего к перевозке мертвых на Сан-Микеле? Разве чуткое воображение человека впечатлительного

могут заморочить дурацкие украшения, которыми современные гондольеры привлекают туристов, – вроде золоченных морских коньков и фигурок святого Микеле с флажком Италии в руке? Разве не бросает в дрожь от одного лишь взгляда на расшитые цветным стеклом спинки роскошных кресел, втиснутых в узкие ребра этого скорбного погребального челна?..

Кстати, великолепие венецианских витрин с искрящимся водопадом цветного стекла и фарфора, с хороводом масок и костюмов действует на воображение именно своим мощным цветовым напором, избыточностью материала и форм. Но стоит купить за какие-нибудь 15 евро одинокий сувенир...как он немедленно (словно золушкина карета – в тыкву) превращается в ширпотреб. Проверено. И даже изящные украшения из цветного стекла Мурано не играют, не работают, никого не украшают в каком-нибудь Бостоне, Калуге или Иерусалиме. Они восхитительны здесь, в этом городе, когда они – часть зачарованной стихии, застывшие капли и гребни адриатической волны, кристаллический образ лагуны, фигуры и монстры потаенных снов...

Так тускнеет извлеченная из воды влажная галька, что минуту назад переливалась золотистыми и фиолетовыми искрами в прозрачной волне. Так умирает жемчуг...

* * *

Вечерами броуновская бестолковщина карнавала сгущалась в заторы с истерическим весельем: то и дело группки ряженых перекрывали улицу или переулок, пока какой-нибудь арлекин или кавалер, с торжествующим криком «шайсе!», наконец не одолевал пробку в бутылке шампанского, и страшно гогоча, приставив бутылку к чреслам, не запускал в лиловое небо пенящуюся струю.

Ночной холодный воздух взрывался голубыми залпами электрических шутих – их поминутно пуляли вверх азиатского вида торговцы. На каждом шагу под фонарями ахали петарды, извергая радужный пепел конфетти, и во все концы бескрайней пьядцы мела цветная пурга.

Голубей же на площади – на этой самой большой голубятне мира – в дни карнавала совсем было не видеть. Вероятно, это ежегодное мучение они воспринимали как величайшее бедствие, нечто вроде гибели Помпеи.

Кошки тоже прятались от толпы, а вот собачек мы встречали

много: некоторые приехали сюда туристами, их прогуливали в дубленках, в цветных тужурках и свитерках. Двух престарелых псов мы видели за стеклом витрин – они дремали на своих ковриках, не реагируя на приставания надоедливых уродов снаружи. Один лишь голову поднял, приоткрыл ленивый глаз: «Ну, живу я тут!»...

Небольшая черная такса привычно и приветливо глядела из гондолы, – видимо, хозяин-гондольер всюду возил ее с собой. А на морду еще одной, особенно послушной, юмористы-хозяева нацепили маску кота. И ей богу, она не выглядела более странно, чем большинство туристов.

По карнизам, над арками, под окнами, в вывесках всех кафе, тратторий, остерий – словом, всех едален, которые в Венеции называют общим словом «бакари» – сияли россыпи лампочек-крошек; ими, как блескучей пудрой, присыпаны были голые ветки очень редких деревьев.

Перед окнами кафе и ресторанов движение публики замедляется: хозяева каждого такого заведения для привлечения клиентов нанимают статистов, а те усердно позируют. А как не остановиться, как не поглазеть на изобретательно продуманные и безукоризненно сшитые костюмы!

В арках Прокураций перед входом в какой-то ресторан стояли два кавалера – один в серебристом, с длинными кудрями, парике, другой в таком же, но белокуром. Камзолы сидели на них, как влитые. Руки в белых перчатках покоились на набалдашниках тростей... Ребята «работали»: почтительно беседуя, медленно подходили к окнам ресторана, протягивали руки, будто указывая друг другу на диво дивное, долго вглядывались в ярко освещенную залу, медленно поворачивались, восхищенно потряхивая булями парика: приглашали публику припасть и восхититься...

– Да это же «Флориан»! – воскликнула я. – Пойдем, глянем поближе...

Мы протолкались к окнам заведения. Там, внутри, высоченный красавец в костюме кавалера 18 века, с мушкой на беленой щеке, галантно беседовал с дамами. И уж так хорош, бестия: пудренный парик с косицей, атласные штаны до колен, шитый золотом атласный камзол, туфли с бантами... Он и на окна успевал взгляды

бросать, и всем успевал улыбнуться.

– Помещеньице, между прочим, тесноватое, – заметил Боря. – Чем знаменито?

Я рассмеялась, вспомнив давний приезд в Венецию с Евой, на ее восемнадцатилетие: яркий весенний день, звуки прелестной джазовой композиции из открытых дверей какого-то ресторана в аркадах Прокураций. Молодой кудлатый пианист в белоснежной рубашке, с закатанными по локоть рукавами, играл на старом фортепиано и пел, и замечательно пел хрипловатым голосом «Giorgia on my Mind». Ему подыгрывал скрипач, и скрипач тоже был неплох.

– Чем знаменито? Да просто: первое кафе в Европе, Боря. Легенда Венеции, Боря, восемнадцатый век. Не говоря уж о том, что бывали тут все – от лорда Байрона и Казановы, до Бродского. И цены почтенные – такие, что кровь в жилах стынет.

... Это были времена, когда – при всей моей склонности к безответственным тратам – мы все же старались держаться в режиме экономии, и каждое утро, перед тем, как выйти из пансиона, мастерили с Евой бутерброды на целый день, справедливо полагая, что рестораны нам не по карману...А тут застряли, заслушались – уж очень обаятельно играл и пел кудрявый пианист; голос не сильный, но приятного тембра...

Мам, робко сказала Ева, но это же никакой не ресторан, а кафе, может, даже просто кондитерская. Давай, зайдем? Полчаса тут торчим бесплатно, пялимся...как нищие.

Я сдалась. И мы, две прекрасные синьоры, – под романтические синкопы лучшей джазовой музыки – торжественно уселись за один из вынесенных наружу столиков и заказали по чашке кофе.

Мягкое солнце покидало площадь, отдавая последнее усталое золото округлым куполам Собора Святого Марка. Он стоял в блеске и сини своих мозаик, и золотокрылые ангелы на треугольном фронте с обеих сторон без усталости восходили и восходили к Евангелисту Марку над золотокрылым львом.

Молодой пианист играл негромко и легко, и последний солнечный луч, шаривший в аркадах, на целых пять минут застрял в смоляных его кудрях. Так и пел он, с этим золотым нимбом над головой. А пожилой скрипач – пузач и коротышка, – совершал

массу еле заметных танцевальных движений в такт синкопам, и словно этого было мало, еще и подтанцовывал мохнатыми бровями ...

Мы с царственными улыбками сидели на изящных стульях с гнутыми спинками-вензелями. И пока музыка продолжала кружить над нами в вечернем воздухе, мы помнили, кто мы: две прекрасные синьоры, черт возьми. Я смотрела на Еву и говорила себе, что моя девочка, моя красавица...она заслуживает лучшего, чем чашка кофе в паршивой забегаловке; что когда-нибудь, когда я напишу что-то стоящее и заработаю кучу денег, я поведу ее в такое особенное, потрясающее место, где одна только чашка кофе будет стоить...

Наконец музыка смолкла, солнце опустилось за купола Собора, погасив разом все мозаики. Искристая смальта, яшма и порфир утонули в глубокой тени. Черные купола и готические башенки Собора остались приклеенными на темно-зеленом небе.

Нам принесли счет...

Минуты две мы сидели в полном молчании, не глядя друг на друга. Это был несусветный, бестыжий, уму непостижимый счет; в нем значилось буквально следующее: «кофе – 2 шт. живая музыка – 2 шт.». И сумма, равная едва ли не половине самолетного билета.

Наконец Ева улыбнулась дрожащей улыбкой и предложила:

– Давай скажем, что я глухая!

...И вот это легендарное кафе, сияющее изнутри огнями, сейчас было забито публикой – счастливцами, успевшими войти и занять столики. И верзила-кавалер прогуливался среди изысканно костюмированных мужчин и женщин, склонялся к изящной ручке в длинной перчатке, шептал на ухо пожилой даме что-то такое, отчего та, закинув голову с тяжелой прической, увитой лентами и бисерными нитями, заходила неслышным голубиным смехом, так что трепетал ее двойной подбородок...

Как и было задумано, отсюда все выглядело театральным действием. И хотя в зале ровным счетом ничего не происходило, просторное окно-сцена, старинный интерьер в кулисах бархатных портьер, разодетые господа внутри, пьющие чай из тонких чашек антикварного фарфора, привлекли внушительную толпу, облепившую окно снаружи так, что мы оказались зажатыми со всех сто-

рон.

– Давай выбираться, – сказал Борис, – что это мы тут, как сельди в бочке.

В эту минуту, бросив последний взгляд на убранство зала, я увидела, как в дверях возник наш знакомец-мавр, – он же турок, азербайджанец, главарь банды грабителей музеев и владелец галереи в Лондоне. Ростом он почти был равен нанятому гиганту. Откинутый капюшон плаща лежал у него на плечах, являя контраст заgrimированного лица и более светлых черепа и шеи. Как будто не успевший отмыться трубочист ввалился туда, куда его не приглашали. Оглядывая зал с недовольным видом, наш мавр пустился в объяснения с пожилым метрдотелем. Тот – старичок в камзоле и парике, – сокрушенно разводил руками.

И тут у меня над ухом грянула резкая трель мобильного телефона.

– Т-ты че звонишь! – приглушенно произнес по-русски запинаящийся женский голос. – Я т-те сказала: н-не звони! Т-т-ты ж все угробишь!

Я оглянулась, не веря своим ушам. «Дездемона» в серебристой маске, с загнанным выражением в отчаянных зеленых глазах невидяще смотрела перед собой и торопливыми губами неразборчиво – в шуме толпы – что-то говорила в трубку. Кажется, она даже задыхалась от волнения. Я смотрела на нее, не отводя глаз: она была полностью погружена в разговор со своим невидимым собеседником и дважды отерла пот со лба (в этой-то холодрыге!) дрожащей рукой.

А Борис уже выбрался на площадь и махал мне, вызывая из толпы.

– Не п-получается! – вдруг почти выкрикнула она. – Он ч-чуткий, как х-холера! – И раздраженно, и умоляюще одновременно: – Н-не звони, Боб, опасно, я с-сама выйду на связь... – и еще громче: – Н-нет! Н-не смей! – и низко, придушенно: – Все, идет!!!

Я ликовала. Вот он, сюжет! Вот он, бесценный дар карнавала, вернее, подачка, оброненная в толпе. Но как поднять ее, как незаметно развернуть смятую, перекрученную и затоптанную интригу?

По дороге в отель мы обсуждали новую ситуацию, ахая, вос-

хищаясь, останавливаясь и в азарте хватая друг друга за руки.

– Видишь, – возбужденно говорила я, – а ты заявил, что только в старину, когда карнавал был делом городским, внутриклановым... тут свершалось свое интимное быть-или-не-быть... и что сейчас не бывает смертельных интриг. Вот тебе, пожалуйста: явная афера, возможно, и смертельная – мошенники на охоте за бумажником престарелого фраера!

– Он не такой уж и фраер, – возражал мой муж. – Ты же сама слышала, он чутко спит. Так что, коварный план пока не удался.

– Чепуха, – отмахивалась я. – Спит чутко, как все пожилые гипертоники... Черт возьми! А мы за кого только ее не принимали! За турчанку...

– А что, кривой турецкий ятаган свои семена повсюду сеял, в том числе и на ридной Украине...

– Интересно, что она задумала, миленькая бестия? По-хорошему, надо бы мужика предупредить, знать только – в каком отеле они остановились...

– Еще чего! – возмутился Боря. – А вдруг все наоборот? Вдруг девушка спасает кого-то от смертельной опасности? Вдруг она, как Юдифь, кинулась в объятия главаря мафии во имя спасения своего любимого? Нет уж, дай свершиться всем перипетиям комедии дель-арте, или трагедии Шекспира. Вдруг он ее задушит согласно купленным костюмам?

И за полночь мы, перебивая друг друга, придумывали все новые и новые повороты сюжета. Некоторые, особо удачные, я даже записала – вдруг пригодятся потом, в работе... Заснули поздно, проспали свою третью рассветную стражу, так что, когда вышли из отеля, кое-кто из ранних пташек уже фланировал по улицам: утро оказалось ветреным, солнечно-резким, отчетливым, с синими тенями в глубине арок.

На Сан-Марко за одним из целой флотилии столиков «Флориана» пили кофе и непринужденно болтали две пышно одетые дамы с глубокими декольте, одна – в белокуром, другая в голубом парике. Надо же и статисткам позавтракать...

Обе были из тех, кто вчера сидел внутри, изображая аристократическую публику восемнадцатого столетия. Казалось, они так и не уходили на ночь, лишь прихватили свои чашки, переместив-

шись утром на воздух. Возможно, так оно и было, потому что одна из дам широко, совсем не аристократически зевнув, достала из пачки сигарету и закурила.

Вокруг них кружил толстый турок с огромной чалмой на голове, размером с колесо грузовика, – отпуская, судя по всему, шуточки: после каждой девушки улыбались – одна благосклонно, другая сонно-снисходительно... Потом турок отвалил, а статистка в пудреном парике стала что-то эмоционально рассказывать подруге, поправляя развившийся локон рукой с сигаретой, зажатой между пальцами. Ветер перебирал богатые кружева ее широких рукавов, и забько было смотреть на роскошное декольте старинного платья, в котором покоились пышные груди, идеально упакованные в корсет.

Ее подруга в голубом парике улыбалась, кивала и улыбалась...и вдруг расплакалась...

И вот тогда над площадью пролетела неуловимая усталость. “Anima allegra” – смеющаяся душа карнавала – истончилась и сникла, она возносилась над нами, испарялась, покидала площадь – так душа возносится над телом: карнавал умирал. Рассеялась туманная взвесь, что накануне окутывала здания, фонари и фонтан. Зимнее утро навело резкость на предметы и лица, и захотелось, чтобы уборщики поскорее подмели надоевший цветной сор конфетти, а уставшие девушки-статистки смогли, наконец, уйти домой и как следует выспаться...

– Ну что, – спросил Боря, бодро поеживаясь, – куда сегодня двинем?

* * *

После полудня ветер устевился и вовсе перестал миндальничать: встречные дамы, одной рукой придерживая рвущиеся вбок и вверх пышные юбки, а другой контролируя статичность закрепленного шпильками парика или шляпы, быстро исчезали с площади и окрестных улиц. Небо набухало тревожной тяжелой скукой – погода явно менялась к худшему...

Но по набережной Скъявони, как и вчера, и позавчера, упрямо брел человек-оркестр, вернее, человечек-оркестрик.

Каждая часть его тела была приспособлена к извлечению какого-нибудь звука. К спине был привязан огромный круглый бара-

бан с литаврами, и человек время от времени просто лягал этот барабан пяткой, будто пенделя давал самому себе. Барабан издавал гром и лязг литавр. В руках человека коротеньким ударом разворачивалась и сворачивалась гармоника; на голове сидел металлический колпак с бубенцами разных размеров и регистров, и когда он эпилептически дергал головой, те звенели, кричали, попотали и гремели на все лады. Музыкой все это предприятие назвать было трудно, но какофония звуков и чередование ударов, вкупе с забавной фигуркой чуть ли не карликового роста, очень нравились встречным. Во всяком случае, в жестянку, подвешенную к гармонике, монеты падали не так уж и редко...

* * *

Свой последний в этот приезд обед мы решили отведать в рекомендованной путеводителем остерии неподалеку от Сан-Марко. Автор этого фундаментального труда подозрительно горячо советовал выбрать в меню «венецианскую курицу в различных видах и состояниях».

– О, кей, если только курица не в состоянии аффекта...

– «Хозяйева по-домашнему приглядывают за посетителями» – продолжала я зачитывать ту же рекомендацию, когда мы уже сели за стол и послушно заказали «полло», курицу.

– Еще бы не приглядывать, – резонно заметил мой муж, – мало ли каких жуликов сюда заносит...

Мы сидели в глубине большого темноватого зала с низкими деревянными потолками, и через широкое окно, выходящее на улицу, смотрели на медленно плывущую толпу. И опять окно, и французский занавес над ним являли сцену, по которой невидимый главреж гонял туда и сюда массовку, пока в артистических уборных гримируются актеры главных ролей.

Как странно, думала я, вчера мы были публикой, смотрящей на сцену снаружи, сегодня мы – публика, смотрящая на сцену изнутри. Но те, кто движется там, по улице, точно так же смотрят на нас, в сценический проем окна. Похоже, каждый в этом городе одновременно и зритель, и актер, вне зависимости от того, по какую сторону рампы находится...

– Эта их «полло»... – буркнул Боря, уныло догрызая куриную ногу, – явно была современницей Марко Поло...

Нам давно уже принесли счет, и мы уплатили, но продолжали

сидеть, наблюдая в окно, как ветродуи гонят по сцене мощные струи резкого воздуха, и не торопились выйти из теплого зала, как публика не торопится выйти из прокуренного зала кинотеатра в ветер и дождь вечерней улицы.

* * *

Наш чартерный рейс перенесли на два часа ночи. Оставалось еще какое-то время перед сборами, которое мы могли потратить по своему усмотрению, что по-нашему означало просто – шляться по улочкам и вдоль каналов. Если бы погода не портилась так стремительно...

– Может, вернемся в отель? – спросила я, щурясь на ледяном ветру, задувающим с лагуны. Глаза слезились, руки мерзли даже в перчатках, даже заткнутые глубоко в карманы куртки.

Мы перевыполнили «план по окнам»: нацелкали такое количество фотографий, словно сюда нас командировала редакция какого-то архитектурного журнала, для сбора материала к толстому номеру, посвященному исключительно окнам Венеции, а попутно и Венецианскому карнавалу.

– Как хочешь...Давай, еще прогуляемся на задах Сан-Заккарии, дойдем до Сан-Джорджо деи Гречи? Помнишь, там в витражах ты видела какую-то крылатую хреновину и сказала, что хорошо бы зарисовать?..

И мы, подняв воротники курток, натянув на лоб вязанные шапки, то и дело поворачиваясь спиной и пятясь, поплелись под нахрапистым ветром – охота пуще неволи, – сначала по набережной вдоль палаццо Дукале; затем свернули влево и – дворами, мостами, каналами, мимо Кампо Бандьера-э-Моро, по калле Пегола – пошли в сторону Арсенала.

Видимо, окаянный ветер дожал самых зимнеупорных туристов. Мало кто попадался навстречу. Только, завернув на Фондамента ди Фронте, мы едва не столкнулись с двумя туристами в костюмах японских самураев.

Вода в канале поднялась и мутно бурлила у самого края набережной.

– Как бы не затопило, – сказала я. – Нам еще наводнения тут не хватало...– И остановилась: – Может, хорош маскарада, дядя? Тапер устал, и фильма на финале...Нырнем куда-нибудь, согре-

емся?

– Чуток виски?

– Я бы коньячку...

В это мгновение откуда-то сверху слетел на набережную сдвоенный вопль: протяжный мужской рев и пронзительный женский визг. На третьем этаже отеля – по другую сторону канала – кто-то рванул дверь на балкон, и с классическим воплем «Спасите!» оттуда вылетела полураздетая женщина. Не очень классическим в этом было только то, что вопила она по-русски. Видимо, переводить на английский не было времени. А может, уже не было в этом нужды.

– О боже, – выдохнул Боря. – Опять эти?! Не верю! Так не бывает...

– Разве только в жизни, – отозвалась я.

Мы стояли, задрав головы к балкончику. Такого романтического углового балкона – с высоким двойным окном, осененным ажурными, в форме бутонов, розетками, – в нашей коллекции еще не было. Их легкость и хрупкое изящество так были гармоничны с белизной обнаженных женских рук. Странно, что отсюда девушка вовсе не казалась смуглой: темный кирпич стены служил контрастом к телу.

– Не смей подходить!!! – завизжала она кому-то в глубину комнаты, вытянув вперед руки. – Не приближайся ко мне!!!

Самое удивительное, что и заикаться она перестала. Позже, обсуждая это с Борисом, мы так и не пришли к согласию – почему? То ли стресс выправляет дикцию, то ли заикание было деталью образа.

Мужской голос в ярости проорал из комнаты:

– Я ташкентский грэк, сука, поняла?! Аферистка!!! Я – ташкентский грэк!

Видимо, Боб позвонил таки не вовремя, мелькнуло у меня. А я то хороша: албанец, азербайджанец, турок... Как можно было не узнать эти характерные черты, эту походку и повадку, эту сутуловатую плечевую мощь закоренелой шпаны из Греческого городка, – столь знакомые мне с детства!

Между тем девушка вжалась в перила балкончика и вопила, не переставая, отбиваясь и уворачиваясь от мужских рук, что пытались втащить ее в комнату.

Двое туристов в костюмах японских самураев, успевшие удалиться на приличное расстояние, вернулись, услышав вопли. Они что-то быстро взволнованно говорили по-английски, обращаясь к нам (я не понимала их английский), и когда для удобства сняли маски, оказались – как в дурном сне, – как раз японцами, мужчиной и женщиной неопределенного возраста. Что само по себе привело меня в оторопь: приехать на венецианский карнавал, чтобы вырядиться собой? Японцы возмущенно лопотали на не опознанном мною английском, а Борис сказал:

– Ну что, бежать-кричать? Где вход в отель – с той улицы?

– Постой... Тут иначе надо.

– Но он ее убьет, к чертовой матери! Или она со страху с балкона сиганет.

– Да погоди ты! – отмахнулась я и, напрягши глотку на холодном ветру, с зычной оттяжкой гаркнула вверх, вспоминая манеру шпаны из Греческого городка, будто не прошло сорока лет с того времени:

– Чува-ак!!! Щас милиция зову, да-а?! Слышь, чувак! Милиция хо-очешь?!

Там наступила тишина. Дверь на балкон с треском захлопнулась, и одновременно по мостовой застучали каблуки японцев – то ли помчались они разыскивать администратора отеля, то ли просто испугались моего выступления.

– Ты с ума сошла? – спросил муж, разглядывая меня, однако, с новым уважительным интересом. – Какая здесь милиция! Ее уже и в Москве нет.

– Отстань, – пробормотала я севшим голосом. – В Москве нет, а у нас в Греческом городке есть...

Минуты три уже сверху летела какая-то труха, словно где-то на лесах над нами рабочие приступили к оштукатуриванию здания. Мы стояли, задрав головы, бездумно смахивая с лиц надоедливую белую труху, – пока не поняли, что это снег начался. Снег в Венеции!

А девушка продолжала стоять на балконе, прижавшись спиной к перилам...

То, как колотил ее озноб, видно было даже отсюда, с мостовой. Она вздрагивала, мелко трясла головой и как-то жалко и жутко нам сверху улыбалась, обеими руками придерживая на

грудь рубашку судорожным, душу выворачивающим жестом.

– Усе попадало... – сказал Боря с жалостью.

А я думала: вот он, мой сюжет... Мой неузнанный, неразгаданный *авантюрный сюжет*, – стоит раздетым на холоде, и нет никакой надежды, да просто и времени нет извлечь его из чрева жизни, растормошить, растопить, «вдохнуть дыхание в ноздри ея»; развернуть-раскатать, прощупать-подивиться золотым колечкам еще одной судьбы...

И безнадежно все, и ничегошеньки не узнать – что там между ними было, с чего началось, что их прибило-то друг к другу? и как же крутит, мнет и формирует заново наших людей чужая жизнь, как же она выворачивает, перелицовывает наши лица в непроницаемые личины, если эти двое могли не учуять один другого в первую же минуту знакомства!

Так кто же ты, маска, думала я, и в какой Полтаве, в каком Кременчуге у тебя осталась мама или ребенок, или оба они – мама с ребенком, – что ты любыми путями должна заработать и послать им денег? Или ни мамы, ни ребенка, – а просто занесло беспросветным ветром в такую темную карнавальную жуть, что и опомниться страшно?

А может, и хорошо, что ты остаешься тайной: разве не тайна, в конце концов, – главное условие карнавала, его «смеющаяся душа», безумие опустошенности, его забвение, – репетиция небытия?..

Я натянула шапку чуть не по самые брови и одеревеневшими от холода губами пробормотала мужу:

– Вот теперь пошли... Они разберутся. А я совсем задубела...

* * *

Под вечер снег повалил крупными зернистыми хлопьями, которые под порывами ветра сбивались в кучи и нервной толпой кидались из стороны в сторону, будто места себе не находя... Часа через три величественный простор Сан-Марко был устлан белой молодой пеленой, а снег все летел и летел, заштриховывая собор и колокольню, выдувая с площади прохожих, выметая их из-за колонн и аркад.

В конце концов все растеклись и осели по барам да по домам, – временным и постоянным.

Мы тоже вернулись в отель, чтобы собрать чемодан и поспеть на катер.

Когда вышли, уже стемнело...

По площади в сторону Палаццо Дукале в туманной белой крувоверти удалялись две мужские фигуры в черных треуголках и черных плащах. Они энергично шагали, придерживая шпаги на боку, и ветер рвал их плащи – живые черные крылья на застывшей белизне.

– Карабинеры, – сказал Борис. – Смена караула.

Чугунные канделябры фонарей, уснувшие белые гондолы, черные штрихи свай у причала, и крылатый убеленный лев на колонне выглядели завершением карнавала, неизбежным возвращением в черно-белое пространство зимы, торжеством графики после бурлеска живописи и цвета.

А дальше – репетицией небытия – клубилась, вспухала гигантской каракатицей ненасытная *неббиа*, в рыхлой и влажной плоти которой застряла заноза колокольни Сан-Джорджо Маджоре. И двойная цепочка черных следов уводила взгляд к границе набережной, что лежала широким белым подоконником лагуны – гигантского окна в Адриатику, погруженную в черно-белый сон венецийской зимы...

Анна Файн

НЕБЕСНЫЙ ЦФАТ

Я зажгла субботние свечи и прилегла отдохнуть. Мне приснилось... или это был не сон, а иная явь? Мы стоим с тобой на обзорной площадке в старом Цфате.

Мы стоим с тобой на обзорной площадке рядом с синагогой Святого Ари. Над долиной и нижними ярусами города быстро гаснет закат. Я никак не привыкну к стремительности здешнего заката. В тех широтах, где я выросла, суббота не заходила, а медленно просачивалась в дом, словно прицениваясь: а стоит ли ей, царице, осчастливить изгнанников?

Нет, конечно, это не мы стоим сейчас над темнеющей долиной. Это наши ментальные копии, перенесенные в небесный Цфат ангелами, руководящими нами по поручению Бога. Настоящий ты дождался, пока жена зажжет субботние свечи, поцеловал ее в щеку и ушел в синагогу. Настоящий ты идешь сейчас по улицам другого города. Я тоже зажгла субботние свечи и прилегла отдохнуть.

Небесный Цфат. Почему бы не быть небесному Цфату, если есть небесный Иерусалим? В небесном Цфате встречаются влюбленные, при жизни разлученные обстоятельствами. Мы сейчас не в верхней, мы в высшей Галилее, самой высокой из всех галилей.

Это неправда, что за страдания в этой жизни нас ждет счастье в грядущей. После смерти мы уже ничему не сможем научить наши души. И, если они не могут быть счастливыми сейчас, не видать им радости в загробном мире. Для обучения у меня есть небесный Цфат.

Я беру тебя под руку, и неожиданно понимаю, что на тебе ру-

башка с коротким рукавом. Моя ладонь ложится не на складки материи, а на теплую, живую кожу. Тепло окутывает сердце. Нежность так тиха, что слово для ее обозначения находится не сразу. Любовь. Да, это любовь.

Я встаю с дивана и иду на кухню нарезать салат к трапезе. Муж закончил молиться и тащится на кухню вслед за мной. Он ворчит, что я медленно режу и задерживаю благословение над вином и хлебом. Он нудно ворчит, хотя мог бы накрыть на стол, пока я кромсаю овощи тупым ножом. Тупым по его вине ножом. Ножом, тупым, как он сам. Но я не сержусь, потому что неизвестно, моя ли это ментальная копия кромсает овощи на кухне, а я настоящая в небесном Цфате, или дело обстоит совсем наоборот.

Мы идем с тобой по улицам города, созданного для влюбленных. Сейчас он принадлежит только нам. Кругом пусто – ни художников, ни музыкантов, ни торговцев. Но вот за углом звучит тихая мелодия. Это я сочинила ее, и стоило ей зародиться, как показались исполнители. Молодой парень перебирает струны лютни, мотая головой в кудлатых дредах. Флейтист ритмичными трелями обозначает границы тактов. Скрипач вышивает свою высокую тему поверх глуховатой лютни.

Город снова опустел, он снова наш. Но, стоило мне захотеть мороженого, как впереди возник торговец, маленький старик, ремень от сумки-холодильника переброшен через плечо. “Постой здесь”, – говоришь ты и срываешься вослед старику. Ты опускаешь руку в карман и достаешь два золотых динария. В небесном Цфате принимают только сказочные деньги: зузы, динарии, а если шекели, то полновесные слитки серебра.

Ты принес мне мороженое, милый! Хрустящий вафельный конус в яркой обертке. Нигде нет такого мороженого, только в небесном Цфате. Когда я смотрю на мандариновые краски заката, оно приобретает мандариновый вкус. Когда я люблюсь чернильными тенями, наползающими на подножие города, вкус становится черничным, а запах – лавандовым.

Неожиданное объятие под рожковым деревом. Ломкие плоды, похожие на иссохшие шоколадки, падают нам на плечи, на камни у наших ног. Закат окрашивает твою белую рубашку в пурпурный цвет и превращает тебя в царя.

Мы снова на обзорной площадке, более просторной, чем пре-

жня. Здесь ресторан, открытый только для нас. Я выбираю место у самых перил, у края пропасти. Два голубя взлетают с узорчатой ограды, как только мы садимся в плетеные кресла у низкого столика. Мне надоедает безлюдье, и ресторан потихоньку наполняется гостями. За соседним столом многодетная семья: дородная беременная поселенка в платке с белой бахромой усаживает младенца на просторный живот. Двухлетка капризничает в прогулочной коляске. Еще пятеро малышей ерзают на стульях в ожидании ужина. Их отец, рыжебородый худой человек в вязаной кипе, изучает меню. Двухлетка, раскричавшись, швыряет бутылочку на пол, брызги молочной смеси летят во все стороны. Поджарая, похожая на пантеру кошка осторожно пробирается меж ножек столов и стульев и слизывает молоко с каменных плит.

Неприметная официантка приносит меню – твердые глянцевые странички, в них отражаются звезды. Долина и город до краев залиты старинными фиолетовыми чернилами, их почти черную топь оживляют редкие огни внизу и звезды наверху.

Я заказываю храйме – рыбу в остром соусе и ледяной стакан грейпфрутового сока, а тебе приносят мясо. Мы молча едим, потом встречаемся взглядами. Глаза у тебя отсутствующие. Ты смотришь на меня, но не видишь. Ты сейчас со своей возлюбленной. Ты думал о ней, пока твоя жена зажигала субботние свечи, но вас разлучили обстоятельства, когда ангелы подхватили твою ментальную копию и перенесли в мир моих фантазий.

Вы поднимаетесь на крышу синагоги, что на Большой Бронной. Там горские евреи жарят чудесное мясо. На секунду мелькнул алый край ее шелковой юбки и красная подошва туфельки. Пьяняще-сумасбродный запах духов – амариллис, тонка, мускус и пачули – щекочет тебе ноздри, но тяжелый аромат жареного мяса вытесняет эти хрупкие флюиды. Серо-стальные изломы и переплеты вечерней Москвы, подхваченные розовыми красками медлительного, нескончаемого заката.

Ты не был здесь всего одну минуту, милый, но этого оказалось достаточно. Ангелы-разлучники подхватили тебя и опустили на крышу синагоги, что на Большой Бронной. Все на месте: голуби и перила над пропастью, многодетная семья, капризный двухлетка, и кошка, облиставшая каменные плитки пола. Но плетеное кресло

напротив меня опустело. Я осталась одна.

Я запускаю руку в бархатные недра бисерной сумочки, примостившейся на кресле рядом со мной. Я шарю туда-сюда, но ни зуза, ни динария, ни полновесного серебряного шекеля. Мне нечем расплатиться за лучший в моей жизни ужин.

Новая книга **Михаила Юдсона**
ЛЕСТНИЦА НА ШКАФ

(Сказка для эмигрантов в трех частях)

Москва, издательство "Зебра Е", 2013. - 560 с.

"Давно я не получал такого удовольствия от прозы. Тени Джонатана Свифта и Джорджа Оруэлла витают над этим текстом, одновременно смешным и страшным. Большое счастье - появление нового талантливое голоса. Спасибо, Миша, дай вам Бог удачи и в дальнейшем".

Игорь Губерман

Книгу можно заказать по телефону: 050-908-03-48

Цена 120 шекелей с пересылкой.

Ирина Маулер

ДОБРАЯ Я

Встретились мы случайно. Как-то так звезды стали– встретились и тут же разъехались. Дело было не то что на курорте, а как бы по случайному поводу. Его легкие ухаживания, полунамеки, а в продолжении недолгие разговоры по скайпу – вот вроде и все. Но что-то притягивало, что-то не давало запросто не отвечать на его звонки. Что же? Возможно, надежда на то, что принц на белом мотоциклете, как говорит моя подружка, вот-вот затормозит у моего дома? А может быть стойкое ощущение еще живущей во мне молодости, желание окунуться в состояние голубого и необъятного неба над головой? Но я не анализировала, просто весело болтала с ним и ждала. Он обещал скоро приехать. Нет, не навсегда, а в гости, знакомиться поближе. Время шло. Отложилось первое свидание из-за непредвиденных обстоятельств, приближалось второе. Жених звонил все чаще и как-то раз уже прямо озвучил свое желание не только дарить цветы и ухаживания при встрече, но и возможную необходимость снять что-нибудь у моря для нас двоих, чтобы без различных помех насладиться радостью узнавания друг друга.

Я женщина добрая, но тут что-то неуловимое в его голосе затормозило мою нежную душу, готовую на всяческие подвиги. Снимать небольшую квартирку с ним, это означало гораздо более близкое и стремительное знакомство, чем я предполагала. Поэтому не оставалось ничего, кроме как пригласить гостя к себе. Он согласился сразу – упрасивать два раза не пришлось.

К обещанному числу мой жених возник под окнами гостиницы, в которой я в эти дни отдыхала, предварительно предупредив меня телефонным звонком. Я с любопытством выглянула из окна

и увидела какого-то человека, уверенно державшего свою фигуру в руках – для его возраста у него была довольно уверенная поступь, и я бы даже сказала – молодой задор уверенного в себе нахала.

Кстати, насколько я успела заметить, неуверенных в себе мужчин просто не бывает на свете. Казалось бы, смотришь на некоторых из них, ну на особо не привлекательных – а рядом красотики цветущие, моложе вдвое. Ладно, это «успешные» себе по карману подбирают, молодость себе за доллары возвращают. А вот те, кто с дыркой в кармане и без мозгов особых – уверенности тоже хоть отбавляй. Вот бы и женщинам заразиться от них этой болезнью, так нет – нахальство инфекционным путем не передается.

Я ожидала хотя бы небольшого букетика цветов, ну хоть для приличия. Но нет, мой жених уверенно поцеловал меня в щеку, неся вместо цветов самого себя. Его щеки рдели, глаза сияли хитростью прожженного ловеласа, а губы, уже видимо привычно, начали выпевать льстивые слова приветствия.

На всякий случай присел он от меня подальше и стал пристально разглядывать. Я почувствовала себя лошадьёю на базаре, которой осматривают зубы, но в панику не ударилась и глаза не потупила. Я вела себя скромно и с достоинством, давая понять, что хозяйка-то положения – я. И видно сумела свой посыл донести правильно, принц поклялся, что с чемоданом явится ко мне в положенный срок – «на недельку», легко сказал он и исчез.

Нет, не обманул, а впрочем, даже если бы и захотел исчезнуть, бытовые вопросы не позволили бы ему это сделать. Ну, на самом деле, какой бы ты суммой денег ни обладал, а на «халяву», говорят, и уксус сладок. Нет, я не то чтобы себя за уксус держу, но...Александр (вот так его и звали) не был похож на человека, желающего поддерживать экономику страну.

Так вот, явился он с чемоданом и расписанием дня, которое я и должна была претворять в жизнь. Правда произошёл неожиданный конфуз – мой жених вдруг начал чихать, кашлять, а к вечеру просто слег в приготовленную ему кровать, потребовав при этом включить кондиционер, хотя, на мой экономичный взгляд, в квартире было более чем тепло. «Что-то прохладно здесь, – скривился он в неудовольствии. – Да и чаю мне надо...»

Что делать, сердце женское не лед, добрая я – болеет жених, значит надо присмотреть, накормить... Напекла я блинов, вскипятила чайник – сижу, радость получаю от его прихлебываний, надежды питаю, в глаза заглядываю, чай, мужик сидит, не безработный какой – владелец чего-то там важного, еще сама не поняла чего, спрашиваю так осторожно – а как бизнес-то идет, гладко ли, проблем каких не предвидится, а сама себя уже в кризисе вокруг земного шара представляю, прямо раскраснелась вся от воображения, да и он вроде в краску вошел – не очень, говорит, бизнес-то, одни потери в последнее время, да и дети обесели, каждый свой кусок требует, намекает, значит, чтоб губу не раскатывала. Ладно, думаю, может, темнит пока, боится, чтоб капитал его не сглазила, хочет, чтоб за душу полюбила. А он видно о чем-то другом думает, в глаза смотрит, к себе в натопленную комнату под одеяло приглашает. Нет, говорю, мерси, польщена предложением, но ты выздоравливай, силы береги, грипп побеждай, а там посмотрим, то есть надежды его не лишаю, из доброты-то женской...

На следующий день он окреп вроде – хочу, говорит, с другом встретиться, вези меня к нему, а забрать можешь к вечеру, я тебе звонок от него организую, чтоб не ждала под окнами зря, сама понимаешь, давно не виделись, посидим, поболтаем, а ты пока своими делами займись с наслаждением, а там может куда и отвезешь, ну куда сама захочешь – можешь в ресторан, а можешь и на концерт – сама и выбери. Подумала я, мозгами раскинула и решение приняла – показать ему наши городские места культурные, а потом кофейку испить уютно в кофейне.

Ну как решила, а я своих решений придерживаюсь неуклонно, так и сделала – отвезла его к другу, забрала его от друга, всего чуток подождала под окнами – жених же, чего не сделаешь во благо, ну а потом по культурным прошлись, знатно так – часа два шагали, все ноги себе посбивала, но виду не показываю, в кафе зазываю. Нет, говорит, кофе дома пить будем, чего деньгами сорить, у тебя вкуснее будет...

И вправду, зачем, думаю, у меня дома и кофе есть и конфеты к кофе, зачем жениха расстраивать, в расходы вводить? Отвезла его к себе, ужин на двоих при свечах накрыла, кофейку заварила, тортик достала, к его приезду купленный, таблеток от простуды

дала, беседой развлекла .А он все недоволен– когда ж греть мне ноги придешь, спрашивает, а сам уже не очень так доверчиво на меня смотрит, подозревать начал...

На следующий день я ему сюрприз приготовила, билеты в СПА купила – не сидеть же с ним в квартире моей в бездействии, а так хоть попарюсь с ним заодно, решила. Принял он это хорошо, благосклонно, люблю, говорит, такие развлечения, от массажа никогда не откажусь, да и сам сделать не прочь– вот вечером готовься , сделаю тебе, не пожалеешь. Ну, настал вечер, я ему опять тапочки теплые, ужин на стол, чай в постель, а сама себе думаю – никчемный жених-то, все о себе норовит, о проблемах коммерческо- личных, о том, как не понимают его, не ценят душу высокую, мысли чистые– ну не может он алименты платить своей гражданской жене, ну и что, что моложе его на тридцать лет, так он ей сожительство предлагал, ну не женитьбу же, в самом деле – какая тут женитьба, когда наследство уже взрослым детям отписано. А она, глупая и неблагодарная, молодого себе нашла, дочку ему не показывает . Слушала я все это внимательно до самой ночи, расстроилась ужасно, но виду не подала, ничего , решила, дам ему шанс, жених все-таки, да и денек всего один остался до его отъезда . Спокойной ночи, говорю, приятных снов, да и вроде к себе отправляюсь, да только по пути вспоминаю, что суп ему на обед завтра еще на плите не выключен. Возвращаюсь мимо комнаты его, честное слово, лучше бы суп на плите сгорел, чем стыд такой терпеть, дверь-то его неприкрытой оказалась – слышу, как мой женишок , в моем доме, на моих харчах, под моим же кондиционером, с какой-то видимо другой невестой о встрече договаривается.«Конечно, – мычит, – с нетерпением встречи жду, каждую ночь ты во сне являешься, очень рассчитываю, что ты так же хороша, как и на фотографии, что на сердце ношу...»

Ну что тут говорить, приняла я стойко эту новость, не в рыданиях же уходить– утром как ни в чем не бывало завтраком этого проходимца накормила, потом обедом, а потом не стала его до поезда провожать. Лишние проводы, говорю, лишние слезы...радости , хотела добавить, да не стала .Эх, добрая я, все-таки...

РАЗВОД

Один мой знакомый надумал жениться .Но вот проблема – со своей прошлой женой он расстался давно, а вот отношения не заверил .Жил себе и жил, будто женатый, а на самом деле свободный, никому не мешал, а главное – сам себе был не в тягость. Но жизнь – дело переменчивое – сегодня тебе не надо, а завтра вдруг приспичило .Прикинул он так и сяк, делать нечего, надо развод оформлять, а иначе как опять женишься .Вроде простая история, да дело в том, что знакомый мой, назовем его условно Виктор, женился в Израиле, а разводиться надумал в России. А каждый ребенок понимает, что для того, чтобы развестись в Израиле, требуется идти в раввинат .А так как вся история происходила в Москве, Виктор законно двинулся по направлению к российскому раввинату . Посидели там раввины, голову напрягли, да и запрос в Израиль направили – а был ли настоящий господин действительно женат, или липовый документ о женитьбе предъявляет. Печать в паспорте их совсем и не остановила– мало ли сейчас проходимцев– ставят себе сами печати, иди знай зачем– проверить надо. Полетело от них письмо в раввинат израильский– не прошло и полгода, ответ поступил – да, действительно, Виктор этот женат на... да неважно на ком, главное, что подтвердили. Вздохнул Виктор с облегчением, да не тут-то было, теперь надо было письмо из раввината в российское посольство везти – подтверждать. А кто из нас, бывших жителей империи российской, не знает, как тяжела жизнь чиновника – лезут к ним со своими проблемами с утра до ночи – ни сна, ни покоя от просителей .А этот, то есть Виктор, вообще с документами нерусскими, поди прочти. «Как на русский переведешь», – говорят ему, – так к нам и возвращайся», – строго сказали, как отрезали. Пошел наш грустный персонаж, глаза в землю, в медитации весь от проблем, к нотариусу. Переведи, говорит ,письмецо из раввината израильского на наш, русский великий. Опять-таки вроде проблем никаких– взял нотариус и перевел написанное, а в конце и говорит– перевести -то я перевел,а вот заверить не могу– документик -то ваш в Израиле выдавали, там и заверять должны. Пришел Виктор с переводом в посольство. «Нет, – отвечают ему, – без печати

нотариальной никак невозможно вашему делу ход дать, возвращайтесь-ка в раввинат, может они вас так разведут», – и руками от раздражения разводят. Пришел Виктор, как юнец ветренный, с этим обратно в раввинат – а там от возмущения в него просто шляпы кидают – непонятливый какой, работать мешает. Сосредоточился Виктор, делать, видит, нечего, все дороги в Иерусалим ведут – собрал вещички и приземлился в Бен-Гурионе. Не евши, не пивши, напрямик из аэропорта в израильский раввинат явился. «Умоляю, разведите! – плачет. – Жениться охота». Оценили тут наши раввины степень его душевного расстройствa, сжалились. «Поживите себе у моря, отдохните, фруктов покушайте, – говорят, – солнцем насладитесь, там, в степях российских, небось, в депрессию от холода впали». Оглянулся Виктор – куда податься бедному еврею на время ожидания вердикта – все дорого кругом, а денег у него не шибко разбежишься, ну и решил в Эйлат – туристическую орхидею Израиля. Снял себе там комнатенку, плавки с разноцветными пальмами прикупил, стал фреши фруктовые на завтрак себе готовить, похорошел, посвежел, улыбку на упитанных щеках приобрел, да тут как на грех – почти все деньги и вышли, а раввинат все ответа никак не дает – проверяет. Небось жену законную ищет, спросить хочет, не против ли развода выступает, намерена ли гет подписать, но не находят, а где ее найти, она тоже давно землю молока и меда покинула, небось по свету болтается, бедняжка... Делать нечего, накинул Виктор на свою спортивную спину сумку с вещами и пешочком пошел границу с Египтом переходить – благо близко она к Эйлату расположена – посоветовали ему хозяева жизни эйлатской снять там жилье подешевле, чтоб хоть как-то историю с разводом до конца довести. Прошел он границу израильскую, где ему мягко улыбнулись на прощание, зашел в арабскую черту оседлости с суровым и медленно-восточным контролем. Часа четыре пересылали нашего Виктора из окошка к окошку, проверяли, не шпион ли одиночка из Израиля заслан, но видно по лицу прочитали, что к разведке отношения не имеет. А лицо что – волосы длинные, в глазах облака плавают, а на губах улыбка застыла – ну просто блаженный, что еще скажешь. Снял себе там хибарку Виктор, пожил в Шарм-аш-Шейхе три месяца, а тут и эсэмэска прилетела из раввината –

ждем с радостной вестью, жена передала пламенный привет и развод ваш подписала, так что приезжайте ,дорогой, документик получать. Вот радость, а что, не радость, скажете, и года не прошло, как известие радостное поступило. Отправился Виктор на встречу своему счастью, границу в обратном порядке переходит, а тут новая новость– нет у него в паспорте печати, что законно в Египте обитал– как так, кто пропустил, как заполз невидимкой, переполох на границе. «Шпион», – поползло между стражами порядка, уже и солдаты подросли в тюрьму его сопровождать, и машинку бронированную с решеточкой на окне подогнали. Но есть все-таки счастье в жизни, стражник один узнал его, неважно , что три месяца миновало, наш Виктор и не изменился совсем – только что волосы длиннее стали, да в глазах уже не облака, а грозовые тучи болтаются. «Так это же тот блаженный, – говорит, – что не так давно в нашей великой стране отдыхать надумал». Отпустите его, говорит, я его в порядке живой очереди к нам и запустил, а что печать не поставил, так видно жарко было, печать на солнце растворилась. Почесали лоб египтяне, видно не впервой такое природное явление у них с данным сотрудником произошло, да и отпустили Виктора восвояси. Но не тут-то было, дальше ведь израильская граница – а там ничего не поймут, вроде из Израиля вышел, а в Египет не зашел, никак все три месяца между границами и жил. Все бы ничего, да от одной до другой границы– метров десять по коридору. Предъявляет Виктор объяснение стража, что мол растворилась печать на солнце, видимо, а израильтяне – нет, таких чудес не знают и признавать не желают. Ну, ничего вечного ведь не бывает, и еврейское счастье должно границы иметь – недельку разбирались с Виктором, да и отпустили восвояси. И что вы думаете, бросился Виктор в раввинат, паспорт с печатью разводной получать? Неблагодарный человек, казалось бы все для него сделали – только документик выверенный получи, женись себе на радость. Так нет, видно, зря надрывались служители веры, жену Виктора из-под земли разыскивали, гет ему на тарелочке с голубой каемочкой готовили. Не в раввинат, в аэропорт он бросился, так прямо из Эйлата и улетел в Россию. Со старым паспортом, женатым человеком. Видимо, жениться передумал.

И чего, спрашивается, людям голову морочил?

Эли Люксембург

РЯДОВОЙ ИХВАС

Сказал я ему: – Поговорим, мори, о чудесах В-евышнего, творимых незримо с душой каждого человека. О странных взлетах и вспышках, когда из последних глубин отчаяния ты вдруг возносишься к вершинам блаженства, неопишемого счастья. И все меняется – и слух, и зрение, и эмоции, и ты становишься как бы космическим существом. Сказал он мне:

– Есть разные виды чудес на свете. Есть чудеса природы, когда Б-г вдруг меняет привычный порядок вещей, и в мире все нарушается. Это не поддается ни объяснению, ни осмыслению. Есть чудеса, творимые Б-гом с отдельно взятым человеком, на уровне эмоциональном – душа твоя либо трепещет, либо ликует. А есть еще «античудо», когда В-евышний скрывает Свое лицо, и все погружается во мрак и ужас. Такое мы тоже знаем. Я видел, как разрушали римляне Храм, как угоняли народ, как опустела земля... А Катастрофа шести миллионов – не «античудо» ли это?

Сказал я ему:

– Поговорим, мори, о чудесах попроче, на уровне личном, о потрясениях души и рассудка, как было, скажем, со мной во время Войны Шестидневной. Давным-давно, во Львове еще... Я шел по улице, был пасмурный, дождливый день. И вдруг зареяли надо мной ангелы и принесли мне весть. Что наши взяли Синай, вышли к Иордану и Мертвому морю, освободили Хеврон и Иерусалим. И я вдруг увидел, что небо над городом стало внезапно иным, мир кругом изменился, пронизанный вдруг каким-то иным, нездешним сиянием. Так было еще и в Израиле, несколько лет спустя, у рынка «Махане Иехуда». Я ехал в автобусе, и вдруг сообщили по радио, что пленников наших в Энтебе освободили, летят они в самолете

на родину. И то же самое повторилось...

Я расскажу вам, мори, одну небольшую, но удивительно похожую на мои историю. Она произошла с одним близким мне человеком по имени Ихиеель Вайсман, или, иначе Ихвас, как все мы его называли – соседи, друзья и знакомые. Его уже нет в живых, он похоронен на Масличной горе, куда уходят праведники и пророки. Это был высокий старик, угрюмый и мрачный, жил он всегда один. Ходили слухи о нем, что он не совсем в себе, что это последствия какого-то шока, пережитого им в Германии, в бытность его солдатом английской армии. Я почитал его за рава, наставника, поскольку располагал Ихвас самыми обширными знаниями, особенно в Торе, иудаизме. Талмуд он знал, кажется, наизусть. Мне приходилось присутствовать при его дискуссиях с известными мудрецами, и те порой уступали ему, во всем соглашаясь с его доводами и заключениями.

На землю Израиля – тогда еще Палестину – Ихвас сошел с парохода в самый разгар Войны за Независимость: совсем еще молодой, в парадной форме пехотинца Ее Величества Королевской армии, а потому – проблем никаких с сертификатом у него не было.

Пламенный сионист, человек верующий – «бааль-тшува», он с ходу же записался в Пальмах, с головой окунувшись в боевые действия: воевать он умел, войне был отлично обучен – богатый опыт был за плечами. Однако карьеры военной Ихвас не сделал, не захотел. Он говорил, что не за этим приехал сюда. Хотя и выдвигали его в командиры, в большие начальники. Он от всего отказался. Говорил, что Б-га приехал искать, здесь больше шансов с Ним встретиться.

А появилось у Ихваса это желание вот как: душа у него пробудилась еще в Германии, в самом конце войны – за пару недель до ее окончания, когда дивизия их пехотная внезапно прорвалась в местечко Шварцвальде.

В лесистой местности, среди скал и болот, здесь на всю мощность действовал концлагерь – фабрика смерти. Они успели захватить весь персонал: эсэсовцев-надзирателей, палачей при газовых камерах и крематории.

В живых застали несколько сот заключенных.

По сей день, говорил мне Ихвас, душа во мне содрогается: я

видел горы трупов, разбросанные по всей территории, видел ходячие скелеты, закутанные в тряпье – детей, стариков, женщин. Сутками напролет бульдозеры копали огромные рвы, людские останки свозились туда на тачках. Тяжелый, смердящий запах был невыносим: водители бульдозеров работали в противогазах. За тачками приставили немцев, они от усталости падали в обморок – эти сукины дети, отродья дьявола. Мы тоже работали не покладая рук, тоже уставали зверски. Не столько физически, как морально – до полного нервного истощения. Что тебе говорить, восклицал Ихвас, припоминая те дни, смотрю я иногда военную кинохронику и не могу отделаться от мысли, что самое ужасное всегда остается за кадром, его нельзя передать. Зрачки наших глаз – вот бы людям куда заглянуть! В зрачках наших глаз запечатлелась правдивая кинохроника.

И вот однажды, когда они крепко спали в бывшей казарме эсэсовцев, смертельно уставшие за день, раздался вдруг страшный окрик:

«Есть здесь евреи? Быстро на выход – только одни евреи!»

Разом вскинулись все головы в казарме. Щурясь на яркий электрический свет, Ихвас увидел Джексона, их офицера, надменного верзилу, ирландца Стива Джексона, то ли известного в прошлом боксера, то ли знаменитого игрока в бейсбол. Расставив широко ноги, он постукивал, как обычно, стеклом себе в ладонь.

«Оружие с собой не брать! Одеться и идти за мной...»

От виденных днем кошмаров, от этого выкрика неожиданного, в голове у Ихваса началась сумятица мыслей. Наспех облачаясь в одежду, он лихорадочно соображал: что вдруг случилось? Никто и никогда в английской армии не интересовался его национальностью, при чем тут его еврейство? Куда их на ночь глядя зовут?

Родился Ихвас в Манчестере. Его родители были из Кишинева, пережили тот самый погром знаменитый, бежали в Англию. И вот вам: в Германии, в бывшем концлагере смерти, ему вдруг вспомнили кто он... Здесь, на топкой, гнилой земле, где свалены в необъятные рвы его соплеменники – уж не его ли очередь пришла?

Оделись четверо: Ихвас и еще трое парней. Молча потащились к выходу. Разом сделавшись жалкими, обреченными – на глазах у всей казармы; какие-то прибитые в безысходном отчаянии. При-

творившись наивным, Ихвас обратился к верзиле Джексону:

«Куда же, сэр, вы евреев своих ведете? Кому мы среди ночи понадобились?»

И раскурив трубку, тот процедил сквозь зубы:

«А это вы скоро узнаете».

Шел мокрый снег, вперемешку с дождем, хлестал пронзительный, ледяной ветер. Кругом были слякоть и лужи. Размашистым шагом Джексон шел напрямик, четверо еврейских парней с трудом за ним попевали. И строя самые дикие предположения, вполголоса за его спиной перешептывались. Пытались Джексона разговорить, но тот оборачивался, скалясь в гнусной ухмылке.

С двух шагов нельзя было ничего услышать: поблизости ревел бульдозер, освещенный прожекторами, выл и свистел ветер, скрипели за колючей проволокой могучие ели в лесу. Они подходили к другим казармам, паршивец Джексон оттуда тоже вызывал евреев, и собралось их вскоре человек пятнадцать. Солдат, о которых Ихвас и подумать не мог, что они тоже евреи. Словом, подчистили всех, и Ихвасу сделалось дурно.

Лихорадочно соображая, Ихвас пришел к окончательному убеждению: да, война явно близится к концу, во всех окрестных лесах кишат недобитые отряды фашистов, готовые сражаться насмерть. Они прекрасно понимают, что за свои преступления жестоко поплатятся, терять им нечего. А потому – способны на любое безумство и дерзость. Собрали наверно силы свои в кулак, и предприняли контрнаступление. Осадили лагерь и предъявили свой ультиматум: выдайте нам евреев! Только евреев, а вас не тронем... Такое случалось уже в еврейской истории, Ихвас много об этом читал. В истории Польши, в истории Украины: враги пускались на хитрость – выдайте нам жидов и мы вас не тронем, и города брать не будем. И раскрывали врагам ворота – наивные гоим, и те вырезали всех подряд, в том числе и евреев. Похоже, что так и будет сейчас... Эти умники англичане, эти хваленые демократы, ублюдки! Когда мы деремся вместе плечом к плечу, никто нас не спрашивает, какой мы национальности, но если стоит вопрос о жизни и смерти – можно евреев выдать и на расправу.

Так плелись они за Джексоном во тьме, по грязи, по лужам, приготовившись к самому худшему, покуда не спустились вниз, к воротам лагеря, где была столовая – офицерский клуб, и изо всех

окон светился яркий, электрический свет.

И тут, мори, их взору явилось чудо. Будто из детства, из сказки.

Они вошли и увидели стол, длиннющий пасхальный стол, покрытый белоснежной скатертью, уставленный всевозможными яствами, квадратными столбиками мацы. Горели свечи на этом столе, таком праздничном в ожидании евреев, стояли бутылки с вином и виски. И где, Г-споди: в концлагере смерти на окаянной германской земле, у самого края войны? На дне преисподней, где не остыли еще адские печи и из-под колосников еще не выгребли пепел сожженных детей Израиля? Да и сами они по дороге сюда уже приготовились к смерти, к коварному предательству... Вообразите себе, мори, их счастье и потрясение?

К ним бросился человек в белой ермолке и белом же, шелковом халате. Вышел из-за стола с распростертыми объятиями. Он был с бородой и в пейсах – армейский раввин в чине полковника, и Ихвас вспомнил его. Несколько дней назад в лагерь приехала делегация из Англии, – члены парламента, военные следователи, судьи и прокуроры из Генерального штаба. Ихвас видел, как Джексон водил их повсюду, тыча стеклом своим, как указкой, и давал показания. А этот бородач подолгу стоял над рвами, вздевая к небесам руки и читал молитвы.

«Проходите, солдаты, расслаживайтесь! Я приглашаю вас на Пасхальный Седер, сегодня ночью выходим мы из Египта, из рабства...»

Ихвас узнал его, вспомнил, и тут же все у него связалось. Забилося бешено сердце, готовое лопнуть, выскочить из груди, и вернулись и хлынули слезы. Но прежде, чем сели за стол, под шутки и взрывы веселого смеха, налили стаканчик виски поганцу Джексону. Он тяпнул его, крикнул и подмигнул: «В такое рабство и я бы хотел угодить! Смотрите, не перепейтесь, как гуси, утром чтоб были в казармах...» Похоже, он крепко евреям завидовал.

Потом они пили вино и ели мацу, слушая про казни египетские и чудеса В-евышнего при переходе через море. Снова пили, и снова ели, и этот Седер запомнился Ихвасу на всю жизнь. Ведь всю полноту еврейских страданий и чудесного избавления он только что на себе испытал. Душа его распахнулась и трепетала, разверзлась до необычных глубин, а свет, проникший туда, позвал его к Б-гу.

Григорий Подольский

ВТОРОГОДНИК

Старые школьные фотографии. Еще те, черно-белые групповые снимки. По размеру – больше альбома, края далеко за кромкой обложки. Фотобумага, покрытая трещинами, кое-где с желтыми пятнами, с обломанными уголками. Но ... старые-то они старые, а кажется, что сфотканы будто вчера.

Наверное, только у наших школьных учителей эти фото и занимают почетное место на стенах, в аккуратных рамочках под стеклом. А мы, бывшие ученики, неизменно засовываем их куда подальше и натываемся случайно.

Для учителей это – вся ИХ жизнь, ИХ выпуски, ИХ достижения. 1975, 1976, 1980 ...

Думаю, что с годами все же и учителя забывают имена многих своих учеников. В памяти сохраняются лица. Те, детские лица с групповых фотографий.

Ох, давненько не открывал я свой школьный альбом. А тут случайно попался на глаза, вытащил выпускное фото нашего 7-го “Б”. Хех! Я-то уж точно всех помню, и не то что по именам, по фамилиям!

Опаньки! Оказывается, не всех!

Вот этот... Как же его звали-то? Долговязый, на полголовы выше каждого из нас мальчишка – татарин, стоящий рядом со мной в последнем ряду. Скуластый, не улыбочивый, взгляд чуть исподлобья. Один на фото без пионерского галстука. Уголок воротника расхлужтанной рубашки приподнят. Господи, да это же Растям! Да-да, Растям Ассадуллаев! Он проучился с нами всего-то один год.

Да, я вспомнил...

Я выпускник обычной школы – не спец, не гимназии, не с математическим или другим уклоном. Обычной – средней школы N 8. По соседству было еще две таких же, обычных – “Пушкина” и 15-я. Но классы во всех трех были переполнены.

Огромный рабочий район “хрущевок” тянулся между Волгой и железнодорожными путями, от стадиона до магазина “Детский мир” и парка имени Карла Маркса, который все называли “Карлуша”. Туда мы бегали кататься на каруселях, есть мороженое, а однажды любовались на грандиозное зрелище – горел театр “Аркадия” – жемчужина деревянного зодчества нашего города.

Названия наших улиц – Татищева, Савушкина, Латышева, Коммунистическая, Анри Барбюса, Комсомольская Набережная. Здесь много общежитий – Педагогического института, и Рыбвтуза, здесь самая большая в области Александровская больница, здесь заводы “Прогресс”, станкостроительный, “Стекловолокно”. И все это – Ленинский район.

Пересечь эту Вселенную моего детства запросто – всего каких-нибудь 15 минут на громяющем по рельсам красном трамвае или на рогатом троллейбусе.

Второгодник Растям Ассадуллаев вошел в наш класс 1 сентября. Не спрашивая учительницу, не дожидаясь представления классу, он уверенно направился к предпоследней парте. К моей парте. Бросив свой тощий портфель на пол, спросил для проформы: “Свободно?”, и опять же, не дожидаясь ответа, сел на соседний стул. Протянул руку:

– Растям.

Я тоже назвал свое имя.

Вообще-то, хулиганов в нашей школе было не сказать что много. Хотя, не без того. Растяма я, естественно, раньше видел – он был на год старше, учился в классе “Г” и тусовался как раз-таки с хулиганьем с улицы Латышева. При этом он не был тем вечно “добадывающимся”, стреляющим мелочь у малышей “блатным”, которые зимой часами не выходили из туалета, а с весны до осени ошивались в яблоневом саду у нашей школы. Растям тоже носил модную в их среде “фуру – аэродром”, что однозначно роднило его с этими самыми “блатными” подростками. Ну и курил, конечно,

нисколько не скрываясь от учителей.

Широкоплечий, на полголовы выше меня, с точно резцом прорезанными удлинёнными, чуть на выкате голубыми глазами, обрамленными длиннющими ресницами, рыжеватый, с длинным носом, заканчивающимся квадратным раздвоенным кончиком (сейчас я бы сравнил этот нос со шнобелем молодого Жерара Депардье), он смотрел на мир как бы чуть-чуть со стороны. Взгляд его был то насмешлив, то грустен, то внимателен, но никогда не зол и не равнодушен.

От одноклассниц с улицы Латышева я узнал, что живет он с матерью, работающей мотальщицей на заводе “Стекловолокно”. Отец “сидит”, а Растям как “трудный подросток” состоит на учете в детской комнате милиции. Всё это было где-то там, аж у стадиона, на улице Латышева.

Не припомню случая, чтобы Растям на кого-то повысил голос или продемонстрировал свою физическую силу. В отличие от меня, по школе он не бегал, а ходил, никогда не дрался, впрочем, задеть его никому и в голову не приходило. Вел он себя как человек взрослый, с достоинством, что ли ...

Но при этом он был все же подростком, как и все мы. Списывал у меня безбожно, потому как уроков никогда не учил. С увлечением рассматривал мои альбомы с марками, рисовал на полях самолеты и танки.

Уже через неделю можно было сказать, что мы с соседом по парте подружились.

Преподаватели, поначалу ожидавшие от второгодника “сюрпризов”, через месяц уже не обращали на Растяма никакого внимания, ведь был он всегда тих и внешне послушен. К доске его не вызывали, письменные работы оценивали автоматическими “тройками”, даже если списано было буква в букву “на пять”.

В мае, когда до конца учебного года оставалась всего неделя, заболела наш классный руководитель. Отменили последнюю пару по математике.

– Пошли скупнемся, – предложил мне Растям.

Доехав на трамвае до молокозавода, мы уже спускались вдоль забора по полузасыпанному речным песком асфальту к речному трамвайчику, когда Растям показал на часы на моей руке и бросил как бы невзначай:

– Спрячь “котлы”.

Большие, не по моей подростковой руке, с фосфоресцирующими стрелками, мне они нравились, несмотря на чуть разъединенную снизу позолоту корпуса.

Я молча расстегнул браслет и сунул “котлы” в карман брюк. Впереди замаячил Обливной остров.

Старенький речной трамвайчик суетился между берегами, перевозя людей на пляж и обратно. Всего-то метров по пятьдесят туда-сюда.

Мы забрались под настил причального понтона, где уже сидели на корточках несколько пацанов в мокрых сатиновых трусах, покуривая “беломорины”.

Одного из них я узнал, он учился в параллельном классе.

Поздоровавшись с каждым за руку, представив меня товарищам, Растям разделся до таких же, как у них, черных сатиновых трусов до колен. Мои плавки удостоились скептических взглядов, но насмешек и комментариев не последовало. Аккуратно сложив одежду в стопку, я накрыл ею сандалии, взобрался на понтон и нырнул, тщательно вытягивая тело в струнку, в бутылочного цвета воду.

Что для волжанина 50 метров? Несколько гребков, и мы уже нежились на пляже, зарывшись в золотистый волжский песок.

Дунув на поднятый с песка окурок, Растям попросил у загорающего рядом мужчины спички, прикурил, затянулся и стал смотреть на воду.

Молчание длилось минут пять. Я как всегда не выдержал и спросил первым:

– Ты куда после школы?

Растям отщелкнул в воду окурок:

– Не знаю. Это не имеет значения.

Я удивился:

– Почему? Я вот хочу закончить десять классов и поступить в Рыбвтуз.

– Если хочешь – поступишь. А меня так или иначе посадят ... дело времени.

– С чего ты взял, Растям? У тебя в школе за год ни одного замечания, ни одной драки. За что ж тебя сажать?

Растям посмотрел на меня с усмешкой:

– У меня от инспекторши детской комнаты последнее предупреждение. Да и вообще – отец сидит, старший брат сидит... Всё равно или побью, или порежу кого по пьяни.

– Так ты ж не пьешь, ты вообще мусульманин! – я был буквально ошарашен его словами.

– Пока не пью, – непонятно ответил одноклассник, встал и, отряхнув с длиннющих трусов мокрый песок, побежал в воду. Плыл он резко, неуклюже, оставляя вокруг себя фонтан брызг.

Когда мы взобрались на понтон, ребята по-прежнему курили, сидя на корточках. С силой отжав плавки, чтобы не расплывалось мокрое пятно на брюках, я начал одеваться. Часов в кармане не оказалось. Проверил в сандалиях, заглянул в щели настила... Нет часов.

Растям молча наблюдал за мной, а потом, отвернувшись к реке, тихо бросил в сторону отплывавшего трамвайчика:

– Мужики, верните “котлы”.

Самый низкорослый из его друзей неторопливо, явно нехотя, поднялся, подошел к Растяму и протянул ему мои часы.

– Ему, – кивнул мой одноклассник, – и извинись.

Через пару дней я опять подрался в школе. И не потому, что любил или умел здорово махать. Нет, нет и нет. Просто именно со мной это случалось нередко. Вот и сейчас... Выпускники из 8 “А” решили покурлесить в последние дни учебы. На переменах они выбирали кого-то из класса помладше и начинали по-всякому задирать.

Как это ни странно, ко мне прицепился опрятный, обычно добродушный парень. Ростом он был чуть выше меня, довольно плотный, но неуверенный.

– Выйдем? – предложил ему я.

Стайка моих и его одноклассников поспешила в яблоневый сад.

Драка началась вяло – с толчков и словесной перепалки. Но когда он, схватившись за мою новую голубую рубашку, дернул и оторвал пуговицу, я разозлился и со всей силы ткнул его кулаком в глаз. Потом мы схватились, катаясь по земле, а уж в партере я “как учили” в секции, отжал его руку на болевой. Кто-то из “бо-

лельщиков” восьмиклассника ударил меня носком ботинка в бок – не больно. Мой обидчик уже ревел (“Отпусти, больно!”), даже не пытаясь сопротивляться.

Послышались крики: “Так не честно!” и “Нет, все честно, все пучком!”

Тут кто-то сильно ухватил меня за шиворот и голос учителя автодела приказал: “Отпусти его”.

В кабинете, увешанном таблицами систем автомобиля и дорожными знаками, Владимикторыч – мужик свой! Для приличия отчитал меня (понятно, ведь мой противник – тишайший отличник, а я – записной непоседа и драчун), но отпустил с миром, даже не лишив (о, счастье!) завтрашнего урока вождения.

Учился-то я легко, хотя и без фанатизма. Ездил от школы на олимпиады по математике, физике и химии. Ну, подумаешь, подрался раз-другой, с кем не бывает.

После уроков мы с Растямом медленно шли к остановке трамвая. Ему пару остановок – к стадиону, а мне дальше – на троллейбус и до жилгородка. Он подбрасывал и ловко ловил медную трехкопеечную монетку.

Завернув за угол школы Пушкина, я вдруг “поплыл”, почувствовав сильный удар в затылок.

Медленно оборачиваясь, успел заметить, что за моей спиной стоят трое восьмиклассников. Мой давешний соперник, глаз которого заплыл, морщась, потирает ушибленную об мою голову правую ладонь.

Время потянулось резиной. Краевым зрением я увидел, что Растям уже отводит для удара свой огромный веснушчатый кулак. Зрачки сужены, губы плотно сжаты. Мне стало страшно, показалось, что мой друг убьет отличника, нанесшего мне подлый удар со спины. В голове звучали слова: “А меня все равно посадят”. Нет уж, только не из-за меня!

Не знаю, как так я умудрился, но я толкнул Растяма, повалил на землю. Его кулак всего чуть-чуть не успел дотянуться до веснушек на переносице восьмиклассника.

Черт его знает, видимо, на какой-то миг я все же потерял сознание. Очнулся, лежа на земле. Голова гудела как пустой котел. Напавших со спины ребят и след простыл. Мой друг сидел рядом, потирая ушибленное при падении плечо.

– Если б не ты, убил бы падлу, – сказал он, не оборачиваясь.

* * *

Наступили каникулы. Папа устроил меня поработать на завод “Прогресс”, в 5-й цех – “всё не по улицам болтаться”.

Наш участок ширпотреба собирал торшеры. Работа не пыльная, если не считать тяжелых чугунных “блинов” – подставок, которые надо было возить из литейки и по лестнице поднимать на второй этаж. Видя меня, разгружающего “блины”, папа довольно улыбался. С тех пор, кстати, в его воспитательный лексикон и вошла присказка: “Не будешь учиться, будешь всю жизнь “блины” таскать”.

Оформили меня монтажником первого, самого низкого разряда. Начальника участка звали Виктор, а еще одного рабочего – Эльдар. Коллеги по торшерам были лет на семь-восемь старше меня. Оба дружили, оба играли в футбол за “Волгарь” – правым и левым хавбеками. Когда на участке не было комплекующих, Виктор с Эльдаром колдовали над своими шипованными бутсами, обсуждая игры. При этом называли имена футболистов, которые были кумирами нашего города.

Лето просто зашкаливало по жаре.

– Эй, малой, слетай-ка быстренько в литейку, принеси газировки. Только с солью! – обратился ко мне Виктор.

Пробегая мимо гальванического цеха, я увидел Растяма. Он сидел под навесом с папиросой в зубах, обтачивая напильником заготовки.

– Растям, привет! Какими судьбами? – радостно закричал я. Мой школьный приятель, не прекращая опиливать деталь, кивнул, садись мол.

Я сел напротив. Расправив длинную, чуть гнутую сигарету “Бородино” из припрятанной от родителей мятой пачки, я воровато оглянулся (меня ведь из-за отца ползавода знает) и тоже закурил.

Растям коротко взглянул на меня и оgoroшил:

– Всё, закончилась моя учеба. Теперь вот работаю разнорабочим в гальванике.

Оказалось, что у его матери обнаружили силикоз легких. Такая распространенная профессиональная болезнь на заводе “Стекловолокно”. Ее надолго положили в больницу, а жить-то им на

что-то надо.

Я тоже рассказал, что работаю “на торшерах” с футболистами из “Волгаря”. Растям, как выяснилось, был соседом Эльдара по дому, и, что было для меня новостью, не пропускал ни одного матча любимой областной команды. Благо, стадион был в двух шагах от дома.

Поболтав о том-о сем, мы распрощались. Мне надо было бежать в свой цех.

Я рассказал о Растяме и Виктору, и Эльдару, а потом и отцу.

С тех пор мы с моим одноклассником больше не пересекались. Через неделю родители взяли отпуск, мы уехали на месяц в Кисловодск. А позже я узнал, что Растяма перевели в 5-й, отцовский, цех, где зарплата повыше. И не на “торшеры” – таскать “блины”, а учеником, его взял к себе в ученики лучший токарь завода! С Эльдаром и Виктором они подружились.

Больше я ничего не знаю о своем школьном друге-второгоднике. Так уж сложилась жизнь. Но и благодаря ему в том числе я осознал, что бить человека в спину – один из тяжких грехов. Это раз. И еще. Говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Наверное. Но все же, хочется верить, что человек и сам выбирает свою судьбу.

ПОЩЕЧИНА

Славик сидел, подоткнув ладонью полыхающую румянцем щеку, еле сдерживая слезы, делал вид, что углублен в учебник истории древнего мира. Одноклассники за соседними партами глазели на него, перешептывались и перешихивались между собой. А ему было обидно. Пять минут назад он получил первую в своей жизни пощечину. Звонкую, унижительную, а главное – незаслуженную.

Нет, ну скажите, за что?

Если подумать, всё началось месяца за четыре до пощечины. Их пятый “б” был обычным классом в обычной средней школе. Разве что учителя на собраниях в один голос говорили родителям: Класс “сильный”, но – “недружный” .

Большинство нынешних пятиклашек знали друг друга аж с младшей группы детского сада, когда они вереницей усаживались

на зеленые эмалированные горшки.

Потом почти вся их группа-“подготовишка” перекечевала в первый “б”, где который год грызет гранит гениальных гитик. Вот сидят они в три ряда, правда, не на детских горшках, а за испанскими шариковыми ручками зелеными партами. Уж какая тут дружба-то за десяток “горшок к горшку” лет! Славик где-то вычитал, что даже космонавты за время полета друг другу надоедают!

Может быть, потому и не было в их классе всяких там “лямуров-тужуров”, пока не угораздило злосчастного Елисеева влюбиться в Маринку Зябликову. Да не просто влюбиться – втрескаться по уши!

Собственно, влюбляться-таки уже стало в кого. Неприметная со времен эмалированных горшков Зябликова не вдруг, но быстро принялась расцветать и хорошеть. И уже не безобразили ее фигуру ни коричневое форменное платье с белым воротничком, ни черный фартук, ни нитяные коричневые колготки. Аккуратенькая такая стала, с намечающимися “где надо” выпуклостями, с волосиками, собранными на затылке в каштановый хвостик... Шея у Зябликовой приобрела грацию, изящность, глазки поголубели.

Короче, наш “королевич Елисей” ей и в подметки не годился. Ну не было в нем ничего примечательного кроме жестких темно-синих джинсов “Levis”, привезенных ему из плавания дядькой .

И вот, пошло-поехало! Стал Елисеев ежедневно, хотя и робко, но настырно «проводить» Зябликову после школы домой. А это аж три троллейбусных остановки пехом!

С несчастным видом, отставая на добрых десяток метров, плелся он по аллее за Зябликовой. Набитый учебниками ранец был, конечно, сам по себе тяжел, но еще тяжелее было безразличие девочки. Она его, типа, не замечала в принципе.

Дабы растопить сердце “спящей красавицы”, Елисеев покупал у мороженщицы у кафе “Ветерок” вафельный стаканчик с пломбиром, однако сократить дистанцию и угостить-таки даму сердца кавалер стеснялся.

Когда девочка входила в свой подъезд, Елисеев вставал на бортик песочницы, приподнимался на носки и еще битых полчаса пялился, вытянув шею, в Маринкины окна, рассеянно слизывая с липких пальцев растаявший пломбир.

Однажды Елисеев притащил в класс отцовский фотоаппарат “Зенит” и наконец-то осмелился попросить Зябликову «попозиро-

вать» ему.

Эт-то надо было видеть! Пунцовый от смущения, кавалер выискивал ракурсы получше, пригнулся, вставал на колени, один раз даже улегся на пол, но фотомодель паясничала, высовывала перед объективом язык и строила прикольные рожицы. В конце концов, влюбленный фотограф разревелся при всем честном народе и «сбежал с подиума».

Вездесущая классная руководительница Марьяванна засекала плач Елисеева и немедленно, всем своим «заслуженноучительским» нюхом почуяла, откуда ветер дует.

Она решила, что пробил час «звонить во все колокола», собирать вече, то бишь начистоту поговорить с классом о своих высоких материях.

Марьяванна назначила классный час на тему «Я помню чудное мгновенье». Как дипломированный математик, она все просчитала заранее.

Вначале было слово, то есть теоретические данные о соотношении в обществе М. и Ж., потом последовала информация о пубертатном периоде у девочек и мальчиков. Затем Марьяванна прочла (с выражением) стихи А.С. Пушкина о любви.

После фразы «как дай вам бог любимым быть другим» она окинула многозначительным взором класс и предложила высказаться по теме. Народ смущенно похихикивал, поглядывая на умудренного в этих делах Елисеева. Красный как рак, не привыкший к такому вниманию класса, тот буквально съехал под парту, спрятав голову глубоко внутрь своей джинсовой куртки.

Славик же, с самого начала недооценивший всю серьезность темы, слушал учителя лишь вполуха, углубившись в лежащий на коленях роман Дюма. И вот на самом интересном месте, когда Атос передавал Миледи палачу из Лилля, класс зашелестел «анонимными» мини-сочинениями на тему «С кем бы я хотел сидеть за одной партой и (главное!) почему».

Нехотя уступив ситуации, Славик спрятал книгу и быстро накарябал пару строк о том, что, мол, любит всех девочек в классе уже за то, что у большинства из них по случайному стечению обстоятельств – птичьи фамилии, а он обожает птиц. И что ему все равно, с кем из классных птиц щебетать за одной партой. Подписавшись (ему-то скрывать было нечего, да и почерки учеников не

тайна за семью печатями), Славик сдал свой листок Марьиванне.

Казалось бы, ситуация исчерпана. Ан не тут-то было! Классная руководительница просто представить себе не могла, что без преувеличения открывает ящик Пандоры!

Она же и назвала это “новым поветрием”.

Назавтра класс кучковался, сплетничал, делился слухами, перекочевывающими от ряда к ряду и от парты к парте. Физик Палпалыч назвал бы этот бардак броуновским движением. Так и казалось извне. Но изнутри всё было иначе. Ребята непрерывно, но закономерно, перемещались из группы в группу, обсуждая между собой хитросплетения детских любовей, о которых, вот те на (!), Славик ранее и представления не имел!

Оказалось, что еще раньше, чем Елисей влюбился в Зябликову, она сама влюбилась в Каренина. А Каренин еще раньше втрескался в Воронову, а Воронова вообще давно – в Чернова, а Чернов – в Журавлеву, а Журавлева вообще ни в кого не втрескивалась, любуясь только на свои “пятерки” в дневнике.

И откуда что взялось?!

Девчонки, слетевшись в стайку, щебетали между собой о письме Татьяны к Онегину, а мальчишки – как бы попасть в кино-театр на новый фильм, который “детям до шестнадцати” – “И дождь смывает все следы”. Кто-то вообще принес в класс и тайком показывал друзьям “Камасутру”! Оба пола, и мужественный, и прекрасный, ругались и ссорились между собой. Обсуждалась и грядущая глобальная рокировка.

Славик во всех этих перипетиях активного участия не принимал. Какая разница, с кем сидеть за партой, если это все равно будет девчонка? А с мальчишкой – ну кто ж его посадит?

Но остаться над схваткой не получилось. Его пересадили одним из первых.

В принципе, за два года он уже привык к своей соседке по парте – старосте класса Людке Глухаревой. Средняя “хорошистка”, она была гренадерских форм, на физкультуре стояла во главе класса, а уж за ней Каренин, потом Чернов и Славка.

Широкая в кости, сильная от природы Глухарева была настоящим старостой! Славка хоть и учился лучше нее, но был неусидчивым, болтливым, смешливым и озорным. Именно для сдерживания Славкиного темперамента Марьиванна и усадила их

со старостой за одной партией.

Во время контрольных по математике Славка подшучивал над Глухаревой, намеренно закрывая от нее ладонью свою тетрадку. Тогда та невозмутимо, двумя сильными пальцами левой руки – большим и указательным, брала запястье соседа “в клещи” и крепко прижимала его ладонь к своей коленке, удерживая до тех пор, пока не спишет у него всё подчистую.

По должности или по велению души, но на всех родительских собраниях Глухарева старательно клеймила Славкину бесшабашность, приводя в пример Чехова (“в человеке всё должно быть прекрасно!”), выдавала “на-гора” цитаты из Сухомлинского и Макаренко. «Предки»-заводчане внимали и млели от ее дисциплинированной начитанности. А придя домой, ставили Глухареву в пример своему непутому чаду. И это было привычно и, по большому счету, правильно.

Ссылка Глухаревой за парту в последнем ряду отразилась прежде всего на успеваемости самой старосты. К тому же, ее оставили одну! Теперь не у кого стало списывать, да и обязанность воспитывать Славку отпала сама собой.

Новая соседка слева (Славка называл ее Светка левая) не имела начальственных полномочий. Фамилия ее была, как и у большинства девчонок класса, птичья – Бусел. По-белорусски – аист. Любительница бальных танцев, с круглым лицом, круглыми глазами и кругленьким же носом-картошечкой, она сразу предложила соседу стать ее партнером по вальсам и мазуркам. Зная увлечение своего нового соседа марками, Светка левая поначалу приносила в класс альбомы своего младшего брата. Но Славке это было малоинтересно, ведь меняться брат ей не разрешал.

Веселее было справа. А именно – Светка правая. Та сидела в параллельном через проход ряду.

Можно даже сказать, что Славка с ней подружился. Они постоянно хохотали на пару, передавали друг другу всякие там записки, и вообще... Светка была симпатяга с никогда не сходящим со щек розовым румянцем. Когда рука мальчика с запиской на миг касалась ее руки, извечный румянец Светки правой усиливался (хотя куда уж румяней-то!) и заливал все лицо. Поэтому, скорее из исследовательских побуждений, Славка старался подольше не

отпускать ладошку правой соседки. Ну, в рамках приличий, конечно.

Надька Воробей сидела на задней от него парте и постоянно боровила взглядом затылок Славика. Вообще-то она была подающей надежды пианисткой. Надька старалась пресечь дружеские рукопожатия Славика со Светкой правой, несильно лягая сидящего впереди мальчика ногой по попе.

Сама она была девочкой пышной, с рано повзрослевшей грудью и ножками-“бутылочками”. Когда Воробей бегала, грудь ее смешно поколыхивалась, а ножки напоминали ножки рояля. А бегала она часто. Сама заденет Славика, побежит, а тот – ну ей вслед! Догнав, что не составляло в общем-то большого труда, для смеху обхватывал Воробей сзади, сжимая как бы невзначай оба мягких холмика. Надька на миг переставала дышать, прямо-таки застывала, ловя “кайф”, но через миг-другой “бездыханности” начинала бурно вырываться из некрепкой сцепки мальчишеских рук, разводя их в стороны музыкальными ладонями. Почувствовав свободу, Воробей опрометью летела куда подальше – в противоположный конец рекреации.

По мнению Славика, волей-неволей вовлекавшегося в новое “поветрие”, грудь Воробей, бесспорно достойная, все же уступала по грации “прелестям” другой одноклассницы – Кукушкиной. Та обладала просто-напросто обалденной, отличающейся особо плавными формами фигурой с умеренными возвышенностями и изгибами-“легато”. Ну прям тебе виолончель. Достоинства Кукушкиной впечатляли. С ней-то уж не забалуешь – строга! Но стоило той открыть рот, как очарование пропадало напрочь. Свистяще-шипящий голос безнадежно портил безупречную музыкальность внешности.

В силу обстоятельств, задумываясь на означенную тему, Славик иногда представлял себе идеал своей будущей возлюбленной. Профиль Зябликовой, “виолончель” Кукушкиной, мелодичный голос Журавлевой, легкий характер Светки правой, умение танцевать Светки левой и непосредственная чувственность Надьки Воробей.

Вот! Вот с такой бы нескучно и на необитаемом острове по(ве)селиться.

При всем при том, что девочкам он, как ему казалось, нравился

(а что, характер нормальный, нрав веселый, да и вообще, пацанто он видный), Славке все это было по сути своей “по барабану”. Не вообще, нет. Гипотетически он понимал всю важность темы. Но не в смысле детских “любовей-морковей”. Пока его привлекали спорт, марки, кино, друзья во дворе и другие преимущества детской жизни.

Вот и сегодня, насмеявшись вдоволь со Светкой правой во время урока литературы и набежавшись за Воробей, остаток большой перемены Славка посвятил обмену марками с Мишкой Далем.

Мальчишки тихо сидели за партой и увлеченно рассматривали альбом, когда кто-то тронул Славку за плечо. Обернувшись, он увидел Снегиреву. Эту девочку он знал, можно сказать, с пеленок. Мало того, что они родились в одном роддоме с разницей в день, что в детском саду сидели на соседних зеленых горшках, а теперь учились в одном классе, еще и его “предки” были приятелями-сослуживцами с родителями Снегиревой.

Девочка тем временем положила на парту два голубых билета в кинотеатр “Призыв”, улыбнулась (немного искусственно), и громко, чтобы слышал весь класс, предложила:

– Слав, пойдём сегодня вместе в кино. В “Призыве” “Железная маска”. Смотри – 6-й ряд, 10 и 11 места. Я вчера купила.

Славка от эдакой неожиданности чуть не выронил из рук редкую марку. Идти со Снегиревой в кино ему ох как не хотелось. Конечно, если б с Зябликовой или со Светкой правой – он бы еще подумал, так, ради престижа. Никого еще девчонки перед всем классом в кино не приглашали! Но Снегирева... Это ведь также обыденно, как под домашним столом с ней в войнушку играть, пока “предки” 1 мая празднуют!

Помявшись, с натянутой на лицо “лыбой”, ответил:

– Ну ты знаешь, Наташ, я, в общем, сёдня не могу. Занят. У меня тренировка и всякое такое...

– Я так и знала. И вообще, не ври – тренировка у тебя не сегодня, а завтра, – выпалила звенящим голосом Снегирева и неожиданно отвесила мальчику звонкую, совсем взрослую пощечину. А потом повернулась и опрометью выбежала из класса.

Синие билетки в “Призыв” заколыхались от сквозняка и медленно спланировали с парты на пол.

Гомон в классе мгновенно стих. Оконная муха жужжала и билась о стекло. Крякнула под чьей-то ногой паркетина. Славик опустился за разрисованную шариковыми ручками парту, закрыл багровеющую, пылающую огнем щеку ладонью и уткнулся невидящим взглядом в раскрытый учебник.

Было очень, очень, очень обидно и хотелось плакать.
За что?

* * *

Зябликова сладко потянулась в постели и толкнула Славика в бок.

– Слав, вставай, уже темнеет. Тебе пора.

Вячеслав открыл глаза и, увидев нависшие над ним манящие губы Зябликовой, притянул ее к себе и поцеловал, ощущая отзвучившую упругость.

– Всё-всё, Казанова! Тебе давно пора. Снегирева, наверное, места себе не находит. Да и мой “королевич Елисей” вот-вот из командировки нагрянет. Марафет навести нужно.

Славка подскочил как ужаленный:

– Да ты что!

Через пять минут он уже был, что называется, как огурчик.

– Что сегодня своей соврешь? – улыбнулась хитро Зябликова, подравнивая мизинчиком подкрашенные губы.

Стараясь не соблазниться на прихорашивающуюся для Елисеева полураздетую подругу, Вячеслав выдал экспромт:

– Как что? Операция на сердце затянулась.

– И это почти правда, доктор! Затянулась, и надолго, – она потянулась к своему бюстгальтеру, – застегни. А щека-то у тебя пунцовая, совсем как тогда! Эх, Славка, две диссертации защитил, а врать так и не научился, – Маринка чмокнула его в пунцовую щеку.

Вячеславу даже в зеркало смотреть не надо было – половина лица горела огнем, совсем “как тогда”.

Придя домой, он тихо отпер входную дверь квартиры, прислушался, снял туфли и в одних носках неслышно пробрался в спальню.

Жена уже спала. Ну и слава богу!

Выйдя утром к завтраку, Славка широко улыбнулся:

– Доброе утро, Нат.

– Доброе утро, Слав. Извини, тебя не дождалась, уснула. Как спалось?

– Прекрасно.

– А знаешь, у тебя ведь щека румяная.

Но щека-то не горела! Он бы почувствовал!

Славик потер лицо рукой и посмотрел на ладонь. На ладони краснели следы помады Зябликовой ...

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»:

| | |
|-------------------------|--|
| Павел АМНУЭЛЬ | «ДОРОГА НА ЭЛИНОР» |
| Марьян БЕЛЕНЬКИЙ | «ЧЕМ ВАМ НЕ КНИГА?» |
| Владимир ГОПМАН | «ЛЮБИЛ ЛИ ФАНТАСТИКУ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ» |
| Таня ГРИНФЕЛЬД | «КВЕСТ» |
| Таня ГРИНФЕЛЬД | «ЭСКИЗ» |

**ЗАКАЗАТЬ КНИГИ (БУМАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ)
МОЖНО ПО АДРЕСУ:**

<http://litgraf.com/shop.html?shop=1>

Валентин Толецкий

НА ДНЕ

Фрагменты из романа

ГЛАВА I



Beethoven. Sonata № 31,
in a flat major.

Глаза открылись.

Но ничего не изменилось: та же темнота, что и прежде, и что-то в ней есть, различить невозможно, только представить...

Первым тихо заговорил вопрошающий: «Что там? Где? На чем все остановилось?»

И словно из глубины, невнятно слышится: «Там, на том дне лета». Что за день? Сторожащий время шепчет: «День лета Господня, десятое июня».

Ах, да, ведь и сегодня десятое. Ее день... Какое совпадение! Но про нее потом, потом.

Или не день, а дно? Дно лета?

Нет, это дно Леты.

Теперь он понял, где пропадал в долгие часы ночных забвений и затерянности.

Лета постепенно вымывает из тебя все, что ты знал и помнил раньше, но не все растворяет бесследно, часть бывшего навсегда остается на ее дне. Там и находишь свое забытое и неизвестное.

Но сейчас со дна надо подняться наверх.

Когда-то он легко уплывал против течения Леты – далеко, туда, где никто не сторожил время, где он невесомо витал в гамаке между сосен, улетающих с ним к таким же невесомым облакам в голубое небо – бездонное, там ведь нет никакого дна. И в солнечно-высокой хвое, чуть покачивая ее, ровно шумел не стихающий теплый ветер из-за ближнего леса, которому не было конца, как и детскому лету. А с террасы доносилось бабушкино: «Иди к столу!». «Иду-у-у!» – и на бегу босыми ногами ощущал смешное покалывание старых сосновых шишек в траве. И после обеда на велосипеде на станцию, где на деревянном прилавке под навесом продавали в газетных кульках лесную землянику, и запах ее смешивался в жарком воздухе с запахом горячих на солнце шпал – запахом дальней дороги и безвестных полустанков.

Все-таки надо всплывать.

Почему сегодня ушел на дно? Не много пили на проводах, не усталость навалилась.

Потому что вернулся сюда, откуда все начиналось, и здесь ночью затянуло в летний омут.

Хорошо, что вернулся, что этим днем, и до начала зимы еще можно быть. Что-то еще очень хорошее... Да, осенью последний раз наверх, на Дыхтау. И лишь только прозвучало внутри имя горы, ощутил холодящее душу дыхание вершины, и зардела закатным светом на далеком снежном склоне радость...

Поднялся, пошел к окну, с беспросветно задернутыми шторами, потянул тяжелую ткань в разные стороны – плеснуло солнцем на темный паркет, отблеснуло в зеркале. Открыл форточку. «Сквозь фортку кликну детворе: “Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?”» – «Третье тысячелетие, Борис Леонидович. Двор бездетный, безголосый, безлюдный, заставленный машинами. Но все еще висит у меня на стене портрет Толстого за столом, карандашный набросок вашего отца, подаренный мне вашим сыном Евгением Борисовичем».

Рядом ясноликая молодая бабушка, Валентина Михайловна, урожденная Талецкая. Весной четырнадцатого года вышла замуж, и они с мужем после венчания в Михайловской церкви посадили в своем имении Волотова, на берегу Сожа, дубок. Только он один теперь и остался от усадьбы. А в девятнадцатом году деда Александра Ивановича Козлова, праправнука поэта Ивана Ивановича, расстреляли красные как землевладельца и дворянина. И бабушка давно лежит на горке на Rokantikes kapines под Вильнюсом, недалеко от своей Польши.

Ниже мама с отцом, который здесь очень похож на Блока, между ним и мамой он сам, четырех лет.

Слева фотография Леонтьева, красавец с чуть раскосыми глазами – татарское наследство от Карабановых.

Достоевский.

На полке Пан, Приап, Афродита, Ахиллес, Арес, Атлас, кентавр, Геракл – бронзовые из Афин, Фессалоник, Родоса, собирал везде.

Все пока на месте, слава Богу.

Он двинулся дальше, по длинному темному коридору, задевая за торчащие углы книг на стеллаже, тянувшемся до самой двери. Хотел взглянуть, нащупал выключатель, но лампа зло сверкнула и погасла навсегда. В прихожей было светлее – из открытой кухни доходило немного света. И тут увидел: обе входные двери приотворены; оторопел от неожиданности. А... вот же что: забыл ночью запереть – от радости, что попал, что не сменили замки, что снова дома. Закрыл старинный замок с курком, крюк накиннул. Вот и ключи валяются на скамейке под зеркалом. Два старых, тяжелых с кольцами и бородками и один поновее с замысловатыми зубцами. Вторую связку, кажется, не вынимал. Ночью ехал из аэропорта, и Юрий Иосич напевал ему из шестьдесят пятого года: «А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня, от разных квартир ключи в кармане моем звенят». Ну, не в кармане, конечно, пока брэнчали сбоку в сумке. Одни – отсюда, другие от теткойной квартиры в Москве, на Чистых прудах. «Как там Татьяна Борисовна моя? Два года ни от кого никаких вестей о ней. Они решили, что мне незачем».

Зашел в кухню. Холодильник отключен, пустой, кому он нужен. Как и сам он здесь. Главное, есть ли в шкафу кофе – есть, банка

с зерном. Рядом и кофе молка. Если работает, утро состоится. В ванной редко и звонко по металлической сетке капало из крана – всегдашний звук опустевшей квартиры. Открыл окно, вдохнул утреннюю свежесть с подветренного заднего двора, куда выходила ванная и где, стиснутый гаражами, столько лет пробивался к жизни худощавый клен. Прошелестел тихий привет, махнул зелеными ладонями. «Спасибо тебе, дождался меня».

Еще обязательно тупичок в конце следующего коридорчика, его детский угол, и за ним вечная домашняя тайна с незапамятных времен. Тут тусклая лампочка зажглась.

Это как будто вторая прихожая, с давным-давно заложенным небольшим оконцем и наглухо закрытой двойной дверью на черную лестницу. Здесь раньше стоял его подростковый «Орленок», теперь еще стоит его верный горный друг, с тремя звездочками на каретке и шестью на колесе – восемнадцать скоростей! Где только он на нем не носился! Казалось, взлетишь, когда разгоняешься под уклон, – но медленнее, медленнее, и вот он снова пропускает вперед другой велосипед, и едет за развешивающейся голубой джинсовой курточкой. Но об этом потом, потом...

Тут ставили в угол в наказание. Он повернулся лицом к стене, уткнулся в нее, провел пальцем по обоям. Конечно, они не те, и не раз. Но запах тот же – похоже на камфару. От шкафчика с лекарствами. Так всегда пахло, когда болел. Что-то маленькое шевельнулось внутри. Заигрался, потерял во дворе новый волейбольный мяч, честно не помнил, где, с кем, стал что-то сочинять, пока вспоминал. Поставили за вранье. А он вовсе и не врал. Обидеться, заплакать; и, правда, слезы чуть-чуть выступили – не от обиды, а от возврата туда. Стал вытирать, задел ладонью щетину на щеке и усмехнулся. «Расчувствовался, старый мальчик».

И эта дверь. Такая же двустворчатая, высокая, как в их гостиную, с толстой бронзовой ручкой, темно-желтая краска на краях двери облупилась. Открывали ее при нем очень редко, еще реже ему разрешали заглянуть, что там, за ней. Однажды сильно ударился коленом, ездить уже не мог и раньше вернулся с улицы; покати велосипед в ту прихожую и застал маму у двери, упрямился еще раз зайти с ней туда.

В комнатах стоял полумрак из-за плотных штор, едва раздвиг-

нутых и прихваченных внизу витыми шнурами с кистями. Он жадно выхватывал глазами из полутьмы все, что было в комнатах. Комод со статуэтками из разноцветного мрамора, самая высокая среди них была бело-розовая нимфа, от изгибов ее тела и кругло выступающей груди он долго не мог оторвать взгляд. Рядом диван с высокой спинкой, обитый черной кожей, особенно блестящей с одного края – видимо, тут кто-то всегда сидел, догадывался он. Кто? Справа от входа маленький столик с овальным зеркалом, подсвечником, шкатулкой, все стояло на черной плетеной салфетке. За ним три книжных шкафа до потолка – пустых. Пахло не известной ему жизнью, старинным сухим деревом, слабо – чужими духами.

По громко в неживой тишине трещавшему паркету в следующую комнату, где посередине огромный стол, покрытый темно-вишневой скатертью с серебряными узорами, вокруг стулья с гнутыми спинками и ножками. Напротив двух окон, хотя и занавешенных, как везде, но дающих немного больше света, у стены стоял длинный поставец с витриной, в которой белели чашки, блюда, вазочки, разные тарелки – похожие он видел у себя в гостиной. По обеим сторонам поставца на стене – картины в тускло-золотых рамах. Над столом мутно сквозь пыль поблескивали подвески на люстре. Между окон башней высились замолкшие Бог знает с каких времен часы.

И поворачивали направо, через скрипучую дверь с тяжелыми коричневыми портьерами, в третью комнату с печью в синих изразцах, с секретером, двумя большими креслами и большой тумбой, на которой стояли бронзовые часы, тоже потерявшие время, а над ней на стене висел гобелен с едва различимыми замками, лесами, охотниками и собаками. Рядом с печью был широкий диван, возле него шкаф. Мама посидела на диване, задумавшись, потом выдвинула ящик в секретере, достала бумаги, перебирала их довольно долго, пока он обходил комнаты, взяла из них одну, и они пошли обратно.

Только однажды открывали дверь в другую прихожую за этой комнатой, откуда был ход на последнюю лестницу, – он так и не знал точно, куда она выходила; скорее всего, на другую улицу. Много раз бродил с той стороны дома, возле примыкавших к нему флигелей, пытаясь угадать, в каком из них была парадная

с ведущей к ним лестницей. Говорили, что в той прихожей в старину жила прислуга. В углу ее стояли черная чугунная ванна и такая же дровяная колонка на высоких ножках, отгороженные ширмой; сбоку от них, у окна, небольшая чугунная плита с четырьмя конфорками, столик, стул с продранной обивкой. В другом углу узкая дверь, наверное, в туалет. И прихожая, и ванная, и кухня вместе.

Когда вернулись, заперев замок на два оборота, мама велела ему хорошо вымыть руки и лицо и пошла к себе прятать ключ.

В детстве он придумывал, что там будто бы кто-то обитал, ну, хоть иногда. Ведь мог же тот человек приходить туда по той дальней лестнице. Тем более что тогда и позже, изредка стоя возле таинственной двери, казалось ему, слышал какие-то звуки. Конечно, мама заходила в те комнаты в то время, когда там никого не было и не могло быть. Но почему они сами не жили и в них? В ту пору никто не объяснял ему, почему и чьи они, просто говорили, что не наши комнаты, а он не понимал, как же так, если это продолжение их квартиры и ключ у них, и мама там бывает. И где теперь ключ? Мама незадолго до кончины сказала, что забрала Татьяна Борисовна и увезла в Москву.

Много лет живя в этой квартире, он временами свыкался с ощущением, что, здесь, во второй прихожей кончается его домашний мир; дверь словно сливалась со стеной, и он почти не вспоминал, что за ней. Очень редко комнаты открывались ему во сне; он просыпался со странным чувством, что спал там, а под утро вернулся в свой кабинет. Вскоре он забывал и о снах. Однажды он случайно с удивлением узнал, что те комнаты не значились в их ордере и почему-то вообще в ЖЭКе не числились.

Кофейные зерна, должно быть, давно лежавшие в банке, оказались все-таки не затхлыми (его дожидались? Марина заходила сюда и купила свежие?), а когда размолот их, привычно запахло бодрым утром, и скоро еще сильнее – из кофеварки началом хорошего дня. Хотя сколько раз это бывало обманом.

После кофе пошел в кабинет к столу и, не думая, зачем, открыл правую тумбу, хотя знал, что верхняя ее полка пуста, – незадолго до отъезда он сложил все в затрепанный спортивный чемоданчик и отдал Сергею, чтобы тот увез подальше и спрятал получше. Перед тем минуту колебался: не взять ли с собой? Но

решил: пусть прошлое остается в прошлом, сейчас его ждет иная жизнь. Если когда-нибудь вернется и если вспомнит о жизни той, всегда можно будет вернуть и ее остатки.

А на нижней ему ничего не нужно. Все-таки наклонился заглянуть и в дальнем углу вдруг заметил что-то белое. Встрепенулось неясное предчувствие невозможного. Протянул руку и из щели между полкой и стенкой тумбы вытянул сложенный вдвое лист. Неверными руками развертывал, едва различал строчки, увидел подпись, дыхание замерло, а в груди и в голове ударило так сильно, что в глазах все залило темной водой – «темные воды Леты», успел он подумать, и через несколько секунд сквозь них стали проступать буквы, складывались в слова...

«У нас дует восточный ветер, он несет мне твой голос, веселый и открытый, нежный и глубокий, твой аромат, душистый, пряный, влекущий – вот и весь ты уже здесь, со мной. Я теперь живу в двух частях света, в двух часовых поясах, буквально в двух измерениях. Ты звонил, а пушка била полдень, у меня голова закружилась от усилия осознать, что тебя нет рядом, что ты безумно далеко. Сейчас почти десять вечера, слушаю Орфей – Бах, виолончель, очень созвучно нам – медленно, и тем глубже, с телесной пронизывающей дрожью.

А знаешь, у тебя очень свободный, легкий, спокойно-счастливый голос по телефону. Рада, что тебе в Японии все-таки хорошо, пусть никакая тоска тебя там не найдет, и ты вернешься сильным, обновленным и бесконечно, упоительно страстным.

Нелепо прикасаясь губами, целую тебя во сне (сейчас, глубокой ночью), целую тебя сильно-сильно, когда ты читаешь это письмо (утром или днем).

Я повсюду и всегда с тобой. Л.»

* * *

В одно мгновение все ожило с невероятной силой и полнотой, захватило, понесло в прежнюю жизнь.

Вот за ней он сюда и вернулся. В покинутом вчера мире он о ней начал забывать, отдавшись потоку других чувств, стремлений, встреч и думал, что она в прошлом и никогда не явится.

Но последний год там все сильнее давала о себе знать острая

сердечная недостаточность – недостаток жизни сердца, опустошение той сердечной сумки, как называют ее анатомы, которая когда-то была переполнена чувством, и он всем существом ощущал ту полноту до краев, до выплесков через край. Чувство не исчезло, но приняло вид – чего? воспоминания, фантома? Не имеет значения, в каком виде оно живет. Даже не важно, что чувство было ею. Не прав ли любимый его француз с Boulevard Haussmann, куда забрел он ночью несколько лет назад и долго стоял у сто второго дома под отцветающим каштаном – «a l'ombre des jeunes filles en fleur», «под сенью девушек в цвету»? Там ведь как раз про это. В темном коридоре сейчас не найти с юности привычный старый перевод Федорова, да и не надо перевода, лучше, как писалось самим; под рукой же подлинник. Нащупал в сумке привезенный томик из «Bibliothèque de la Pleade», который как-то купил на книжном развале возле Сены. Во второй части «Девушек...», вот оно: «L'amour le plus exclusif pour une personne est toujours l'amour d'autre chose». Самая исключительная любовь к ней это всегда любовь сквозь нее (так было бы точнее) к чему-то другому. Верно ли? А дальше все объясняется: «J'avais autrefois entrevu aux Champs-?lys?es, – читал он вслух, с наслаждением воссоздавая музыку речи и уже улетая на Елисейские Поля, – et je m'?tais mieux rendu compte depuis, qu'en ?tant amoureux d'une femme nous projetons simplement en elle un ?tat de notre ?me; que par consequent l'important n'est pas la valeur de la femme, mais la profondeur de l'etat; et que les emotions qu'une jeune fille mediocre nous donne peuvent nous permettre de faire monter a notre conscience des parties plus intimes de nous-meme, plus personnelle, plus lointaines, plus essentielles, que ne ferait le plaisir que nous donne la conversation d'un homme superieur ou meme la contemplation admira-tive de ses oeuvres». Как все слилось у него в этой одной фразе, перетекающей из опыта и памяти в мысль, и как звучат эти струящиеся слова! Но верно ли то, что важнее всего не ценность женщины, а самые глубокие части нашего существа, пробуждаемые в нас влюбленностью в нее?

Сейчас он со всей былой страстью захотел ее слов, захотел увидеть места и вещи, среди которых они когда-то рождались и звучали, – и больше никто ему не нужен. В них теперь явилось то, чем жил и еще может жить, он должен найти все ее и свои слова.

Он поедет к Сергею и заберет их себе.

* * *

Он все еще сидел у стола перед листком письма и книжкой, не в состоянии встать, что-нибудь делать, когда из темных недр квартиры донеслось слабое дребезжанье. Сначала не понял, что такое; дребезжанье повторялось; потом вспомнил, что телефон. Совсем отвык от этого звука и удивился: кому сейчас сюда звонят? Пошел в прихожую и взял трубку, внутренне подобрался.

– Так ты не вернешься в Рим? – голос Бориса.

– Теперь не вернусь. Почему ты сюда звонишь?

– У тебя мобильный же выключен.

Да, в самом деле, после самолета он не включил.

– Не будем снова о том же, Борис. Ты же согласился, что все правильно.

– Для тебя, наверное, правильно. Но тогда тут придется наши сборища совсем прикрыть. Какие дискуссии без тебя? Кто будет разжигать? Они опять все зальют и загасят своей риторикой.

– Что они и делали постоянно. С ними мне больше не о чем дискутировать. Все эти *convegni di esperti* превратились в семинары по мультикультурализму и толерантности, мне надоела эта пресная профессорская кухня, а быть на ней *condimento mordace* я не хочу.

– А Кьеца? Он ведь так надеялся на материалы от тебя.

На минуту он снова оказался там, среди них, мысли по привычке быстро понеслись по прежней дороге, стал припоминать, что обещал Кьеце, и соображать, что бы из того вышло. Джульетто, конечно, действует в нужном направлении и эффективно, он и острый журналист, и толковый политик, в парламентской ассамблее Европы он делал правильное дело, а недавний его с Мейсаном фильм об одиннадцатом сентября кому-то приоткрыл глаза. Мало кто так независим и так смел сегодня, чтобы говорить правду прямо и громко. Но Кьеца никому там не нужен, его даже не надо глушить – его просто молча отторгают, потому что не хочет подчиняться нынешнему мироустройству, которое навязывают всем. Тоталитаризм без видимого насилия. Несравненно опаснее любого авторитарного режима – что монархического, что большевистского, он создает иллюзию свободы и разумности в комфортабельном геополитическом загоне. Не там и не так сейчас надо действовать. Пока их следует оставить один на один с тем,

что их ждет в ближайшие годы.

Промелькнуло как давно и окончательно им обдуманное, говорить не стал, только напомнил:

– У Къезы есть хорошие помощники.

– Ты напрасно решил все бросить и уехать. Ведь можно же изменить формат встреч, состав.

– Изменить так, чтобы был нужный нам результат, невозможно, нам не собрать тех, с кем стоило бы говорить. И оплачивать такое дело даже самые завзятые евроскептики не станут. Я же все объяснил тебе и Франческо. Не обсуждать же сейчас. Теперь я хочу вернуться к себе, а у вас моя деятельность больше не имеет смысла.

– Значит, и не звонить?

– Звони, Борис, звони, но не на эту тему.

Рим, Рим...

Давно ли он писал и даже напечатал, как будто принося обет:
Quando ritornero a Roma!

Когда я в Рим вернусь – а я вернусь,
Я слишком много там оставил.

И я спрошу у Piazza Cinquecento,
Где здесь любимый мой башмак?
Он ногу мне набил тогда – когда
Мы долго шли по Appia Antica
От старого Quo vadis по предместьям.

Я скинул здесь его и наконец в Marghera
Пришел полубосой, полу в ботинке.

И я спрошу – у маков Palatino:
Вы помните меня? Цвести вы обещали
Пока я не вернусь, и капли древней
Римской крови в ваших алых чашах
Не могут высохнуть – в них капля и моей.

Когда я в Рим вернусь – а я вернусь,

Когда уйти придется отовсюду...

Давно, бесконечно давно.

Несколько лет назад раздался оттуда совсем другой голос, обещавший совсем новую жизнь:

– Когда ты прилетаешь?

– Послезавтра. Рейс 3276. Встретить хочешь?

– Нет, на машине Паола уехала в Аквилу.

– Ладно, а на такси от Фьюмичино до тебя сколько?

– Пятьдесят – шестьдесят.

– У меня тридцать осталось. Значит на «Леонардо» и от Термини к тебе на автобусе, часа через полтора.

– Ну, жду. До встречи.

И началось. Хотя, собственно, продолжилось, только намного энергичней. Тогда мысли, и настроение, и друзья были совершенно иные. Верили: действуют ради свободы и правды. Жизнь кипела в водовороте событий, лиц, голосов.

Сейчас миновало и казалось нестоящим.

Вечером он поехал в Москву.

* * *

Проснулся перед Сходней, веселый, почти счастливый. Никогда не знаешь, каким проснешься наутро. (И с кем, цинично добавлял пьяный Олег). Еще и умыться успел до Химок. Встречные электрички подбирают с платформ дачников на Истринское и Клин; вспомнил свои юные московские стихи:

На пригородных поездах
Умчат поклонники природы,
Установившейся погоды
Печать в оставленных трудах,
Раскрытых окон перезвон,
Дверей открытых пересуды,
Осколки брошенной посуды,
Посулы лета за окном...

Впереди посулы радости, воскресших чувств – ничего больше и не нужно ему, ничего он больше и не хотел.

Вышел из метро на Чистых прудах, после подземной толпы и

электрических сквозняков с удовольствием подставил лицо свежему утреннему дуновению от уже политой зелени на бульваре. «Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильнее...» И привычно двинулся к Белгородскому проезду, мимо скамеек, сейчас пока пустых, по раннему часу; на них когда-то встречался с друзьями. Напротив Покровских ворот всегда первым выставлялся ему навстречу своими изукрашенными эркерами, карнизами, балкончиками зелено-белый дом, а рядом с ним скромно держался в тени теткин, особенно к вечеру – в тени от Рахмановского дома на площади. Во двор, на лестницу; ключи переложил в карман еще на бульваре, отпер замок, потянул тяжелую дверь...

В прихожей предстала Маша, совсем им не ожидаемая – как и он ею.

– Ты здесь? – она нечаянно улыбнулась, но спохватилась и спряталась за никаким лицом.

– Мне Сергей нужен, – поспешил он объяснить свое появление, и получилось грубо, он так не хотел; растерялся, не нашел для нее в ответ ничего лучшего. Отдал цветы.

Бросила их на подзеркальник и сразу ринулась наступать, будто вчерашнюю ссору продолжая.

– Тебе не Сергей нужен, а чемодан.

– Значит, уже добралась. Не важно, что мне нужно, особенно для тебя не важно.

– Важно. Опять будешь ее мучить?

– Тебя мучить. Хотя и тебя не буду. А ее это никак не касается, ей давно безразлично.

– Это мне безразлично, я замуж вышла.

– Назло – кому?

– Мужу. Пусть терпит теперь. Это уже тебя не касается. Оставь ее в покое.

– Да я же не трогаю ее, даже не писал, встречаться не собираюсь. Говорю тебе: для нее я ничего не значу, и все, что в чемодане, тоже. Ты ведь несколько лет ни ее, ни меня не видела, а никак забыть не можешь. Что тебя так разволновало?

– Она мне не чужая, – и чуть смягчая тон: – Тоже замуж вышла?

– Не знаю. И ты, оказывается, не знаешь про не чужую.

– Ты всех после замуж выдаешь? – слабо попыталась язвить, в ней никогда не было большой злости; теперь первый шквал уже

опадал, гроза уходила.

– Нет, трех никто не брал, пришлось в монастырь отправить.
Где все-таки Сергей?

Вдруг сделала два шага к нему и улыбнулась глазами:

– И над этим все смеешься? Совесть есть?

– Что это?

Улыбка от глаз опустилась на губы, но стала совсем грустной:

– Вот так мы с тобой и разговаривали всегда. Пойдем кофе пить. Ты ведь с поезда? Сергей вчера поехал в Лопасню с Татьяной Борисовной.

Сел в кухне; Маша ходила рядом между шкафом и плитой, овевающая то горьковато-травным запахом от подхваченных гребнем мокрых волос, то все тем же любимым их «White Linen» от рукавов халата. «Куда отправляется с утра пораньше?» Теплой волной чуть плеснуло в душе, но в теле не дрогнуло ничего.

– Зачем в Лопасню?

– Она ему свой дом дарит, там надо акт составить, еще что-то; и нотариуса взяли.

– И когда они вернутся?

– К вечеру, наверное.

– А ты куда собралась спозаранку?

– На репетицию. Хочешь послушать?

Совсем сейчас лишнее, из другой жизни стало вмешиваться в этот его день, такой хороший сначала.

– Что готовишь? – спросил, откладывая отказ.

– Сонаты Бетховена, ля-бемоль мажор и до-минорную, твои любимые. Помнишь, как ты *adagio* в тридцать первой «последним разговором» называл? А *arietta* в тридцать второй была «отъезд навсегда». Ведь так все и получилось, милый.

– Помню, Маша, но сегодня не пойду.

Не сдержалась, опечалилась – надеялась хотя бы блеснуть; играла великолепно. Что-то она делала с роялем невероятное: у него появлялся человеческий голос, которым можно было заслушаться до забвения всего. Особенно в бетховенских сонатах. Он у нее и пел, и рассказывал, и нашептывал, почти различались слова. Рояль был теплокровное умное существо, любящее ее и откликающееся на ее прикосновения. А когда она давала волю своему темпераменту, он мог и рокотать в бурном раскате, мог не-

стись вскачь – и уносил далеко. И его унес когда-то. Несколько лет не слышал. Бессознательно, может быть, хотела опять увлечь, или подразнить. Больше не поддамся.

– Ты здесь, а муж где? – чтобы окончательно отрезать ход к прошлому и не расстраивать ее перед репетицией.

– Муж в Германии, свою выставку открывает. А у Татьяны Борисовны, ты помнишь, рояль хороший, танеевский.

Пошла одеваться, через полчаса хлопнула входная дверь.

Вышел и он. Побродил по двору, где прошли пять школьных лет, с закадычными друзьями, с Наташей, – когда жил с отцом у тетки. Тут стоял турник, на котором мерялись в подтягивании и крутили «солнце», тут под липой была скамейка, до которой вечером никогда не доставал фонарь, лежала непроглядная тень, и можно было долго целоваться, пока на балкон не выходила Наташина мама и не звала домой. Весенним днем после школы и по воскресным утрам, и летом постоянно, едва он заканчивал уроки с теткой, захлопывал ноты и скатывался по лестнице во двор, его из открытых окон догоняли нескончаемые гаммы, Черни, Клементи, Скарлатти. Их там еще играют?

Теперь двор молчал. Хоть утро и воскресное, не слышно ни гамм, ни этюдов, ни пьес средней трудности. Не носятся мальчишки на великах, бешено звоня, не сидит Леонид Маркович за столом с огромной шахматной доской, на которой не знал поражений, никто не бегаёт в булочную на Покровку (ее и тогда не называли Чернышевской) за свежим ночного привоза хлебом. Окна наглухо закрыты стеклопакетами, дышат через кондиционеры – на бульваре и на Покровке действительно днем не продохнуть. Никто больше не выставит на подоконник проигрыватель – да и что бы из него такое пропело сегодня? А ведь было, было, что «из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи улыбались!» И когда выскакивал утром на площадь, захватывал его там «звон трамваев и людской водоворот», и где-то веселый барабанщик выбивал свою дробь кленовыми палочками.

Дальше по своему обычному малому московскому кругу. Через Макаренко, не спеша, дворами вдоль Жуковского к шестьсот десятой школе в Большом Харитоньевском, откуда с географом начались горы. Обошел – снаружи все та же, только у дверей

охранник и калитка на замке. Налево через бульвар в Архангельский переулоч (был он в ту пору Телеграфным, а когда-то еще и Котельниковым, по фамилии родственника его), потом по Кривоколенному, по Мясницкой вышел на Лубянку.

На углу Театральной и Неглинной остановился. Что-то Москва начинала давить сегодня. Да ведь он не к ней нынешней приехал. Потянуло из нее вдаль, как и раньше бывало. Свернул на Неглинную к знакомому дому за Кузнецким мостом, восемь дробь десять. Когда-то Ариадна, Деля, звала их здесь: «Я приглашаю вас в леса, мы так давно в них не бывали...» Очень давно. А она все обещала своим улетающим звонким голосом: «Я по тропе вас поведу, она усталость нашу снимет, и станем снова молодыми мы у нее на поводу...» И хотя совсем молодыми тогда были все они, и легко было им играть возрастом и усталостью, ее песня оказалась правдой наперед, сейчас бы на той тропе наверняка ушла усталость и пришла молодость. И в ушах уже отстукивала ему электричка дорогу в Звенигород, где «трава умыта ливнем и дышится легко, и нет уже в помине тяжелых облаков».

Больше никто не пел и никуда не звал в этом доме, да и нигде никто его не звал, не собирали рюкзаки, не ехали, весело переключаясь, на Белорусский вокзал. Оставалось два дома – на Знаменке и в Кропоткинском переулочке, где мог бы еще найти старых друзей, да прихватить Дмитрия – с ними он и мечтал двумя связками на Дыхтау в сентябре. Они не могли бросить горы, стало быть, формы не потеряли. Но давным-давно не созванивались, он был слишком далеко, а они – где они теперь? Не сегодня.

Грусть тяжелела, превращалась в тоску; повернул обратно и вышел на Театральную, куда, взывая на зеленый, вырывались машины из Охотного ряда.

Дошел до фонтана перед Большим, хотел сесть на скамейку. И вздрогнул и застыл: на скамейке сидела она – в желтой куртке, как тем холодноватым майским утром, когда они вдруг бросились зачем-то в Москву. Он стоял и смотрел на желтую куртку, на черноволосую головку, склоненную к книге...

Пронзило насквозь!

Сорвался с круга, с «Площади Революции» помчался в Измайлово. Искать ее следы в лесу, на Серебрянке. Сумасшедший.

Скитались по парку, лежали на бревенчатых лавочках, солнце

припекало. Она пряталась в зелени, и, воображал он, это нимфа Сиринга убегает от него, от Пана, в гущу аркадских лесов, и сестры-няйки из Лебедянского пруда сейчас превратят беглянку в тростник, из которого Пан сделает любимую свирель. Так он и нарисовал ее потом в их альбоме, так и написал на обороте листа. Она стала его свирелью, и он три года играл на ней чудеснейшую мелодию.

В Измайлово он следов ее не нашел, вновь поехал на Чистые пруды за теми листьями, на которых ту мелодию они вместе писали.

«ВЕДЬМА НА ИОРДАНЕ»

такого вы еще не читали

Израильский прозаик Яков Шехтер уверенно вошел в еврейскую литературу в конце XX века, заняв место рядом с Ш.-Й. Агноном и Исааком Башевисом Зингером.

На страницах книг Шехтера герои талмудических дискуссий встречаются с «инкарни-рованными» персонажами Набокова, Бунина, Умберто Эко и других.

Подчас это создает удивительные столкновения, параллели и конфликты, ранее не ведомые еврейской литературе.

В рассказах и повестях сборника «Ведьма на Иордане», выпущенного издательством «Книжники», обыденное и житейское нередко пронизано гротеском и соседствует с мистикой каббалы.

Поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу - увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб.

Книгу можно заказать на сайте издательства, в разделе «Проза еврейской жизни»

Глеб Шульпяков

РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Глава из романа «Красная планета»

I

...запечатаны в бутылку времени и выброшены в море вечности. Но моя-то ручка пишет чернилами!

И так далее, далее.

Возьми в толпу своих призраков.

Огонь с угасающим треском прячется в хворост, человек сбрасывает балахон и спускается с эшафота. Придерживая цепь, садится за столик. Пьет, потом с наслаждением закуривает. Проверяет телефон. «У вас нет и не будет новых сообщений».

Как бы мне хотелось быть таким же беспечным.

На ходу я разбрасываю свернутые в трубочку пасквили.

«Ненавижу этот город».

«Уничтожить его»

Когда я сажусь на большой палец, старик вскакивает с каталки. Он машет проводом от наушников (лучше бы гонял обруч).

Человек-пасквиль, человек-обруч.

Человек-который-ничего-не-весил.

Тут простейшая левитация, теряешь ровно столько, сколько способен вытеснить. Давай! Кривляйся, ведь и в одной монетке музыка.

Рим камней, мир воды. В реках мрамора Твои плавники.

Чем обогнать твои коленные чашечки?

Да, бывают дни, я еле волоку ноги. Просто увязаю в камне, настолько он мягок. Но, бывает, просыпается и моя бабочка. Розовая точка, моя планета.

Как они сегодня расшумелись.

Обсуждение не закончено, для повторной экспертизы нужно заново сжечь его.

Ходатайство отклоняется, кошка спрыгивает с колен. Под оглушительное молчание цикад он уходит.

В следующей жизни ты – кошачий царь.

Нет, категорически запрещается: ни кормить, ни брать на руки.

Наш равви скорее даст умереть сыну, чем позволит врачевать его именем Иешуа бин Пантеры. Этот безумец из Галилеи.

Сюда, пожалуйста.

В платяном шкафу синьору будет покойно, стены гетто вопиют беззвучно. Вода в холодильнике бесплатно.

Человек-булыжник. Небольшой и круглый как детский череп.

Собственно, черепами здесь все и выложено.

«Ваша пижама могла бы дирижировать оркестром».

Город пижам. Целые толпы – в музеях, на остановках.

Висят, раскачиваются.

Души умерших или нерожденных? Кстати.

Как разбудить вас.

Белый шлем, белый плащ, белый шум. Моя рабочая форма. При обнаружении стаи нажать кнопку «Вкл». Сирена, птицы взмывают. Стая колыхнется над городом как сетка, которую закинули в небо.

Где найти перо, чтобы описать ее живой рисунок?

Рыбка ловится, время течет. Бросай!

Жизнь это палиндром с пропущенной буквой, но в Риме всегда мир, всегда любовь.

Где найти... и так далее, далее.

II

Было утро воскресного дня и он лежал, разглядывая черные потолочные балки. Звон колоколов напоминал набат. Но куда бежать, что спасать? Никуда и ничего, спи.

Квартира Даниелы была на последнем этаже. Окна трех комнат, расположенных анфиладой, смотрели на кирпичную стену, а в ванной – во двор. В окружении велосипедов там стояла посеребренная от времени скульптура нимфы или богини. Стена и особенно карниз находились так близко, что Саша представлял, как перепрыгнет через переулок на крышу и заберется под купол, чей барабан виднелся, если высунуть голову. Он даже слышал хруст черепицы. Церковь Пилигримов, но ведь и мы чужаки в этом городе, не правда ли? В этой вытянутой и темной, похожей на вагон поезда квартире, они провели медовый месяц. Метались между

улицей, где задыхался римский август, и спальней, которую до озноба выхолаживал старый кондиционер. Раньше, когда Даниела только вернулась из Москвы в Рим, на лето она уезжала к отцу на море. Тогда-то в Рим приезжали они, а потом догоняли ее. Побережье на юге было плоским, а море мелким; хватало Сашу ненадолго, через несколько дней он возвращался в Рим под предлогом «работать». Хотя почему же «под предлогом»? Он закончил здесь книгу. Вот за этим белым столом, покрытым огромным куском стекла, под которым среди счетов и программок сохранились, наверное, и его бумажки.

Спускаясь, чтобы позавтракать, он искал на лестнице имя. Оно было выбито на мраморной наддверной балке – видно, этот Solompius хотел оставить по себе долгую память. Они с сыном придумывали ему историю. Например, Соломон – раввин синагоги, и однажды находит паспорт на имя Nicolas Gogol. Или... Он надавил на тяжелую дверь и вышел на улицу.

Переулочек упирался в мост, а другим концом выводил на площадь Цветов. Полицейский участок, ощерившийся скутерами; пустующая лавка ювелира; продавец сицилийских сладостей. За годы его отсутствия ничего не изменилось. Когда в табачной лавке ему подали кофе и воду, он машинально сказал *danke*. Но вчерашнее путешествие из Германии отодвинулось в памяти – как длинный фильм, который с трудом заставляешь себя пересматривать. Оставалось только поскорее закончить историю с картинками. Попробую связаться с Фришем по скайпу, решил он.

III

На ступеньках церкви всегда кто-то сидел, пили из пакетов или хрустели городской картой. А кафе выставляло столики немного ниже. Первым на дверной колокольчик откликнулся старик в фартуке. Он стоял за кофемашиной, и узнал меня, или сделал вид. А девушка кивнула, не поднимая взгляда от кассы. И всегда вид у нее был такой – недовольный, а плечи сутулились. Лишний раз не улыбнется. Прего. За соседним столиком сидели две старухи в огромных, на пол-лица, солнечных очках. Дальше студентка с мотоциклетным шлемом на локте; а священник с карандашным пробором смотрел в телефон. Девушка составила чашки на стол и отвернулась. Чек она прижала пепельницей. Сквозь стекло бе-

лело пятно фартука, старик наблюдал за ней. Наверное, вдовец – других женщин я за стойкой не видел. А девушка мечтает снять проклятый фартук и уехать. Но кто будет стоять на кассе? Чужого человека он не хочет. Хорошо, если бы тесть занял его место. Но о замужестве она и слышать не хочет. Тогда займись домом, советует он. Сделай ремонт в своей комнате. Ну, она и занялась, проделала в комнате еще одно окно. Третье, на восток. Что еще за святая троица? Отец снимает фартук. Какой бог? Он не расслышал и переспрашивает. Нет, не зря говорят, что сирийской Оронт впадает в Тибр. Вся грязь в городе оттуда. И кто? Собственная дочка. Отец в бешенстве, он тащит ее к префекту. Тот устраивает расследование. Из тех ли ты, спрашивает он, кто собирается перед восходом солнца и воспеваает Христа, как если бы он был Богом? Христос и есть Бог, отвечает девица. Они переглядываются. Подумай хорошенько, говорит тот, иначе нам придется собрать общину. Делайте что должно, говорит она. Принеси жертву богам, умоляет отец. Отрекись. Этот человек обычный галилеянин, лишенный из-за безумия страха смерти, и мы забудем, что случилось (это говорит префект). Вспомни о матери, что бы она сказала. Но та непреклонна. Ее хлещут воловьими жилами, а раны растирают власяницей, но на следующий день следов на теле нет. Тогда одна впечатлительная девица по имени Иулиания тоже объявляет себя христианкой. Ее раздевают, подвешивают, глумятся. Но, хвала Господу, воля девиц не сломлена. И префект приказывает казнить новообращенных; отец сам отрубает дочери голову. Правда, торжествуют они недолго, той же ночью в городе гроза и оба злодея погибают. Их убивает молнией. Поэтому артиллеристы считают Святую Варвару своей покровительницей. Известно ли вам, что ее мощи хранятся во Владимирском соборе? Их привезла византийская жена князя Владимира. Обратите внимание, пожалуйста, на фасад, как изящно архитектор вписал церковь в городскую застройку. Вы, наверное, уже прочитали табличку. Dei Librari. Фасад церкви немного напоминает корешок книги, не правда ли? Нам повезло, она открыта. Здесь мы видим поистине уникальную коллекцию интерьеров, имитирующих разные сорта мрамора: каррарский, сицилийский, боттичино фьорито и другие. Прошу вас, отключите мобильные телефоны. Церковь Святой Варвары была построена...

IV

Нет! Ничего не меняется в этом городе. Паром «Коринтия» вышел в море, утонул и отбуксирован на рейд. Окна прорублены, заложены и снова прорублены.

Не отменять же завтрак?

Святая Варвара выносит кофе.

Рим способен уместиться в мотоциклетном шлеме, вот и моя мысль скользит по кругу.

Истории, которые ты придумываешь, рассказаны, забыты и снова рассказаны.

Соломон возвращается домой в один и тот же час.
Зачем ему время?

Рим и есть Время, и есть Мир.

Есть любовь.

“Roma – Amor”.

Так будь беспечным. Как эти воробьи.
По пустым тарелкам прыг-скок. Время по колено,
его здесь море.

*Молодой варвар из страны третьего мира,
в белых штанах с рюкзаком из фальшивой кожи,
я спускаюсь та-та-та в корыто Рима,
и утверждаю та-та-та, что мы похожи...*

Вот так войдешь под арку, чтобы перевести дух, поднимешь голову – ах! – эти волны, эти прохладные впадины и складки.

Руку мастера видно по теням, которыми они наполнены.

«Чем помочь синьору?»

Я потерял время, да и жарко.

«Нет ничего проще, – отвечает полицейский. – На барахолке в Сан-Лоренцо отыщется даже то, чего не было».

Барахолка моей памяти.

«Недавно я приобрел там тросик для фотокамеры».

V

Саша вернулся с рынка и составил на стол пакеты, и тут же услышал скайп. Звонила жена и он принялся ходить по квартире, показывая, как устроился. У Даниэлы ничего не переменялось, сказал он, поворачивая камеру на стену, где висели рисунки их сына. Вот, смотри. Не забудь потом все убрать и вынести мусор, сказала жена. И найди, пожалуйста, мои очки, они остались в комодке. Где? Где зонтики. Какие рисунки, пап? На экране появился мальчишка. Саша снова развернул компьютер, но тот уже исчез. Проплыл потолок и окно с голубым небом в пушечных дымках. Когда ты обратно, спросила жена. Потом пропало изображение. Они перекинулись парой слов в темноте, а когда попрощались и он отключился, компьютер запиликал снова. Это был Фриш. Он не хотел говорить с ним; в городе, где он очутился, не было места его аферам. Хотя? Он безразлично посмотрел на тубус с картинами и нажал на кнопку. Появился кусок крашеной стены с каким-то прибором и трубками. Больница, наверное. Но это был задний двор дома. Изображение задергалось, череп его приятеля был плохо выбрит, а на щеке белела нашлепка из пластыря. Голова напоминала маску. Приветствую тебя, мой драгоценный друг, сказала маска, едва разжимая рот. Прости (он показал глазами на повязку). Не могу широко открыть. – Как ты, как твоя... – очнулся Саша. – Что это вообще было? – Непредвиденные обстоятельства, – ответил он. – Теперь все в прошлом. Как настроение у пана писателя? Ах, Рим, Рим (он зачистил, словно не хотел вопросов). Колизей, Форум. Феллини, Муссолини. Сладкая жизнь. Азы и зады цивилизации. А герр дихтер неплохо, я вижу, устроился (тут маска

состроила укоризненное выражение). Бедняга Фриш в Риме никогда не был. Может, махнуть? Примешь? Найдется, где преклонить больную голову? Шучу, моим ранам прописан германский воздух. Аллес гут, Гитлер капут. – Скажи мне лучше (Саша перебил его) – что мне делать... Он кивнул на тубус. – В Базеле никто не пришел за ними. Наверное, надо передать твои картины. Времени у меня немного. – Да выброси ты их, – сказал Фриш. – К свиньям собачьим. – Что? Саша не понимал, всерьез он или нет. – Прости. Снова шутка. Снова неудачная. Я доставил тебе неудобство этими картинами, несколько неприятных минут. Да? Все-таки три страны, две границы. Но жизнь коротка, а искусство вечно. Сегодня ты будешь свободен. – Повисла пауза и если бы маска не моргала, Саша решил, что трансляция остановилась. Ему вдруг пришла дикая мысль, что это очная ставка и Фриш говорит под запись. Что с той стороны сидят полицейские или, хуже того, бандиты, которые напали на него вчера на немецкой заправке; Робин Гуды из Чернигова. И он решил ни о чем не спрашивать первым. Да, – ответил он. – Благодарность моя безмерна, напомнил Фриш. – Пауза. – Он покажет город. Он... – Фриш замолчал и посмотрел вниз, как будто читал по шпаргалке. – Кто? – спросил Саша. – Что это я! – Спихватился Фриш. – Какая бестактность. Сморозил, сглупил. Синьор скритторе и сам может показать Рим кому угодно. Но все ж не пренебрегай, амиго. Да ты его, собственно, знаешь.... – Это он добавил как бы в задумчивости. – Кто он? – Повторил Саша. – Где тебе удобно, где ты остановился? – Не слушал Фриш. – Дай адрес, я записываю. – Саша отрицательно качнул головой: – Пришли номер, я договорюсь сам, сказал он. – Умно, согласился Фриш. – Сам не люблю испорченных телефонов. Так во сколько? – Саша посмотрел на продукты, которые не убрал в холодильник. – Пришли номер, – повторил он. – Хорошо, сказала маска. – Но только не затягивай. Как говорится, с плеч долой, из головы вон.

VI

Это была пачка выцветших полароидов в оранжевой коробке Netmes. Компания молодых людей, юношей и девиц с беспечными шевелюрами, позировала у окна в этой самой квартире. Судя по одежде, конец восьмидесятых. Кроме Даниелы тут был ее брат,

тощий губастый подросток, похожий на Мика Джаггера, остальные незнакомы. Кто-то курил, кто-то сжимал бутылку. Даниела в короткой юбке, какая стройная фигура. А рядом моя будущая жена. Она потом часто рассказывала, как провела лето в Риме среди университетских приятелей Даниэлы. Да вот этих, по всей видимости. Границы только открылись и она отправилась с свое первое путешествие. Даниела и раньше помогала ей, особенно, когда перебралась на родину. Она выросла в СССР и хорошо знала, что это такое, когда нечего надеть, нечем накраситься. Она делала это, словно возвращала долг. Но потом все переменялось. Отец разорился, жить в Риме стало бессмысленно дорого и они разъехались: отец в мачехой на юг, а Даниела в Лондон, где нашла работу. Квартиру они сдавали. Это было в середине 90-х, когда в Москве, наоборот, жизнь пошла в гору, и теперь уже моя будущая жена приглашала подругу – на Новый год и летом. Та постепенно стала частью их семьи, тем более, что своей так и не обзавелась. А эти снимки были свидетельствами жизни, когда обе девушки были одинаково беззаботны (и невинны, добавлю я, ведь память отпускает грехи, есть у нее такое свойство). Она счастлива, а меня нет в ее жизни. Что я делал в это время? Когда она любила Рим, когда ее обнимали молодые люди? Как бывает только в юности? Писал, был ответ; его не печатали; он писал больше, его стали печатать; как будто отдавал, что должен. Но кому и зачем? Вместо того, чтобы обниматься с пьяными вином и беспечностью людьми? Та жизнь, которую они прожили вместе, была наполнена взрослым счастьем, но досада, что пока он писал, он упустил что-то важное, осталась. Когда он увидел фотографии, он ощутил ее.

VII

– Пронто, – сказал трубка. – Я могу говорить по-русски? – Спросил Саша. – Да. – Я привез... Фриш... – Я знаю. Сегодня вам удобно? Мой адрес... – Нет-нет, – перебил Саша. – Я никуда не поеду, мало времени. Давайте здесь (он назвал мост). Вечером. Договорились? В руках у меня будет... – Я знаю, – повторил голос. Он повесил трубку, постоял в растерянности на кухне. Потом оделся и медленно, словно пересчитывая ступени, спустился на улицу. Солнце перевалило за полдень, мрамор от жары лоснился. Значит, сегодня? В небе как сетка колыхалась

стая птиц. Сегодня. Потом она рухнула в ближайший тополь и набережная наполнилась оглушительным треском. Оцепенение сиесты. Кафе и лавки закрываются, людей почти нет. Туристы и те куда-то попрятались, только на воде неподвижно колыхаются тени. Саша потушил сигарету и спустился с моста. Он все-таки решил сделать крюк и свернул на Джулию. Солнце почти не проникало на эту прямую и узкую, как тоннель, улицу. Отсюда он выйдет к фонтану, а там на площадь. Первый день в Риме они с женой всегда начинали с обхода любимых мест. Он миновал арку и перешел на другую сторону. Японская группа фотографировалась, он ждал. Потом снял очки и положил их на бортик. Подставить голову и шею под ледяную воду. Пить. Снова голову. Теперь можно вытереть лицо. Рукавом, и нацепить очки. Уф. Хорошо. Мир складывался заново. Прорезалось окно, всплыла брусчатка, воздвиглись колонны. В тени карниза Микеланджело... где воздух похоронен заживо... Он даже думал стихами, упирая ступни в блестящие и черные, словно семечки, камни. Кстати, Лена. Нет? Какое нелепое совпадение, что она тоже в Риме. Он подошел поближе и посмотрел сквозь темное стекло. Пусто, пирамиды стульев. Значит, съехали. Катя, хозяйка этого кафе, немного говорила по-русски и всегда расспрашивала о Москве. Она была там в 70-х. Большой театр, мавзолей. Она вспоминала Москву с восторгом, и Саша было неловко, что он разлюбил родной город. Ее Франко работал художником в римской опере. Но всё не может быть вечным даже в вечном городе. Да. И он сел в кафе напротив. Пока он ждал, на улицу вкатился трехколесный грузовой мотоциклет. Старик открыл дверь в стене и они с женой принялись заталкивать машину в чулан. Но покрышки скользили по булыжнику, машина скатывалась в переулок. Старик сдавался, садился. Вытирал пот и безразлично глядя перед собой ждал, пока его старуха кричала по телефону, вызывая какого-то Массимо. Когда в переулке собралась пробка, официант снял фартук. Втроем они, наконец, затолкали машину в стойло. Старуха еще доругивалась, а старик уже заказывал. Он кивнул Саше. Тот кивнул в ответ: привет, Соломон.

VIII

Он хотел закрыть компьютер, но передумал и набрал: «Огонь

любви». Он услышал эту историю в Костроме. Рим? Амог. Хотя огонь... Саша вытер мокрый лоб и закрыл крышку. И не посмотришь, что провез через две границы? Он взглянул на тубус. А что бы ты хотел увидеть – «Поклонение волхвов», что ли? Саша лег поверх покрывала и уставился на освещенную отраженным светом стену. «Сумрачный лес пройдя до половины...» Кстати, есть точная дата. «Поклонение» я увидел в тот день. Художник получил выгодный заказ и уехал, работа осталась незаконченной. Это был подмалевок. «Гений», не испачканный красками. Он стоял перед картиной, словно облитый музыкой этого гения. Чем я могу помочь синьору, спросила смотрительница. Ничем, все уже случилось (Саша перевернулся на другой бок). «Пройдя до половины...» Открываем? Это спросил Сухой. А если в тубусе героин, например – насмешливо ответил Саша? Нет, невозможно, Фриш на такое неспособен. Сухой молчал. Он быстро встал, подошел к столу и отвинтил крышку. Из тубуса с тихим свистом выпал тяжелый сверток. Папиросная бумага, еще бумага. Один край он прижал компьютером. Темный фон, спина в халате. Зеленое сукно. Портрет? Возится с чем-то, а голову повернул, как будто его окликнули (Саша приблизил лицо). Нет, не может быть, чтобы пахло краской. Начало XIX века. А колорит рембрандтовский. Еще один Соломон? Жаль, не разобрать подпись. А второй холст был разрисован акриловыми красками, это была современная живопись.

...Когда он проснулся, стена за окном погасла. Он услышал музыку, подошел к окну, закурил и выглянул. Арфистка сидела у стены, некрасиво расставив ноги. Ее инструмент напоминал оконную раму. Девушка играла битловский шлягер и несколько человек стояли вокруг, а кто-то даже подпевал. Саша перевел взгляд на мост. По вечерам его оккупировали собачники и торговцы бижутерией, а марроканец толкал наркотики. Он и сейчас там. Что если никуда не ходить, а взять бинокль? Как в шпионских фильмах. Хотя тубус... Саша обернулся – тот лежал на столе. Разве я закрыл его? «Покажет город...» Просто отдать, а дальше у меня свои планы (он снова посмотрел на тубус). Он точно помнил, что оставил картины открытыми. – Так проверь, возразил Сухой. Саша снял очки и сжал переносицу пальцами. До встречи оставалось

пятнадцать минут.

Дверь стукнула и арфистка сбилась, но быстро подхватила. Он кинул ей монету, зашел в кафе, купил рожок мороженого, но в духоте не почувствовал вкуса. Выбросил, поискал салфетку. Пересек улицу и встал у парапета. Этот? Или? Он неспешно поднялся на мост и прошел до конца, где распаковывали футляры музыканты. Вернулся. Здесь? Дальше? Действительно, как в кино. Рядом с торговцем? Хорошее место. Если что, брошу в воду. Но что «если что»? Он поставил тубус в ноги. Чем небрежнее, тем лучше. Не привлекай внимания. Он отвернулся и посмотрел вниз на маслянисто блестящий Тибр. Птицы трещали так громко, что не было слышно собственного голоса. Он вздрогнул – это взвыла сирена. Стая взмыла в воздух. С наступлением темноты Рим превращался в фейерверк огней и звуков. Английская, итальянская, немецкая, русская, китайская... Он мог слушать этот шум бесконечно. Но не сегодня. В этот вечер Рим не складывался в картину. Ее центр отсутствовал и этим центром был он. Мысль эта на несколько секунд отвлекла его, а когда он опустил глаза, увидел, что тубус исчез. Вадим Вадимыч? Он поднял глаза и встретился взглядом со своим визави из Кёльна. Руки за спину, брови подрагивают. – Нельзя быть таким беспечным, – проговорил он. – Я за вами давно наблюдаю. – Он вытащил из-за спины тубус. – Как вы похожи, растерянно ответил Саша. Он вспомнил о его сестре, хозяйке Мозеля. Он не видел этого типа с тех пор, как они встретились в Кёльне. Брови, рот, скулы – одно лицо. – Нам не следует стоять здесь, – кивнул тот его мыслям и взял Сашу под локоть. Они спустились. В такси пахло кожей и освежителем, и Саша ничего не успел возразить, как Вадимыч назвал адрес. – Это недалеко, – заметил он.

IX

Иной раз нет сомнений, что за колоннадой проспект и лестница, но вместо него протискивается греческий портик или министерство с тяжелыми флагами. Досадно. Вот вроде и поворот, и толстый тополь в желтых пятнах – и та же мраморная ваза – но лапы на которых она стоит? Да и юноша с раковинной некстати оброс чешуей. Только наметишь какой-нибудь шпиль, уж теперь-то не разминешься, а он сложился как антенна или превратился в

флагшток. Бывает, смотришь в трубу калейдоскопа, и там из мельтешения, ей-богу, что-то складывается. А бывает пестрый туман. Нет его, одного города. Как на старом кладбище, кости тут перемешаны. Гроб, под ним второй, третий. Греческая лопатка, папский позвоночник. Но нет анатомического атласа. Не возить же с собой весь оссуарий? Подобный тому, что соорудил Леон? Как он, кстати, мой добрый старина Леон? А? Спрашивал Вадим Вадимыч. – Хорошо, неплохо, пожимал я плечами. А ведь прав он (это я говорил себе). Не прошло и минуты, и растворился мой Рим. Перемешали его как костяшки. Да вот этой рукой, которая сжимает тубус. Только, вроде, качнулись в рыжем небе пинии старого Цирка, а уж пожалуйста в Термы. Статуи с воловьими ногами, мусорные в завитках баки. Пестрые тумбы. Все вдруг незначительно, необязательно, случайно. Кто вставил в программу индийские забегаловки? А восточную музыку? Разве твои это стены обклеены листовками, твои герои? В старообрядческих, лопатой, бородах? С фосфорицирующими глазами? Или, наоборот, безбородые и лобастые, под пролетарскими кепками? В беретках, фесках и арафатках? Твои, твои, – поддакивает Вадимыч. На губе у него капли пота. Он стучит по тубусу в такт уличной музыке.

Х

– При Муссолини тут была военная часть, – сказал он, отшвырнув кепку. – А в этом здании госпиталь. Отделение военной психиатрии. Вот эта стена с кафелем, она осталась от госпиталя. Но дух живет где хочет, правда? Садитесь, – он распорядился. – Сейчас кофе. Или вино? Вы же пьете? Тогда нужен штопор. – Тубус откатился к стопке деревянных реек. Он открыл ящик и тут же закрыл его. Несколько свисающих ламп освещали столешницу и железные кольца в стене. В простенке висел портрет или фотография. ВВ сдвинул рулоны. В банке, которую он убрал под стол, качнулась и чуть не перелилась густая жидкость. Я помог перетащить резак. – Сейчас, – приговаривал он. – Расчистим. Хотите лед? – Что? – А его и нет, – он гремел пустотой в холодильнике. Свет из холодильника падал снизу. Лицо напоминало африканскую маску. – У меня в детстве была такая марка, – заметил я. – Лицо кочегара как у вас. Освещено. А вождь смотрит в окно паровоза. – Он вынул персики: – Куда смотрит? – Уж точно не в вашу

сторону. – Уверены? – Он вывалил персики, они покатались. Он растопырил руки, чтобы поймать их. – Думаете, я мечтал вот об этом? – Он обвел комнату невидимой палочкой и ткнул, как дирижер, в тубус. – Лопухов (добавил). – Кто? – Картина. У меня с этой маркой связана одна абберация. Детская. Я видел не лицо в кепке, а страшную морду. Усатый кузнец Вакула. – Не припоминаю. – Я покажу. – Может, лучше эти? – Я кивнул на тубус. – А что бы вы хотели увидеть? – «Поклонение волхвов» (он начинал меня злить). Кстати, я познакомился с вашей сестрой. – Надеюсь, она не слишком вас фрустрировала. – Она хорошая. – М, м! – Вадимыч слизывал сок. – Выдающийся характер. Сам пропадай, а товарища выручай. – Где она сейчас? – спросил я. – Почему-то не приехала в консульство на мой вечер. – Улетела! Горы! Покорение! – Он выкрикивал. – Поклонение, – поправил я. – Поклонение! – охотно прокричал он. – Что вы орете? – А вы не слышите? – Что? – А! – Он снова вскрикнул. – «А, а, а...» – ответило эхо. – Попробуйте. – Я хлопнул в ладони. – Громче! Топните! Ну? Калигула пользовался таким же изобретением. Свод незаметный, но устроен так, что слышно все, о чем говорят на другом конце. Некоторые прямо с пиршества отправлялись к диким животным. Из-за стола на стол, можно сказать. Вы не были? – Где? – А Музей пыток. Там подлинная история человечества. Это не деревяшки Леонардо. Пытка! Простор для творческой фантазии просто неограниченный. – Он вытащил лист. – Я даже зарисовал одну штукину. Вот, смотрите. Здесь зажимают, а сюда клинья. Вы не поверите, что происходит. Ноги сначала распухают, потом идет кровь из пальцев. Дальше, если устройство с шипами, сходят ногти. Именно в такой последовательности. Потом жир, тут человек обычно теряет сознание. Ну, ему дают понюхать какой-то соли. Иначе какой смысл? А суставы и кости дробятся только под занавес... – Слушайте, зачем такие подробности? – не выдержал я. – Мы же за столом. – А город, – он пожал плечами. – Такой. – Какой? – И ублажать, и истязать. Плотский. Тут они достигли высот потрясающих. – Разве это не две стороны одной монетки? – Медицина не успевала за палачами, – он согласился. – Сепсис или болевой шок? Остановка сердца? Когда сдирают кожу, например? А когда сжигают? Лопаются или вытекают? Вы кошек в детстве мучили? – Он покотил в мою сторону персик. – Но зачем?

– Я поднес его к губам. – Что это дает? – Мякоть была приторной, сок стекал по пальцам. – Дух. – Он пошевелил бровями. – Истязая плоть, получали дух. Можно сказать, соорудили машину по его извлечению. Это и погубило старый Рим, между прочим. Новообращенных-то было тысячи. Я не говорю про избранных, распинать вверх ногами было меньшим из изысков. Чем дальше, тем больше зрителю требовалось что-то особенное. Но если Бог есть дух, то Рим... – Позвольте тогда и мне, – я перебил его. – Вариант класса «эконом». Метод, распространенный в наших палестинах. Если сделать наконечник округлым и смазать жиром, он раздвинет... – Что? – Кишки, селезенку. Что. Пройдет насквозь и выйдет примерно между ключицей и лопаткой. При этом человек жив, сердце его бьется. И нанизан – как бабочка. Казнь тяжестью собственного веса, и при том медленная. Есть время подумать о душе. – Про крест и не говорю, – подхватил он. – Хотя после Христа распинать стало как-то не комильфо. – Он прошелся взглядом по углам, как будто хотел перекреститься. – Посмотрим? – напомнил я. – Все-таки две границы, три государства. То, что случилось с Фришем, я не говорю. – Сейчас, только огонь, – согласился он. – Огонь? – Это художественные мастерские, по технике безопасности тут запрещен газ. – Что за дикая мысль, огонь в жару. – Тут подвалы времен Тертуллиана, – он постучал ногой. – Кирпич мокрый, а мне надо сушить картины. Город на болотах. – Как Петербург. – Пётр и Пётр. Спичек не найдется? Я протянул зажигалку. Он снял со стены металлический щит, под которым открылась топка. Бросил несколько поленьев на решетку, смял и сунул газету. Щелкнул. Огонь разгорелся, полетели искры. – Крест хорошо и кол хорошо... – он смотрел на пламя. – Но все-таки огонь. Очищение. Вы сказали про марки... – он взял другую тему. – Я собирал в детстве... Он потер руки: – Были такие киоски... – Они и сейчас есть. – Там работала женщина. В красном пуховом платке и перчатках. Знаете, без пальцев. – Митенки. – Вот вы что собирали? – кивнул он. – Космос и спорт. – Фи, спорт. – А вы искусство, конечно? – Рембрандт на деньги от школьных обедов, – рассказывая, он как бы между делом открыл тубус. – Ждешь на морозе, пока тетка распаковывает коробки... – Папиросная бумага упала на пол и он бросил ее в огонь. – ...а потом оказывается, что искусство не завезли. – На холсте мелькнуло что-то светлое. – А где старик? –

Вырвалось у меня. – Вы открывали? – Нет, но Фриш... (тут я смутился). – Если я ничего не путаю, тут должны быть... – Он развернул холст и прижал его стаканом, а другой конец бутылкой. Я поднялся. На картине были изображены мальчик и девочка. Они стояли по колена в море. Мальчик тянул игрушечный парусник, а девочка смотрела на зрителя, то есть на того, кто окликнул ее с берега. Собственно, мы и были этими зрителями. Одной рукой она держала зонтик от солнца, а другой юбку. Под оборками розовели голые коленки. В рифму к игрушечному паруснику художник изобразил на горизонте настоящий корабль. Сквозь краску проступал карандашный контур. А вторая работа совпадала с той, которую я видел. – С шелкографией просто, такие печатались пачками. Это Херман Броод... – он повернул ко мне картину. – Секс, наркотики и рок-н-ролл. Популярная фигура в Нидерландах. – Не слышал. – Так он уж помер! – Отмахнулся Вадимыч. – У Фриша много любителей, в основном по части каннабиса. Броод у них гуру. А здесь вечные ценности. – Он провел тыльной стороной ладони по фигуркам. – Глава Гаагской школы вырос в лавке римского менялы. Какой-то заезжий заметил, что парнишка неплохо рисует и папаша тут же отправил мальчика учиться. Жизнь в один момент двинулась по другому руслу, я хочу сказать. Никаким художником становиться он не собирался, это уж точно. Говорят, кто-то из русских, пенсионер Академии. Так что в каком-то смысле вашего Соломониуса вы встретили. Что вы так смотрите? – Я все никак не мог взять в толк, куда подевался старик и как он узнал про Соломониуса. – Да какая разница. – Вадимыч поднял стакан с вином и картина с беспомощным шелестом свернулась. – Они мне так надоели. – Он посмотрел с грустью: – Да? Он встал, сгреб картины и подошел к топке. – Вы что? Псих! – Я попытался выхватить картины из огня, но холсты быстро темнели и корчились. А Вадимыч с улыбкой наблюдал за мной. – Перестаньте, это не то что вы думаете, – наконец сказал он. – А что это? – Я смотрел на огонь, как будто во мне что-то превращалось в пепел. – Это подделка, она ничего не стоит. – Подделка? – Выдавил я. – А Фриш? А бандиты на заправке? – Милый мой, есть тысячи причин, по которым на Фриша могли напасть разбойники. С нами это никак не связано. Просто вам казалось, что вы часть большой интриги, а тут... А Фриш просто набивал себе цену. – Ну, знаете... – я сел. Вадимыч

весело поболтал вино в бутылке: – Небось, от каждого мундира сердце ёкало... – Он подвинул стакан. – Эй! Куда вы! – Я встал: – Вызовите мне такси. – И ничего не хотите знать? – Нет. – Ни секунды? – Нет! – Ну простите меня! – Он прижал руки. – Умоляю. Может быть мы больше никогда не увидимся. – Я вернулся словно под гипнозом. – У меня часто бывают такие мысли, – сказал он. – Например, едешь в метро (тут есть метро) и вдруг – батюшки! Да ведь этих людей ты видишь последний раз! Такая простая мысль и такая удивительная. Иной раз даже хочется перецеловать всех. Ведь в последний раз! – Я бессильно сцепил пальцы: – Вы плохой артист. – Вы бы себя видели, – он протянул мне пепельницу. – Какая гамма! Гаврила Ардальоныч перед камином Настасьи Филипповны. – Идите вы! – У меня не было сил даже злиться, словно сгорели не картины, а моя воля. Я почувствовал себя персонажем. Этот Вадимыч снова облапошил меня. – Еще раз простите, – сказал он. – Так редко выпадает поговорить по-русски. Живу молчком, волчком. Сестра звонит редко, ее Марк считает меня на хлебником. – А Фриш? – С ним хорошо иметь дело, но кругозор... – Он покачал головой. – Робин Гуд из Чернигова. Пойдемте. – Он вышел в соседнюю комнату и загремел замком. Я потушил сигарету.

XI

То, что я увидел, неприятно поразило. Без рам, кое-как припиленные, старинные холсты висели словно марки, сваленные в кляссер без всякого разбора. Портреты, пейзажи, эскизы. Несколько абстракций наподобие той, что сгорела. Но большая часть старые мастера. – Судя по вашей реакции, Фриш ничего не сказал. – Что? – А вы хотите знать? – Я помедлил, потом кивнул. – Дело тут, в общем, несложное, – Вадимыч поддел ногой рулон. – Да вы и сами, наверное, знаете. После войны в Германии осели тысячи работ голландской школы. Их конфисковали или выкупали за копейки во время оккупации. Без документов, разумеется, время было военное. Такие картины в XVIII веке штамповала целая армия. Не Вермеер, конечно, но уровень музейный. Официально такую работу не продашь, а атрибутировать слишком дорого. Но ведь истинному ценителю нужна не атрибуция, а искусство. Он платит, чтобы оно оказалось у него в доме, бумаги

его не интересуют. Для этого и существует Фриш. Его общественная организация устраивает в соседней стране благотворительную выставку. Там оригиналы подменяются копиями и расходятся по заказчикам. А копии едут обратно. Что понимает в живописи таможенник, если он не Руссо? Даже вы ничего не заметили. А по бумагам все чисто. – То есть эти картины... – я, наконец, догадался. – Это копии, они остались после сделок. И то, что сгорело, тоже копии. Никому ненужные плоды моих трудов, Фриш за ненужностью просто возвращает их автору, – Вадимыч пригладил волосы. – Художнику-копиисту, то есть.

XII

Прошлое живет где хочет, например, в кончиках пальцев, которые держат кисточку. Пальцы мерзнут, окна-то в школе большие, да плохо заклеены. А на улице зима. Серый холодный свет, тень от снега скользит по бумаге. Дети после школы играют в снежки, а ты сидишь за мольбертом. Не стриженные, но заросшие затылки подростков (девочек в школе я не помню). Натюрморт, кряхтя и упираясь, перебирается на бумагу. Печальные мутанты – вазы со свернутыми челюстями, окривевшие римские императоры. Призмы и конусы, напрасно пытающиеся пробраться в соседнее измерение. Вот вы, чем в детстве занимались? – Перебивает сам себя ВВ. – В смысле? – Куда ходили? – На скрипку. – Любили? – Ненавидел. – Всем сердцем? – Даже мечтал попасть под машину. – Я впервые за вечер улыбаюсь. – Сам-то, разумеется, должен был выжить, – объясняю. – Но скрипка в щепки. А на новую у родителей нет денег, это я знаю точно. А вы? Что вы смеетесь? – Он разливает вино. – А я марки. Все началось с марок. Как вы говорите назывались эти перчатки? Без пальцев? – Митенки... – Они и сейчас существуют, эти киоски, – напомнил я. Но ВВ не слышал: – Представьте, что уже в третьем классе мальчик отличает Мурильо от Веласкеса. Родителям это льстит, они наивно считают сына гением. Им не приходит в голову, что ребенку просто нравится подсматривать. Марки или замочные скважины? Одно и то же. И не забывайте обнаженную натуру. Даная или Вирсавия? Рубенса или Рембрандта? Других источников информации у подростка не было. – Я предпочитал брюлловскую. – Да, грудь там дивно вылеплена. – Он хмурит брови и

вертит в пальцах мою зажигалку. – Или возьмите двух мальчиков: Венецианова и Мурильо. Та же собака, та же корзина, те же глиняные горшки. Но один беззаботен и ласков, а другой мрачно смотрит на разбитое корыто. Вся тоска русской жизни читается в глазах его собаки. Или «Прачка» Шардена. Мальчик с мыльным пузырем, в котором отражается круг жизни. Это ли не безмятежность? Ведь круг замкнется. Или «Продавщица фруктов». Помните, девушка с корзиной? Улыбается, а платок прижат к щеке. Я себя с сестрой представлял этой парой. Мальчиком с собакой и продавщицей. Если это не производит в детстве впечатление, то что тогда производит? – Он постукал пальцами. – Но я ошибся. – Зато я оказался прав. – В каком смысле? – Он впервые за вечер смутился. – Пара из вас получилась яркая, – мне хотелось ответить хоть чем-то. – Элизий и Фарсида. – Кто? – Он всматривался, как будто проверял, в своем ли я уме. – Спутники Марса. Персонажи моего романа. Не важно, рассказывайте дальше. Все в порядке. – А дальше отступать некуда, папка с бумагой куплена, кнопки гремят в коробке и требуют выхода на подиум. Розовые резинки сдирали карандаш вместе с бумагой. Но главное сокровище это ленинградская акварель. Подарок сестры, большой дефицит. И вот ты бьешься, бьешься. Год, два. Трешь резинкой или смываешь, и снова наносишь. Тон, полутон. Пальцем или бумажкой. Штриховка. Пленер. Беличья или колонковая? Но сон твоего разума порождает чудовищ. Вместо лица усатая рожа. Нет в реальности таких деревьев, все это обитатели чужого мира. Этот мир во мне, а не снаружи. Единственный урок, который мне по-настоящему нравится, это урок копирования. Прошрое, повторяю, живет где хочет. В моих горящих ушах, например. Минуты стыда и страха, когда раскладываешь этюдник в зале. Как будто вещь за вещь снимаешь с себя одежду. Но потом на бумагу выплывает угол дома, балкон и занавеска, а может быть это белье, отсюда не видно, а там и мансарда, – и страх проходит. Стук дождя на бульваре Капуцинов. Я даже оглядываюсь – может, на нашей улице? Но в музее нет окон. Фиакры по мокрой брусчатке, шелест мокрых листьев. Господин в цилиндре фокусника сражается с промокшей газетой, но официант занят с подносом, ребристый край больно впился в кожу. К тому же капает за воротник. Запахи печного дыма, хлеба. Это была жизнь, сначала умерщвленная на холсте

художником, а потом уничтоженная течением времени. Но в момент копирования я воскрешал ее. Я был третьим. Не объектом или субъектом, а тем, кто возвращал к жизни мир, которого не существовало. И постепенно я забросил школу, я целиком посвятил себя музею. Смотрительницы пропускали меня – мальчишка с мольбертом вызывал умиление. Сам, смотрите – какой умница. Вскоре стены в моей комнатке покрылись пейзажами Парижа и Кольюра, Амстердама и Брюгге. Единственное, что мне не удавалось, это человек. Фигурка на дороге или в лодке, или за столиком – да. Но портрет? Да и не нужен был человек. Что в нем нового, кроме жабо или цилиндра? Открытие, которое я тогда сделал, заключалось в том, что картины запечатывали время. А когда я копировал, я выпускал его наружу. Вторым открытием было то, что к тому времени, когда эти картины были написаны, это, то есть «распечатанное» время, не имело отношения. Проще говоря, это было настоящее, а не прошлое. Прошлого не существовало. Это стало для меня открытием номер три. Где оно у Вермеера? А у Рембрандта? Нет, и у Ван Гога нет. То, что кажется прошлым, это хорошо законсервированное настоящее. Художник всегда в настоящем, сейчас и здесь. Даже если рисует миллион лет назад на стене пещеры. В пещере тем более. Никакой памяти нет. Есть только аберрация сознания, которое постоянно передергивает в пользу или против хозяина. Вы читали книги про художников? «Жизнь в искусстве»? Нет ничего скучнее биографии живописцев. Глубина их прошлого измеряется длинной бороды, которую художник отрастил себе.

– Но как же... – Я вспомнил наш разговор в Кёльне. – Вспомните ваши коллажи. Старые афишки... – Я не умел подобрать слова. – «За сутки до рождения Вадим Вадимыча»? Апофеоз ностальгии. – Милый мой, – он ходил по комнате как будто что-то искал. – Чтобы жить прошлым, нужно конвертировать его в память, или не терять вообще. Я вообще считаю, что страсть к сохранению ушедшего возникает от страха смерти. Дело не в прошлом, а в том, что человек перестал верить в Бога, вот и цепляется за прошлое. Если оно не совсем утрачено, думает он, то у меня тоже есть шанс. Это наивно, но безотказно действует. Хотя на самом-то деле просто мешает расти новому. Сегодня прошлое

можно вообще забронировать по интернету. Например, нашу квартиру. Где умерла мама, где прошло наше с сестрой детство. Пожалуйста, лети, вселяйся. Обретай, если получится. Между тем вот здесь (он сложил пальцы щепоткой) прошлого больше чем в любой антикварной лавке. Потому что мои пальцы до сих пор чувствуют школьный холод. Вот и все, на что человек может рассчитывать. Остального не вернуть. Ни стола этого перед открытым окном, ни моря, ни запахов набережной. Ни души той, прежней. Когда я понял это, то решил порвать с прошлым. Сделать из него искусство. Я обманул вас, уж просите. Плевать мне на эти старые фотографии. Я изрезал их, отсканировал и выбросил, потому что к моим родителям фотобумага не имеет отношения. Чтобы сохранить прошлое, надо жить с ним. Няньчиться как с ребенком. Хранить – как эти картины в тубусе. А если нет такой возможности, то лучше выбросить. Начать жить заново. Тем более, что на великих картинах ничего, кроме настоящего, и нету. Это банальная мысль, я знаю, но полностью она открывается только с опытом. Поэтому я и согласился работать с Фришем. Когда копируешь, о прошлом забываешь. – Он, наконец, нашел что искал, это была белая канистра, в которой плескалась жидкость. Он вынес ее в коридор и поставил у двери. – Китайцы все это открыли тысячу лет назад. Две тысячи. Художник копирует мастера не потому что хочет повторить пейзаж, который тот нарисовал, а чтобы постичь дух настоящего, в котором находился художник, когда создавал картину. Она отражение этого состояния. Единственный уцелевший носитель. Для художника копирование это медитация, на картину ему наплевать. Если копия удачна, если дух настоящего оживает в ней, ее приравнивают к оригиналу. А если художнику удастся подняться на ступень выше, то копия превосходит оригинал в цене. Теперь она сама оригинал, то есть объект копирования. Копия копии, восточная лестница Иакова. Кажется, она была винтовой, вам не приходило в голову? – Я встал, пожал плечами. – Трюизмы. Уже поздно. Закажите мне такси, пожалуйста. – Стоянка налево по улице, – ответил он. Я протянул руку. – По-моему, это называется «вампиризм», – напоследок мне снова захотелось поддеть ВВ. – То, что вы рассказали про копии. Энергетический. После общения с вами я, во всяком случае, чувствую себя выпотрошенным. – А я не спорю, я вообще заканчиваю, – Вадимыч не

отпускал мою ладонь. – А кошку вам оставляю. – Рыжая и неизвестно откуда взявшаяся, кошка терлась об канистру. – Шучу. Поживет одна и вернется. – Вы что ж, уезжаете? – Думаю. – Далеко? – Он потер щеку и опустил голову. – Вот, посмотрите, эта кошка с Форума. – Он взял ее на руки. – Она настоящая римлянка. Не то что мы. – Он отпер двери. – Еще один вопрос, – попросил я. – Сколько угодно. – Можно ваши часы? – Часы? – Он сбросил кошку и снял часы с руки. – Вот. – Я перевернул их, я напрасно надеялся, что надпись в тот вечер мне померещилась: – Что это? – Что? – «Красная планета»? Все хотел узнать, что она означает? – Он вытянул губы, словно хотел свистнуть, и сощурился. – Так, ерунда. Школьный кружок по астрономии. Почему вы спрашиваете?

XIII

Всё возвращается, все воздвигается на своих местах – и мой герой тоже. Ночь в Риме! Один в толпе, он снова на исходной точке. Время отмотали обратно, брошенный окурочек еще не упал в воду. То же место, тот же фонарь, та же тень. Все-таки он прав, как бы банально это ни звучало. Ничего, кроме настоящего. Полночь, подвыпившие туристы валят из Заречья. Они дешево и вкусно поужинали, монетки так и летят в футляр. «Лихорадушка» Даргомыжского? Фадо? Каста Дива? Как называется оркестрик, который играет музыку моей жизни? Может, и в самом деле лучше вычеркнуть это прошлое. Сторговаться с марокканцем, например. Давай, иди за ней (он показывает глазами). Коротконогая невзрачная женщина с пакетом. Оборачивается, потом спускается. На нижней набережной темно и душно, тень дробит пятна уличного света. Они подрагивают и шевелятся словно к небу привязан зеркальный шар. Бок о бок. Старые знакомые. Ее рука тычется в мою, я разжимаю пальцы. Ей деньги, мне сверток. Она возвращается на мост, а я сажусь под тополями. Нет, но как я все-таки угадал эту парочку. Мальчик с собакой и продавщица фруктов. Элизий и Фарсида. Хронофаги чертовы. А всего-то кружок по астрономии. Стоп! Это ты стоишь, а толпа течет. Или толпа? Немец посадил мальчишку на шею, мать фотографирует. В этом же мгновении поместился чернокожий парень. У него белая шляпа. Он смеется и балансирует, вот-вот свалится. А рядом две

римлянки: чао, Бонфита – а домани, Лаура. Даже в толпе они словно одни на улице. Голени, головы, голени, головы. Голоса. Девушка в белых джинсах застыла с трубкой, взгляд сквозь пространство. Одиночество невидимого собеседника. А за ней? Да или нет? Да. Пусть они встретятся. Ты же сам отправил Лену в путешествие. А все дороги ведут в Рим, это известно. Посмотри как расширены ее зрачки. Восторг, усталость. А сумка приоткрыта. Он видит эти зрачки в толпе, а она его. Прямо сейчас смотрит в глаза. Не видит. Пусть проходит. А вот сейчас можно. Они стоят на светофоре. Подружка или сестра? Лена так близко, что видно волосы на шее. Шум голосов, в переулке эхо. – А мне не понравилось, – говорит подружка. – Было невкусно. – Не знаю... – Лена отворачивается. – И дорого. – Лена приподнимает плечо, чтобы поправить бретельку. Как она надоела, эта подруга. Синдром первого путешествия. «Пойдем, здесь опасно». «Это нам не по карману». Как бы ее спровадить? Когда вернутся, та уснет, а она выйдет. На набережную. А то чувствуешь себя Золушкой. Это же римские каникулы. Путешествовать лучше одной, зачем слушать чужое нытье. Как Саша, например. Она видела фотографии: приехал, выступил, поехал дальше. Твой Саша, как она говорит. Вот дура. Хотя сердечко обмирает. Они выходят на площадь Цветов и протискиваются между столиков в гостиницу. – Prego! – Зазывает официант. – Может, посидим? – Предлагает Лена. – Нет, пойдем, – тацит подружка. – Спать, я устала. Не засну одна, ты же знаешь. – Ладно. – В гостинице пусто, тишина. Народ еще гуляет, только они притажились. Сваливает пакеты, идет в ванну. А Лена падает на кровать и включает телевизор. Выходит, инспектирует простыни. – Мне кажется, или они не поменяли? – Ложится. – Выключаю? – Да, я только в ванну. Лена прислушивается к ее пижамному, в слонах и зонтиках, дыханию. Когда она выходит из ванной, та дрыхнет.

XIV

Саша садится за стойку. Это бар при гостинице, отсюда площадь как на ладони. Надо что-то придумать, встреча должна быть случайной. Да вот хотя бы здесь. Наверняка по вечерам они сюда выходят. Да и на площади целое представление. До четырех никто не спит. Вспомни, сколько раз ты таскался сюда. Саша за-

казывает выпивку. Лёд? Да, отдельно. Grazie. Он тянет мелкими глотками. Ну что, Вадимыч? Где ты со своими бреднями? Человек-тубус. И надо же какой поворот событий. Лена. Хотя что ж, она ведь говорила: в Италию. Значит, Рим. Недаром в толпе мерещилось ее лицо. Он поворачивается к площади. Как смешно подростки облепили цоколь памятника – как кошки. А этот маленький индус? Никогда не мог понять, как действует пропеллер. Никогда не видел, чтобы кто-то покупал у этих продавцов розы. И чего у них такой несчастный вид? А эта пара новая. Один, скрестив ноги, сидит на земле, в отставленной руке у него палка. Он держит ее как факел. А на палке еще один. Факиры. Визуально кажется, что второй висит в воздухе против всех законов физики (на вытянутой руке такую тяжесть удержать невозможно). Как это устроено, интересно? Наверное, приспособление внутри одежды, не зря у них такие балахоны. Тогда, если этот встанет, тот грохнется. Если... Но в этот момент он видит Лену. Она стоит в дверях – короткие шорты, майка. Длинные худые ноги. Она смотрит на него, машинально раскрыв меню. Официант что-то втолковывает ей, но когда он встает навстречу, ретируется. Он подвигает ей стул. – Ты одна? – Подруга спит, – выдавливает она. – А вы... а ты... Она смотрит в пол. – Увидел на мосту. Ты не против? – Он подзывает бармена. – Что ты хочешь? – Лена заказывает вино. – Любое, на ваш вкус, – говорит она и на секунду поднимает глаза. Те же расширенные зрачки. – Да casa. – А я у друзей остановился, тут рядом. – говорит он. – Ты из Германии, я видела фотографии. Как прошло выступление? – Ты спешешь? Здесь столько всего... – Он даже встает от волнения. – Вино же, – она приподнимает бокал. – Да. – А потом можно погулять, – соглашается. Но выпить они не успевают, у памятника происходит движение. Оба поворачивают головы. – Что он разбрасывает? – спрашивает Лена. Он приподнимается и видит: откатившийся рулон. Никакого костюма, человек одет обычно: шорты, майка. Он раскланивается, потом отвинчивает крышку. Показывает канистру, как фокусник шляпу – тем, этим. Потом неспешно поливает рулоны. Снова показывает канистру. Нет? А вы? Тогда я сам. И выливает на себя. Толпа замирает, а фокусник неподвижен. Когда он выпускает изо рта струйку, толпа оживает. Он поднимает руку и щелкает. В кулаке огонь. Фокусник выжидательно смотрит на зрителей, потом про-

тягивает огонь одному, другому. Но зеваки пятаются или отнекиваются. Тот качает головой. – Это какое-то шоу, – говорит Лена. – Зажигалка... – это говорит он. – У меня есть, – она достает. – Подруга курит. – Она протягивает, но зажигалка повисает в воздухе. – Ты его знаешь? – Он переводит взгляд. Теперь Вадимыча не видно, плотная толпа окружила его. – ...и соберет пшеницу свою в житницу свою... – кричит он. – А солому сожжет огнем неугасимым... – Звенят первые монетки. – Русский, – удивленно говорит Лена. – Он... – Но раздается хлопок и толпа шарахается. Горящие рулоны раскатываются по площади. Толпа аплодирует, кто-то визжит: – *Sarabineri!* Секунду официант смотрит, потом сдергивает скатерть и бежит на площадь. На сумасшедшего наваливаются несколько человек. Дым, крик, смех. Какая-то женщина, прижав ладонь ко рту, быстро уходит. Потом на площадь вползает машина скорой помощи. Теперь, когда вся площадь столпилась у памятника, факиры разбирают пирамиду. Верхний спрыгивает – на секунду конструкция обнажается. Так и есть, штанга проходит через рукав и упирается в основание. Нижний просто удерживал ее собственным весом.

Наталья Зейфман **«Еще одна жизнь»**

Осенью 2016 года в московском издательстве «Время» тиражом 1000 экз. вышла книга воспоминаний Натальи Зейфман – об отъезде семьи в Израиль в 1991 году (воспринятом как конец жизни и начало новой), о московском лефортовском детстве в сороковых-пятидесятых, о работе в Отделе рукописей ГБЛ, о Каверине, о историке П.А.Зайончковском...

Дина Рубина, представившая книгу в аннотации, говорит о ней так: "Эта книга – не триллер и не детектив, – необыкновенно увлекательное чтение!".

Книгу можно приобрести у автора, обратившись по электронной почте: nataliazeifman2015@gmail.com.



Виктор Бриндач
“И.Е.Репин в Иерусалиме”
к эссе Г. Подольской “И.Е.Репин и его персонажи”
стр. 221



Александр Канчик
"Хупа"

Яков Шехтер

БЕСЫ И ДЕМОНЫ

По картине Александра Канчика «Хупа»

Полная луна стояла над помещьем, заливая серебряным светом ухоженные, посыпанные тертым кирпичом дорожки. Белые стены панского дома светились в мягком сумраке ночи. Кусты, подстриженные в форме шаров и подходившие прямо к парадному крыльцу с колоннами, чуть шевелили листвой под дуновениями ветерка. Стояла ранняя осень, когда природа Галиции с трепетом готовится к заморозкам и словно напоследок радуется глаз алым, багряным и желтым. Кто знает, что будет после зимы? Все ли проснутся, всем ли будет дано вновь встретить праздник лета?!

По дорожкам вокруг сада, до утра разрезая на ломти черное пространство ночи, прогуливались два гайдука, удерживая на поводках распираемых яростью псов. Горе чужаку, в поисках добычи рискнувшему перебраться через высокий забор, окружавший поместье. Если бы ему и удалось уцелеть после знакомства с зубами натасканных на человечину псов, воришка остался бы калекой до конца своих горестных дней.

Пан Анджей Моравский, хозяин поместья, отличался вспыльчивым и дурным нравом и к сорока годам успел обзавестись множеством врагов. Гайдуки охраняли его не от случайных лиходеев, те вряд ли бы рискнули ломиться в дом человека, о жесткости которого ходили легенды, а от мстителей. Вздорность характера не означает отсутствие ума. Пан знал, скольким людям пересек дорогу и поэтому берегся.

Свет луны пробивался даже через плотно занавешенные окна панской опочивальни. Пани Эмилии, третьей жене хозяина поместья, не спалось. Дело было не в заливистом храпе мужа, его она

уже приноровилась не замечать, а в смутной тревоге, тяжести на сердце.

Первая жена пана умерла совсем молодой. Пани сопровождала мужа на охоту, волк неожиданно выскочил из перелеска под ноги ее лошади, та испугалась, понесла, и сбросила наездницу прямо на валун. Вторая жена, принеся пану в качестве приданого немалое количество золотых, оказалась болезненной и слабой. За годы их супружества дом так пропитался запахом целебных настоек, что выветрить его не было никакой возможности. Пани умерла на курорте, отравившись непонятно чем. Впрочем, для ее ослабленного долгим лечением тела ядом могло оказаться самое безобидное снадобье.

Третий брак оказался удачным. Прошло пять лет после свадьбы, и все вроде бы выглядело розовым и теплым. Но этой ночью, лежа без сна в супружеской постели, пани Эмилия сообщила, что и первая и вторая жена оставили сей мир в начале шестого года замужества. Это, разумеется, было простым совпадением, но туман смутной тревоги плотно окутал сердце пани.

И вот еще что, о чем не принято говорить, но невозможно замалчивать. Когда Эмилии, тогда еще юной девушке, передали предложение руки и сердца от представителя одного из самых знатных и богатых родов Польши, она подумала, что сват ошибся или напутал. Сватом был сосед, знавший ее с детства и не одну трубку выкуривший в их гостиной долгими зимними вечерами, под завывание ветра в пустых перелесках.

Претендента на свою руку она видела два или три раза на балах в Кракове, но дальше нескольких слов во время тура мазурки дело не пошло. Да, ей нравился этот мужчина, хоть и брыластый, но еще по-военному поджарый, в ладно сидящем камзоле. Хотя его виски уже тронуло серебром, танцевал он ловко, легко двигаясь, чуть ли не паря над паркетом. Еще молодому черные, пышные усы почему-то взволновали воображение девушки. Ей на минуту представилось... впрочем, она тут же отогнала от себя эту мысль.

Род ее был уважаемым, но сильно обедневшим, и приданое, отложенное для нее отцом, выглядело более чем скромным. А без хорошего приданого в наступившие меркантильные времена рассчитывать на завидную партию не приходилось. Несмотря на чу-

десный румянец, пышные белокурые локоны и ясные, точно летнее небо, голубые глаза, ее ожидал брак с выходцем из захудалого рода и полунищенское существование в давно не отремонтированном доме запустелого маетка.

И вдруг – он. Пусть по возрасту подходящий в отцы, но в ореоле славы доброго и заботливого мужа.

– О, как он горевал, когда погибла первая жена, – рассказывал сват, горестно всплескивая руками. – А как трогательно и самоотверженно ухаживал за второй женой! Поверьте, столь замечательные душевные качества стоят разницы в возрасте.

– Но почему пан Анджей обратил внимание на мою дочь? – все еще не веря своим ушам, переспросил отец. – Мы, разумеется, польщены вниманием столь знатного человека, но... – он слегка замялся, и сват тут же подхватил.

– Вы опасаетесь, нет ли здесь какого-либо подвоха? О, разумеется, есть! Он стар, как мир, но весьма незамысловат. Дело в том, что, – тут сват сделал паузу и внимательно поглядел на девушку. – Да, все дело именно в том, и только в том, что Анджей смертельно влюблен. Потерял голову и думает лишь о вас.

Ах, как все выглядело романтично! И корзины белых роз, которые стали приносить каждый день, после того, как сват ушел, заручившись согласием девушки и родителей, и бриллианты в качестве предсвадебного подарка, и нежелание даже говорить о приданом.

– Ваша дочь – настоящее сокровище, – заявил пан Анджей отцу. – Кроме нее мне ничего не нужно.

Кто бы рискнул предположить, что этот лощеный аристократ, этот продолжатель старинного рода, этот галантный кавалер превратится в сущего скота, оказавшись наедине с молодой женой в супружеской опочивальне?!

Ей даже в голову не могло прийти, будто муж в состоянии требовать такое от жены! Первые ночи она пребывала почти в непрерывном шоке от происходящего, а потом с душевной судорогой и физической болью начала привыкать. Человек, на самом деле, очень выносливая и очень терпеливая тварь!

Как настоящий скот, пан Анджей не менял своих привычек, всегда следуя одной и той же борозде. Скоро пани Эмилия с точностью до секунды могла указать, какая услуга от нее потребуется

в следующий момент. Страшит только неожиданное, хорошо знакомое может вызвать отвращение или неприязнь, но не страх. Ведь то, что известно, уже не пугает.

Прошло пять лет. Пан резко сдал в мужском смысле и напомнил о супружеском долге куда реже, чем в первые годы совместной жизни. Осторожными расспросами служанок и знакомых пани выяснила, что на самом деле ничего особенного муж от нее не требовал, а так называемое скотство и есть интимные отношения между мужчиной и женщиной.

В монастыре бенедиктинцев, где она получила образование и представление о мире, на эту сторону жизни смотрели с заведомым отвращением и сумели, не называя вещи своими именами, привить воспитанницам инстинктивное отвращение к тварной составляющей человеческого существования.

Будучи женщиной неглупой, пани Эмилия поняла и простила мужа, тем более что на самом деле прощать было нечего. Однако после каждой встречи под одеялом она долго не могла избавиться от оторопи и чуть не до утра лежала без сна, слушая рулады, выводимые законным супругом. И вот этой ночью, еще пребывая в той самой оторопи, она вдруг подумала о начале шестого года.

Рулады перешли в почти звериное рычание. Пани Эмилия поморщилась, поднялась с постели, накинула халат и, неслышно скользя босыми ногами по паркету, пошла в свой будуар. Паркет был теплым, пан любил, чтобы хорошо топили, а пани, когда ее не видели слуги, любила ходить по нему без домашних туфель. Ей почему-то вспомнилось детство, лето в имении у богатой тетушки, белая купальня, разрезавшая зеленую гладь тихого пруда, и песок под ногами. Такой же теплый, как этот паркет.

Подойдя к приоткрытой двери будуара, она замерла от испуга. Внутри кто-то был, пани ясно слышала шорох и едва слышные шаги. Осторожно заглянув в щель между створками, она столкнулась с испытующим взглядом глаз в прорези черной маски. Красная бархатная портьера одного из окон была отодвинута, окно распахнуто настежь и в него со всей силой глядела полная луна, заливая будуар ярким светом.

Посреди комнаты стоял человек в черной маске и внимательно смотрел на пани. Та от ужаса оцепенела на несколько мгновений,

затем, словно загипнотизированная, вошла в будуар, а затем сделала то, что на ее месте совершила бы любая другая женщина – истошно завопила. Незнакомец одним прыжком оказался возле окна, по-кошачьи ловко взлетел на подоконник, присел, спустил ноги вниз и через мгновение исчез.

Пани продолжала вопить. Ее колотила крупная дрожь, колени подгибались от страха. Спустя минуту прибежал пан. В ночной рубашке, с колпаком на голове и с обнаженной саблей он был скорее смешон, нежели страшен, но пани было не до смеха. Узнав, в чем дело, пан тоже заорал, но уже басом, и вскоре огромный особняк наполнился стуком каблуков, звоном оружия, треском факелов.

Увидев выдвинутые ящики туалетного столика, пани Эмилия быстро обнаружила, что исчезла шкатулка с драгоценностями. Но главным и самым устрашающим во всей истории была не пропажа бриллиантов, а то, что кто-то сумел проникнуть в тщательно охраняемый дом и подобраться к опочивальне. На месте вора мог оказаться убийца с кинжалом, мститель, посланный одним из пострадавших от ярости пана, и это грозило куда большей потерей.

В будуар можно было попасть либо через спальню, либо через дверь, ведущую в библиотеку. Мнительный пан Анджей, перед тем, как улечься в постель, всегда лично запирает дверь в библиотеку, а ключ прятал в тумбе у изголовья кровати. Дверь осталась запертой, следовательно, вор попал в будуар тем же путем, как и бежал из него – через окно.

Но как он сумел забраться на высокий второй этаж по каменной стене? И как спустился? Неужели цепляясь за выступы в кладке? Такое не под силу нормальному человеку, разве что кошке, да и то не всякой. И как вообще он попал в поместье, обнесенное высоким забором, ухитрившись избежать встречи со свирепыми псами?

Расспросили охрану. Да, один из гайдуков заметил убежавшего вора и сразу натравил на него сторожевого пса, способного одним ударом повалить овцу и вцепиться ей в горло. Пес кинулся за черной фигурой, спустившейся со стены, но тут же жалобно заскулил, вернулся и, поджав хвост, прижался к ногам гайдука, словно ища защиты. Гайдук вскинул ружье, прицелился и спустил курок. Осечка! Снова взвел курок, снова осечка. Незнакомец взлетел на забор и скрылся за ним.

Пани Эмилия пересмотрела все ящики. Исчезли ее бриллиантовые украшения – серьги, кулон и кольцо. Целое состояние! Гайдука обвинили в плохом уходе за оружием и выпороли на конюшне. Били долго, до крови, до потери сознания. Обливали холодной водой и, когда приходил в себя, снова били. Ружье должно стрелять, а если оно два раза подряд дает осечку, значит, его плохо чистили и не смазали.

Все, включая самого пана Анджея, понимали, что гайдук не виноват. Но просто так спустить кражу драгоценностей пан не мог. И гайдук был принесен в жертву для назидания остальным. После порки он прожил три недели, большую часть дня проводя на скамейке в людской, харкая кровью в грязную тряпицу.

Умер он во сне, не проснулся и все. Те, кто обмывал его перед похоронами, рассказывали, что рот гайдука был забит сгустками запекшейся крови, от которых он, скорее всего, и задохнулся.

Собаке пан Анджей тоже отомстил, отдав ее пастухам, опекавшим его огромные стада. Но пес не был приучен к подобной работе и через два дня, ночью, набросился на одного из пастухов, отошедшего от костра по нужде, приняв его за грабителя. Пастуха с трудом отбили, и он еще долго ходил обмотанный тряпками, морщась от боли.

А пса во время той свалки крепко ударили дубинкой по голове, иначе он не разжимал мертво сведенные зубы. Он умер в полном недоумении, не понимая, почему убивают за то, к чему приучали всю его недолгую собачью жизнь.

Совсем недалеко от поместья, за дощатым мостом через тихую речку, заросшую у берегов кувшинкой, за дремлющими под нежарким осенним солнцем сосновыми перелесками, меж долов, логов и оврагов раскинулось еврейское местечко Курув. Когда-то оно было польским городком, но за последние двести лет в нем осело полторы тысячи евреев, построивших синагоги, молельные дома, миквы, приюты для нищих, бойню, три корчмы и устроивших собственное кладбище. Поляки и русские продолжали жить в городке, но на фоне пришлого люда они как-то стушевались, поникли и стали почти незаметны. Для проезжающих и проходящих Курув, безусловно, выглядел еврейским местечком, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. Городок рас-

полагался на земле пана Моравского, но тот напрямую не вмешивался в дела жителей, требуя только одного – вовремя получать арендную плату. Для проведения удобной ему политики у пана были скрытые от посторонних глаз веревочки влияния.

Как и в любом другом местечке были в нем свои богачи, свои нищие, свои раввины, свои сумасшедшие и свои святые. Был и свой мойсер, доносчик, Гецл. Обо всем, что происходило в Куруве, он немедленно докладывал пану. Во всем остальном Гецл вел себя как обычный богобоязненный еврей, доносительство было для него работой, за которую ему платили деньги, и совсем даже неплохие.

Гецла несколько раз били, причем тяжело, и пан Моравский, подобно праотцу Яакову, велел шить для него цветное одеяние, дабы выделить его из толпы прочих жидков. Одеяние представляло собой четырехугольную накидку, похожую на талес, и пан приказал прицепить к ней цицес, кисти видения. Гецл нехотя напялил сей странный наряд, а пан Анджей, вызвав к себе глав польской и еврейской общины Курува, объявил, что носитель этой накидки находится под его защитой.

– Собака, которая посмеет тронуть Гецла хотя бы одним пальцем, будет иметь дело лично со мной, – завершил пан свою короткую речь. Связываться с Моравским стал бы только сумасшедший, и с того дня Гецл открыто и безболезненно продолжил заниматься своим ремеслом: приносить в поместье мелкие слухи и крупные сплетни.

– С Небес спускается только добро, – объяснил прихожанам положение дел раввин Курува, ребе Михл. – Теперь мы точно знаем, когда держать язык на привязи.

Прихожане: портные, возчики, мелкие торговцы, бондари и прочих тяжело трудившийся люд тяжело работали с утра до вечера. Почти все их время уходило на выживание; зарабатывая на хлеб в поте лица, спины, рук и ног, они еле выкраивали время прийти вечером на урок Торы, чтобы сладко заснуть после второй фразы раввина.

Жизнь рабочих бедолаг, наполненная искренним, чистым служением Творцу, создавшего им такие условия, текла ровно, не оставляя следа в этом мире. Возможно, в горних высях каждый храп на уроке, каждый капитель псалмов, прочитанный по памяти

среди беготни и сумятицы, записывались алмазным пером на золотых скрижалях. Но в мире дольнем серое полотно их будней украшали редкие цветные искорки, а сами они проходили сквозь жизнь незаметно, один за другим бесследно исчезая под могильными плитами.

Жили в Куруве несколько молодых евреев, которых пока нельзя было записать ни в святые, ни в раввины, ни в сумасшедшие, ни причислить к трудовому люду. Никто еще не знал, что из них выйдет. Именовали этих юношей поруш, то есть отрешившимися. День и ночь они проводили не в погоне за куском хлеба, а в молитве и учебе, отбросив удовольствия этого мира, как муху из борща.

Сказать по чести, сколько их там было, этих удовольствий у нищих евреев Курува? Но сколько бы ни было, пренебрегать ими не стоило, ведь для бедняка, питающегося черным хлебом, луком и редиской, субботний чолнт из куриных крылышек, на который богач и смотреть не станет, представляется райским блюдом, приготовленным руками ангелов.

Несмотря на полуголодное существование, восемнадцатилетний поруш Зяма был ладным, крепко сбитым парнем, высокого роста, с не по годам густой бородкой. Его цепким, ухватистым рукам больше подобало сжимать не книги, а молот кузнеца или деревянную кувалду бондаря. Но этому Зяму ни в детстве, ни в отрочестве не учили. Он умел только листать святые книги, это ему нравилось, и ничем иным поруш не желал заниматься.

Есть люди, которые убегают от мира, чтобы избежать его соблазнов. А есть такие, которым просто не оставили выбора. Не было в Зяме ни страсти приобретательства, основы всякого богатства, ни азарта первопроходца, ни куража авантюриста, ни расчетливого скопидомства купца. С книгами переплелась его душа, и лишь к учению лежало сердце.

Чтобы преуспеть в любом деле, а в учении Торы особенно, необходимы три непростые вещи.

Во-первых, талант от Бога. Его у Зямы хватало. Хватало и острого ума, и прекрасной памяти, и умения внезапно сопоставить то, что учил полгода назад, с новой темой и сделать головокружительные выводы.

Во-вторых, усидчивость, или, выражаясь народным языком, «обширное седалище». И это у Зямы имелось, он мог сидеть над книгой, не отрывая глаз два-три часа, сосредоточив мысли на одной теме, до полного единения с ней.

И, в-третьих, а возможно, во-первых, удачное стечение обстоятельств. Его именуют по-разному: везение, талия, фортуна, но как ни назови, именно оно у Зямы отсутствовало напрочь.

Говорят, будто сие обстоятельство жизненного пути могут с успехом заменить связи или деньги. А есть такие, что утверждают, будто именно они и есть удача и настоящий фарт. Но ни первого, ни второго, ни всего остального у Зямы тоже не было. Ему оставалось влачить свой жребий, разгрызая день за днем выпавшую ему долю и рассчитывая, что когда-нибудь Всевышний обратит на него милостивый взгляд и пошлет столь нехватящую удачу.

Жил он с родителями: отцом – старым водовозом, и матерью – торговкой вразнос. Он был сыном их старости, его старшие братья и сестры давно отделились, обзаведясь семьями и кучей малышей, Зяминых племянников и племянниц. Старики-родители уже не могли работать и жили тем, что приносили дети. Ой-вей, не дай Бог зависеть от чужих милостей, и уж особенно полагаться на доброхотность собственных детей!

С голоду родители не умирали, но и совсем не роскошествовали. И вот от этих-то убогих щедрот немного перепадало и Зяме. Однако никаких иных действий, кроме перелистывания книг, Зяма не намеривался предпринимать.

– Зачем? – объяснял он, когда заходила о том речь. – Весь мир принадлежит Богу, и Он держит его в крепкой руке. Бог посылает и достаток, и удачу, и здоровье, и саму жизнь. Зачем же я буду делать вид, будто стараюсь что-то заработать собственными силами? Это просто неуважение к Владыке мира! Я словно показываю, раз Ты мне Сам не даешь, так и без Тебя, заработаю. Не-е-ет, други мои, лишь на Него я полагаюсь, только Ему верю и на Его милосердие уповаю.

Торой Зяма занимался в основном по ночам. Не из мистических соображений, и безо всякого отношения к каббале и прочим премудростям тайного знания. Все было куда проще, ночью постоянное томление под ложечкой, голод, грызущий внутренности, помогали Зяме не заснуть до утра.

Ночи он проводил в бейс мидраше. После окончания вечерних занятий ученики расходились по домам, а он сидел еще часик над Талмудом. Затем ужинал куском черного хлеба с луковицей, запивая не успевшим остыть чаем, вытаскивал из-за книжного шкафа одеяло и подушку и устраивался на деревянной лавке. Просыпался после полуночи, умывался, открывал книги и погружался в них до начала утренней молитвы.

После ее завершения Зяма с чувством хорошо потрудившегося человека шел домой. Старики к тому времени заканчивали завтрак, но мать всегда приберегала для младшенького лакомый кусочек. Из того, что приносили старшие дети, она выбирала то вареные яички, то блины с кислым молоком, а то тертую пареную репу. Иногда Зяме доставался кугл – запеканка из лапши – творог, блинчики, всего понемногу, по крохе. Разумеется, братья и сестры знали, что Зяма кормится вместе с родителями и накладывали больше, чем нужно старикам.

Поруш завтракал, спал до обеда, потом возвращался в бейс мидраш и сидел в нем до послеполуденной молитвы. Завершив ее и дождавшись вечерней, он проводил еще час над Талмудом, а затем принимался за ужин. Кусок черной горбушки, завернутый материнскими руками в белую тряпицу, был настолько пропитан любовью, что Зяма полностью насыщался, то ли хлебом, то ли исходящими от него эманациями, и укладывался на лавку до полуночи.

В местечке Зяму за глаза называли святым, эти слухи долетали и до его ушей, не оставляя, впрочем, малейших царапин на алмазной поверхности души. Он хорошо знал истинную цену своему усердию, ночным бдениям и отстраненности от удовольствий этого мира.

Не раз и не два во время учебы он замирал, не спуская глаз со страницы, однако мыслями, никому не видимыми и не познаваемыми мыслями, уносясь далеко от букв и слов. Широко расставленные локти крепко упирались в столешницу, гладко оструганную, полированную стеклышком, а потом локтями и локтями вот таких же, как Зяма, сидельцев. Неужели ему суждено провести всю свою молодость в этом бейс мидраше, над этими книгами? Неужели добрый и справедливый Бог не даст ему ни одного шанса?

О, выпадите хоть какая-нибудь ничтожная, малипусенькая возможность вкусить плодов мирских наслаждений, будьте уверены, Зяма бы не оплошал. Ведь во всяком деле главное – начать, оказаться внутри потока. А потом умный человек всегда сумеет оседлать струю, превратиться из щепки, влекомой бурными волнами, в гордый парусник, небрежно рассекающий те самые волны носом, окованным до блеска надраенной медью.

Речь, разумеется, не шла о грубых желаниях, примитивной жажде богатства, почестей, женского внимания. От такого рода низменных мыслей Зяма был бесконечно далек. Он мечтал написать глубокую, очень глубокую книгу, или научиться произносить вдохновенные проповеди, или дойти в понимании Талмуда до самых вершин, куда добирались лишь великие законоучители.

Но сказано, не делай из Торы мотыгу, не пытайся с ее помощью приобрести блага земные. Лишь ради Господа должно быть старание твое, к правде, к правде стремись!

Все это Зяма хорошо понимал и, отдавая себе отчет в своих же мечтах, четко осознавал, что его стремление к высотам духовности и есть то самое запретное действие превращения Божественного дара в землеройное орудия. Но ведь он не умел ничего другого и даже не представлял, где такое находят и как им после обнаружения пользуются. Поэтому, возвращаясь из заоблачных далей в душное помещение бейс мидраша, он каждый раз просил доброго Бога не держать зла на Зяму, а пожалеть и немножечко, ну совсем чуть-чуть взять да пособить!

И если Владыка мира не считает нужным помочь написать книгу или научиться красиво говорить, почему бы Ему не послать учителя, которому Зяма бы поверил до конца и пошел бы за ним, не оглядываясь, через море невзгод и несчастий. Ведь жизнь представлялась порушу грязным болотом, через которое необходимо перейти, да еще не испачкавшись.

Шли дни, недели, месяцы, ой-вей – годы! – а Всевышний упорно не предоставлял Зяме даже самой маленькой возможности. Оставалось лишь делать то, что умеешь, сжимая зубы до боли в деснах, и надеяться, надеяться, надеяться, пропуская мимо ушей наивную болтовню жителей Курува о святости юного поруша. Да, Зяма точно знал истинную цену своей святости, своему усердию, ночным бдениям и отстраненности от удовольствий этого мира.

Это случилось ранней весной, когда стужа отступила, и сугробы начали медленно оседать, с хрустом вспоминая о днях былой крепости. Стояла не по-весеннему студеная ночь, сосульки на крыше бейс мидраша, весь день истекавшие слезами разлуки с зимой, снова подмерзли.

Зяма проснулся и, открыв Талмуд, разбирал спор комментаторов. Отличия были весьма тонки, казалось бы, неуловимый поворот мысли переворачивал с ног на голову всю логику темы. Он пытался уловить этот поворот, но тот, словно серебряная плотвичка, раз за разом выскальзывал из ладони.

Зяма хлопал рукой по столешнице, поднимался, изумленно вытаращив глаза, мерил шагами зал и опять усаживался, снова и снова возвращаясь к одним и тем же строчкам. Как такое вообще могло прийти в голову комментатору? Откуда у человека появляется столь необычный взгляд на простые, привычные вещи?

Вот он, Зяма, не раз и не два изучал эту тему, топая по привычным хоженным дорожкам от вопросов к ответам. Перевернул каждый камень на этих дорожках, все цветы на обочине согрел прикосновением ладони, и казалось, мог бы пройти с закрытыми глазами туда и обратно. А вот, поди ж ты!

– Ничто так не ставит человека на место, как изучение Талмуда, – в сотый раз бормотал Зяма. – Если и были у меня заблуждения на собственный счет, то вот теперь они окончательно рассеялись. Ты дурак, Залман, кусок дерева, колода. Твоя голова годится лишь для ношения шапки. Где тебе сочинять книги, даже написанное другими ты понять не в состоянии!

С ожесточением хлопнув себя по лбу, он задел нос и взвыл от неожиданно острой боли. Из глаз сами собой хлынули слезы, боль распахнула ворота и скопившаяся горечь обиды на свою бесталанность, осознание того, что ничего в жизни не изменится, и он сидит там, где ему положено, поскольку делать ничего иного не умеет, а то, что умеет, умеет плохо и вообще ой-вей!

Стесняться было некого, и Зяма заплакал отчаянно и навзрыд, как ребенок, у которого отобрали пряник. Болел не только нос, лоб тоже ломил, словно по нему ударили не ладонью, а куском дерева.

Зяма поднял ладонь, потрогать саднящее место и вдруг ощутил в ладони что-то живое, трепещущее, скользкое, будто рыбка. А-а-а, вот же оно, вот! Смахнув слезы, он впился в текст. И все теперь выглядело по-иному, словно пелена с глаз упала. Ход рассуждений был четким и простым, только последний дурак мог не проследить ясной линии доказательств.

Он прошелся по комментарию еще три раза, отыскивая подвохи, капканы или ямы с укрытыми на дне кольями. Ничего, уютный, словно ласковый осенний день, комментарий дружески светился на прежде черной и угрюмой странице. Даже ровное, точно столбик, пламя единственной свечки вдруг стало казаться ярче, озарив скрывавшиеся в темноте углы зала. Зяма потянулся и встал со скамьи.

Нет, все-таки он не последний дурак! Дурак, конечно, но не последний! Разобраться в таком комментарии, у-у-у-у, честь тебе и хвала, Залман, низкий поклон в ножки. Вот сейчас можно со спокойной совестью выпить горячего чая.

С вечера Зяма засунул в прогоревшую печку чайник, и тот тихонько поскрипывал на чуть рдеющих углях. Печку к ночи истопили, разумеется, не в Зямину честь, раввин вел урок для зажиточных горожан, которые вовсе не намеревались мерзнуть в бейс мидраше. Чай в заварочном чайнике тоже остался от этого урока, поэтому сегодня можно было блаженствовать, попивая горячую ароматную жидкость.

Скрипнула входная дверь, и холодный воздух ворвался в бейс мидраш. Очертания человека, вошедшего с мороза, дымились и трепетали.

– Умоляю, горячего, – воскликнул незнакомец, направляясь прямоком к печке. – Умоляю, хоть крошку хлеба!

«Вот же замерз, бедолага, – подумал Зяма. – И ведь вроде уже не зима, а видать по ночам ещё прихватывает».

За всю прошедшую зиму он ни разу ночью не вышел на улицу, спал или учился, но понять незнакомца вполне мог. От ужина у Зямы оставался кусок медового пряника, он приберегал его для тяжелых предутренних часов, когда больше всего клонит ко сну. Налив полную кружку горячего чая, он щедро разломил пополам пряник и протянул незнакомцу. О, если бы он тогда знал, во что обернется ему эта щедрость, если бы он только знал!

Гость поблагодарил, сел на скамью, произнес благословение и начал есть. Ел он медленно, тщательно пережевывая каждую крошку, как это делают сведущие в Торе люди. Ведь еда очень важное, серьезное дело и относиться к нему следует со всей почтительностью. Набивают рот только невежды, поспешность за столом свидетельствует о грубости характера. Посмотри, как человек ест, и ты сразу увидишь, работал он над собой, улучшал ли свои духовные качества или продолжает оставаться животным.

Незнакомец был рыжим, как царь Довид. Рыжая, с полосами благородной проседи борода слегка дымилась с мороза, щеки покрывали мелкие рыжие веснушки, такие же были на кистях рук с длинными, чуть подрагивающими пальцами. Незнакомец перехватил удивленный взгляд Зямы, подкупающе улыбнулся и объяснил:

– Прошу прощения, я сбился с дороги. По полям блуждал, едва под лед не провалился на речке. Замерз, аж руки трясутся. Единственное окно, которое светится во всем местечке – твое. Чай и пряник просто Божье благословение, спасение души! Даже не знаю, как благодарить. Звать-то тебя как?

– Залман. Можно просто Зяма.

– А меня Самуил.

– Как, как? Шмуэль, наверное? – переспросил Зяма, удивившись, что гость произнес имя на нееврейский лад.

– Да нет, именно Самуил. Я вижу, ты не спишь, учишься, – гость указал на раскрытые книги.

– Да. Ночью время хорошее.

– А днем в сон не тянет? Работать не вредит? Чем ты на хлеб зарабатываешь?

И тут Зяма повторил ему свое присловье про Владыку мира, держащего все в Своей руке, и про то, что лишь на Него он полагается, только Ему верит и на Его милосердие уповаet.

– Очень похвальный подход, – радостно закивал Самуил. – Только вот, как ты объяснишь фразу из Писания: – Шесть дней работой и делай всякое дело свое? Разве сие не есть предписание Всевышнего?

– Ну, это просто, – в свою очередь улыбнулся Зяма. – Под работой Писание имеет в виду учение Торы и молитву.

– Но если так, зачем Писание повторяет: делай всякое дело свое? – ответил Самуил. – А ответ прост, работай, значит, учись и молись, а делай всякое дело, значит, зарабатывай на жизнь своими руками. Необходимо и то, и другое.

Зяма оторопел. Самуил разрушил тщательно возведенное им построение с такой легкостью, с какой лошадь, пришедшая на водопой, разрушает построенный детьми домик из песка. Приведенное им доказательство было простым и ясным, удивляло лишь одно, почему он сам до него не додумался!

– До рассвета еще далеко, – между тем произнес незнакомец. – Давай поучимся.

– Хорошо, – согласился, еще не пришедший в себя от изумления Зяма. – Я не совсем понимаю вот это, – и он указал на страницу, где до сих пор мягко переливался розовым и желтым хорошо разобранный комментарий.

«Посмотрим, посмотрим, – сказал он сам себе с некоторой долей злорадства, – Меня ты раскусил походя, но кто я такой? Почти свои зубы на серьезном оселке».

Самуил взял в руки книгу и тяжело вздохнул.

– Темновато. Буквы маленькие. Плохо вижу.

«Отговорка, – внутренне усмехнулся Зяма. – Просто отговорка».

Самуил придвинул мятый бронзовый подсвечник и толстым, ороговевшим ногтем снял нагар со свечи. Огонек пламени распрямился, и света ощутимо прибавилось. Откашливаясь и пофыркивая, Самуил принялся за чтение. Зяма следил за его бесстрастным, словно окаменевшим лицом, сам не понимая, чего он хочет: чтобы гость не справился с комментарием, или наоборот, сумел его понять и объяснить. Он вдруг почувствовал необъяснимую симпатию к этому человеку, словно к его сердцу прикоснулись невидимые пальцы и принялись нежно поглаживать.

– Я думаю, – отложив книгу, начал Самуил, – данное противоречие можно объяснить следующим образом.

И он начал пункт за пунктом раскладывать по полочкам то, к чему Зяма подбирался столь долго и столь мучительно. И не просто объяснять, он словно прочитал мысли Зямы и заговорил его словами, его оборотами речи, его интонациями. Это было непостижимо и удивительно, и настолько же прекрасно. Наверное, в

первый раз за все годы, проведенные за книгами, Зяма видел, как человек сходу перемахивает через сложнейшее препятствие, да еще умудряется объяснять способ его преодоления языком, понятным собеседнику. Вне всяких сомнений, Самуил обладал выдающимися учительскими способностями.

– Все понятно? – спросил тот, закончив объяснения.

– Все, – подтвердил Зяма.

– Тогда что ты скажешь вот на это? – и Самуил стал одним другим вытаскивать подводные камни, которые Зяма уже успел обнаружить.

– Добре, добре! – воскликнул Самуил, услышав ответы Залмана. И тут же перешел к теме из другого трактата Талмуда. До коротких часов перед рассветом они гуляли по широким полям Учения, и прогулка эта вовсе не выглядела увеселительной, а скорее походила на проверку. Самуил как-то сразу взял на себя роль экзаменатора, но это не тяготило Зяму. Ему нравился их быстрый, на первый взгляд беспорядочный разговор, перескоки с одного раздела на другой, внезапные, словно сабельные удары, вопросы, и кружево, кружево, кружево слов, таких знакомых, привычных, близких. Самуил говорил, а главное, мыслил почти как Зяма, и это сходство рождало понимание. Не успевал один из них закончить фразу, как другой уже начинал отвечать. Все это было очень, очень приятно.

– Да ты настоящий мудрец! – воскликнул Самуил, когда черные проемы окон стали наливаться серой водой рассвета. – Не ожидал встретить такого в Куруве!

Зяма смутился. Подобного ему еще никто не говорил. Положа руку на сердце, он бы никогда не подписался под этими словами Самуила. Но слышать их от такого знатока, а в том, что перед ним подлинный знаток Учения сомневаться не приходилось, было весьма лестно.

– Я, пожалуй, вздремну до молитвы, – сказал Самуил. – Где тут можно прилечь?

Зяма вытащил подушку и одеяло, уложил гостя на скамейке, где обычно спал сам, и вышел во двор. Обычно он очищал организм два-три раза в течение ночи, но сегодня из-за интересной беседы выйти не получилось. Отсутствовал он совсем недолго, однако вернувшись, обнаружил пустой бейс мидраш. Самуил ушел, его мнимый сон был просто уловкой, обманым приемом.

Зяма уже не сомневался, что его посетил скрытый цадик, ни-стар. Однажды ему довелось такого увидеть. Несколько лет назад, войдя в синагогу, Зяма сразу ощутил идущее справа тепло. Вначале он не понял, в чем дело, но на дворе стоял трескучий мороз, и любое тепло казалось благом. Не отдавая себе отчета, Зяма повернул на правую половину синагоги и только тогда сообразил, что печка расположена в левой.

Откуда же так волокло теплом? Зяма стал искать и быстро обнаружил источник – старичка в потертой одежде, уткнувшегося в молитвенник в последнем ряду. Не только одежда на нем была ветхой, но и сам он имел траченный молью вид, словно шерсть его седой бороды, густые завитки бровей, остатки шевелюры и плотные клоки, торчащие из ушей, годились в пищу прожорливым насекомым. Зяма подошел ближе, словно отыскивая свободное место, хотя его было предостаточно, и зачем-то стал перебирать лежавшие на столе книги. Да, от старика несло теплом, словно от печки с открытой заслонкой, но почему-то этого тепла никто, кроме Зямы, не замечал.

Боясь спугнуть, он бросил осторожный взгляд на незнакомца. Тот скрючился, согнулся, словно стараясь стать незаметнее, а молитвенник поднес так близко к лицу, что разобрать его черты не было никакой возможности.

– Кто это такой, там, у стенки в последнем ряду? – шепотом спросил Зяма старосту, подойдя к почетным местам у восточной стены.

– Да почему я знаю, – ответил тот, доставая из бархатного кيسета тяжелые кубики тфилин. – Нищеврод какой-то, мало их через Курув ходит? Вот начнет после молитвы милостыню просить, тогда и разглядишь.

После молитвы Зяма сам хотел подойти к старику, но постеснялся. Предложить ему было нечего, даже кусок хлеба у него был не свой, а дареный, и не ему, а старикам-родителям. Оставалось лишь глядеть издали, видя, чуя, что перед ним праведник. Если бы спросили его, почему он так решил, на основании каких данных пришел к столь незаурядному выводу, Зяма вряд ли бы сумел объяснить. Есть вещи, о которых душа сама все знает, а другому не втолкуешь, как бы долго ни пришлось говорить.

От Самуила не исходило тепло, он был каким-то обыденным, рядовым, будничным. Попадись он Зяме на рынке или на улице,

прошел бы мимо, не обратив внимания. Но то, с какой легкостью Самуил летал по страницам сложнейших респонсов, как круто разворачивал известные темы в совершенно новом для Зямы направлении, само его ночное появление и внезапный уход, явно продиктованные нежеланием показаться людям, недостойным его лицезреть, однозначно говорило, нет, кричало – да, скрытый цадик!

Ах, как это грело Зямино самолюбие, истончившееся почти до кисейной толщины от трения о жесткую терку реальности. Возвращаясь домой, он смотрел на знакомые домишки, на привычную грязь под ногами, на спешащих по делам людей чуть свысока, словно ночная встреча с праведником приподняла его над суетным уровнем бытия.

Мать, как обычно, ждала его с нехитрым завтраком. Он тяжело сел, положив внезапно набрякшие руки на столешницу, и долго не мог заставить себя взять ложку. Усталость навалилась, точно медведь, возбуждение прошло, оставив дрожащую слабость, даже опустошенность, словно разговор с Самуилом отщипнул от него часть жизненности.

«Глупости, – подумал Зяма. – Праведник проверял меня, и это был не простой разговор, а серьезный экзамен, и я надеюсь, что выдержал его достойно. Разумеется, сил ушло больше, сам того не заметив, я выложился и потому устал больше обычного. Поем, отдохну, и все вернется».

Так и получилось. Проснувшись, он почувствовал прежнюю бодрость, сердце переполняли надежды, а голову мечты. Мысли крутились вокруг того, придет ли будущей ночью праведник. Его появление не могло быть случайным, как и проведенный им экзамен. Такую проверку устраивают при приеме в ешиву или для получения раввинского сана. Неужели Всевышний услышал его молитву и послал наставника? От дальнейших предположений кружилась голова, и Залман гнал их подальше, больше всего на свете боясь обмануться.

Он выпросил у матери кусок кугла из жирной лапши, две крепкие луковицы и немного соли в чистой тряпице. Ужинать не стал, а сразу улегся спать. Знал, вечером праведник не появится. Ведь «эт рацон», время, когда раскрываются врата небес и молитвы могут пробить твердь, отделяющую мир земной от мира духовного, начинается только после полуночи.

Не спалось. Он ворочался с боку на бок, то накрывался с головой, то сбрасывал одеяло, но сон бежал от его глаз. Наконец ему удалось провалиться в какое-то лихорадочное, беспокойное забытие, наполненное диковинными существами. Кошки на трехпалых, куриных ногах, колосья пшеницы со шляхетскими, лихо закрученными усами, щуки с глазами кроликов. Все это бегало, плавало, качалось вокруг него, издавая мучительные стоны, похожие на скрип разрезаемого стекла.

Его разбудил звук отворяемой двери. Зяма подскочил, уронил на пол подушку, путаясь, отбросил одеяло и поспешил навстречу входящему Самуилу. Сразу, без лишних разговоров, повел гостя к столу, где дожидался ужин. Увы, урока для богатеев тем вечером не было, и печку не топили, поэтому он мог предложить праведнику только холодный чай. Но Самуила, похоже, это вовсе не заботило. Он с удовольствием хрустел луковицей, усердно макая ее в соль, отщипывал кусочки кугла и прихлебывал чай так, словно его принесли прямо с огня.

Они говорили, говорили, говорили, будто молчали несколько месяцев. На сей раз, беседа походила на разговор друзей, каверзных вопросов Самуил больше не задавал. Он просто делился с Зямой своими мыслями о некоторых сокровенных частях Учения, говорил не как учитель с учеником, а как равный с равным.

«Значит, я выдержал экзамен, – с облегчением думал Зяма. – Конечно, иначе бы праведник вообще не пришел и не стал бы разговаривать в таком тоне».

Поддерживая беседу, он все время ждал нового поворота разговора. Ведь не для приятных пересудов приходит цадик ночью в бейс мидраш, не похрустеть луковицей и не похлебать холодный чай. Час проходил за часом, до рассвета оставалось совсем немного, а Самуил по-прежнему живо высказывался о мудреных талмудических проблемах, то и дело спрашивая мнение собеседника.

И вдруг, да-да, именно вдруг, когда Зяма почти потерял надежду, Самуил замолчал. В наступившей тишине было слышно, как где-то под полом шуршат мыши.

– Хочешь стать одним из нас? – вдруг спросил Самуил.

– Конечно, хочу! – вскричал Зяма. Он даже не стал спрашивать, из нас, это кем? Все было ясно без лишних слов.

– Тогда начнем, – коротко произнес Самуил.

Он ловко извлек из своей дорожной торбы кульмус, чернильницу и тонкую полоску пергамента. Положил на стол, быстро написал несколько строк, а затем принялся махать пергаментом, чтобы подсушить чернила. Взмахи были резкими и энергичными, полоска рассекала воздух с почти сабельным свистом.

Убедившись, что чернила высохли, Самуил скрутил пергамент в узкую трубочку, достал из той же торбы крохотную белую тряпочку, обернул и перевязал шнурком.

– Это камья, оберег, – сказал он, протягивая ее Зяме. – Носи всегда с собой. Только в баню снимай, и сразу, как вытрешься, надевай обратно. И по ночам больше не бодрствуй, по ночам спи.

– Как? – удивился Зяма, благоговейно принимая камью. – Ведь ночь – «эт рацон» – самое лучшее время для занятий.

– Не самое, ох, не самое. Послушай, что я тебе расскажу. Ты теперь один из нас, поэтому можно. Только сам понимаешь, все, о чем мы в дальнейшем будем говорить – не для чужих ушей. Ни родителям, ни братьям, ни лучшим друзьям, ни слова, ни полслова, ни четверть слова.

Зяма аж весь внутренне подобрался, сжал зубы, пытаясь удерживать торжествующую улыбку счастья. Вот, наконец, оно произошло, явился наставник и начинается сокровенная учеба! После стольких лет ожидания Всевышний вспомнил о нем, обратил на него Свое улыбающееся лицо и послал счастливое стечение обстоятельств!

– Все живое питается Божественным светом, – начал Самуил. Говорил он негромко, но каждое слово звучало увесисто, и в ночной тишине напоминало Зяме далекое погромыхиванье надвигающейся грозы.

– Авайе, имя Всевышнего несущее свет, употребляется только в единственном числе. Оно одно, подобно тому, как Он один. Имя Элоким существует только во множественном, потому, что распределяет этот свет каждому из бесчисленного множества существ, населяющих землю. Представь себе огромную бочку с водой, а из нее тянутся шланги к горшкам с цветами. Есть цветы, пьющие много воды, и шланг к ним подходит широкий. А есть нуждающиеся в каплях, к ним идет тоненькая кишечка, из которой капает по чуть-чуть. Каждому своя порция света.

Элоким – это не отдельная, упаси Боже, сущность, а инстру-

мент, обслуживающий Авайе. Нижний иерусалимский Храм был точным отражением верхнего, небесного. И Божественная энергия лилась потоком через его ворота и окна на землю. Когда нижний разрушили, поток энергии резко уменьшился, поэтому все на земле стало меньше. Да, до разрушения люди были выше и сильнее, и меньше болели, и жили дольше, плоды были крупнее, а урожаи более тучные.

Самуил отпил из кружки и взглянул на начинающие сереть окна.

– Ночью ворота в иерусалимском Храме запирались, отсюда мы понимаем, что и в верхнем происходит то же самое. Верхний Храм не разрушен, он существует и все на земле живет благодаря ему. Но если ночью Божественная энергия не спускается вниз, как же все сущее продолжает существовать?

А вот так, энергия идет кружным путем, через ангелов по имени Кроваим. Но эти ангелы, хоть и Божьи творения, однако те еще штучки! Лучшую, высокую часть энергии они забирают себе, а худшую, почти мусор, сбрасывают вниз. Поэтому ночью пробуждаются самые низменные чувства, грубые эмоции, греховные помыслы. Разум мира спит, а плоть правит. И понимающим известно, что после полуночи ничего хорошего не выучишь и не поймешь. Ночью нужно спать вместе с разумом мира, а утром встать с новыми силами и приниматься за учебу, понял?

Зяма буквально онемел, сказанное переворачивало его представления с ног на голову. Вот это урок! Вот это скрытый праведник! От прикосновения к тайне, от сладостного чувства причастности его била дрожь.

– Ох, еще как понял, – еле вымолвил Зяма. – Так и сделаю. Как вы велите, так все и сделаю.

– Хорошо, – Самуил встал из-за стола, словно дожидался именно этих слов. – Я ухожу, а камешка будет тебя вести. Ни о чем не беспокойся, выходи на дорогу, она сама подскажет направление. Если собьешься или заблудишься, я сразу вернусь. Но постарайся быть самостоятельным. Это очень важно, научиться ходить без помочей. Помни, главные шаги в своей жизни нистар делает сам.

Самуил ушел, а Зяма еще долго сидел, не веря собственному счастью. Да, вот так вот просто и происходят невероятные вещи,

чудеса, дела дивные! Открывается дверь, заходит скрытый праведник, и вся жизнь внезапно приобретает иное значение и новый смысл.

– Он назвал меня нистаром, – в сотый раз повторял Зяма. – Да, он четко и внятно произнес это слово, и не менее ясно сказал, что и я иду по этому пути! Да, да, да, да, я иду путем нистаров, скрытых праведников! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Он вскочил на ноги и от избытка чувств запрыгал, заскакал по бейс мидрашу в неумелом танце радости.

Начиная с того дня, вернее с той ночи, жизнь Зямы пошла по иному руслу. Он ничего не сказал ни родителям, ни соученикам. Зачем? Скрытое знание потому и называется скрытым, что о нем не болтают и не хвастают, а всячески прячут от посторонних глаз и ушей. А посторонний тут весь мир, все-все, кроме узкого круга избранных, посвященных в тайну.

Как и прежде, вечером, после того, как бейс мидраш пустел, он сидел часок над книгами, потом ужинал и ложился спать. И вот тут начиналось неизведанное, открывалась прежде закрытая страница бытия.

Сон наваливался сразу, стоило ему опустить голову на подушку. словно обморок, он подчинял Зяму полностью, глубоко и беспробудно. Он никогда в жизни не спал так крепко, с таким полным отрывом от реальности. До сих пор сон его был чутким, он мог пробудиться от треска пересохшей половицы, или от удара о наличник сорвавшейся с крыши сосульки. Теперь он словно переходил из одной жизни в другую. Там, за черным пологом смежившихся век, Зяма проживал ночную судьбу, о которой, пробудившись, почти ничего не помнил. Знал лишь, что она существует, причем такая же явственная, как дневная.

Но вот, что удивительно, глубокий и крепкий сон почему-то не приносил отдохновения. Чем дольше Зяма спал, тем хуже чувствовал себя по утрам. Все тело ныло, будто он не лежал на лавке в бейс мидраше, укрывшись одеялом, а бегал по лесу.

Но утренняя усталость и необъяснимые боли в мышцах были ничем по сравнению с удивительными прозрениями, то и дело вспыхивавшими в его уме, точно молнии в темноте грозовой ночи. Он перестал нуждаться в книгах, садясь за том Талмуда, он прикрывал глаза и словно начинал вспоминать. Диковинные слова и

понятия сами собой всплывали в его памяти. То, что раньше приходилось добывать кропотливым трудом, теперь непонятно как приходило ему на ум.

И не просто приходило, это были фантастические по полету идеи, дерзкие нападки на, казалось бы, незыблемые устои, заложенные комментаторами прошлых столетий, парадоксальные логические построения. Все, что прежде восхищало Зяму в книгах знаменитых предшественников, что непреложно показывало пропасть между его ученическим умом и величием кодификаторов прошлого – увы!увы! – теперь запросто крутилось в его голове. Надо было взять кульмус и записывать эти мысли, но Зяма не то-ропился.

Во-первых, он хотел не трудиться над пергаментом, загоняя в желоб строки вольный полет мысли, а наслаждаться этим, ничем не сдерживаемым полетом, каждый день проходившим у него за чуть прикрытыми веками.

А во-вторых... во-вторых, у Зямы просто не было сил вести записи. Кульмус в руке дрожал, а глаза сами собой закрывались. Видимо, учеба проходила во сне, объяснял сам себе Зяма происходящее, а тело сопротивлялось новому, извне вторгавшемуся в сознание. Тело протестовало, тело боялось, тело не желало перемен.

Через неделю он сдался. Спина ныла, руки подрагивали, на коленях непонятно откуда появились кровоточащие ссадины, а шею невозможно было повернуть, не ойкнув от острой боли. Несмотря на данное Самуилу обещание, Зяма решил сделать перерыв.

«Видимо, я еще не готов к такому резкому подъему, – сказал он себе. – Или неправильно понял указания праведника. Или этот путь вообще не для меня, увы».

Камею он запрятал в никем не открываемой книге раввинских респонсов прошлого века. Там она могла пролежать в целости и сохранности до самого прихода Машиаха. Укладываясь на лавку, Зяма рассчитывал встать после полуночи и взяться за учебу, однако сон по-прежнему навалился на него ватной грудью.

Спал Зяма плохо, ворочался, вставал, пил воду, но сбросить с себя морок оцепенения не получалось. Он возвращался на лавку, опускал голову на подушку и опять впадал в полузабытье. Не получилось ни выспаться, ни поучиться, он окончательно проснулся

перед рассветом и, не находя себе места, пошел в синагогу.

Следующей ночью Зяма решил вообще не ложиться, а провести ее в бейс мидраше над книгами. Он знал, он чувствовал, Самуил обязательно придет, поэтому щедро намазал ломоть хлеба гусиным жиром, посолил, завернул в чистую тряпицу вареное яйцо и пару долек чеснока. Печка была еще горячей, он сунул в нее чайник, разложил еду на столе, открыл книгу и стал ждать.

Предчувствие не обмануло, Самуил появился вскоре после полуночи. Как и в предыдущие два раза, он весь трепетал и дымился, хоть на улице уже не было так морозно. Вместо приветствия Зяма указал на еду, праведник благодарно кивнул и пошел омыть руки перед вкушением хлеба. Зяма двинулся следом, посмотреть. Недавно он завершил изучение трактата Талмуда «Ядаим» – «Руки» – и хотел увидеть, как совершает ритуальное омовение скрытый праведник.

Самуил все сделал по самым строгим правилам. И руки держал ковшиком, и поднял их вверх, дав стечь воде на запястья, и потер, прежде чем вытереть. Благословил, откусил кусочек и улыбнулся.

– Проверяешь меня, Зяма?

Смутился Зяма, опустил голову.

– Проверяй, проверяй, – добродушно произнес Самуил. – Без проверок нет доверия.

– Ох, совсем забыл, – спохватился Зяма. – Вот, пожалуйста!

Он развернул тряпицу и положил на стол перед Самуилом яйцо и чеснок.

– Нет-нет, – решительно воспротивился Самуил. – Яйцо с преевельким удовольствием, а вот это уберй. Терпеть не могу чеснок.

– Почему?

– Запах не люблю, – поморщился Самуил.

Зяма не смог сдержать гримасу удивления. Чеснок в Куруве ели с утра до вечера, еврей и не еврей, застенчивые девушки и заскорузлые старики, гибкие молодки и крепкие парни, все, все благоухали чесноком. Его запах витал в синагоге и в костеле, царил на рыночной площади, всецело правил в шинке. Он был настолько вездесущим и привычным, что его давно уже перестали замечать, как не замечает здоровый человек своего здоровья, как рыба не понимает, что плавает в воде, пока ее оттуда не вытащат. Он открыл рот, чтобы спросить об этом праведника, но Самуил опере-

дил его.

– Вот ты лучше мне скажи, зачем камео снял?

– Устал, – честно признался Зяма. – Я помню о своем обещании, но решил немного отдохнуть. Руки, ноги, шея, спина – все болит. Тело не принимает знание. Вернее, принимает, но с трудом.

– Не совсем так, Зяма, не совсем так, – с укоризной произнес Самуил. – Твоя бедная плоть, загнанная тобою лошадка, привыкла питаться отбросами ангелов. Ты приучил ее к мусору, а сейчас она стала получать высокую духовную пищу. Скажи, только честно, ведь теперь днем, открывая книги, ты стал понимать то, о чем раньше и не подозревал?

– Да! – воскликнул Зяма. – Истинно так! Но мое тело не может вместить столь высокую пищу. Этот сосуд мал и грязен, – и он ударил себя кулаком в грудь, словно во время покаянной молитвы Дня Искупления.

– Не совсем так, Зяма, не совсем так, – повторил Самуил. – Любое человеческое тело не может принимать духовность, оно ведь по своей природе ей противоположно. Материя отторгает дух, тело хочет привычный и правильный для нее мусор, сопротивляется, бьется насмерть. Отсюда и боли в мышцах и даже царапины. Ты ведь знаешь, у иноверцев, которые представляют себя распятыми, подобно своему божеству, на кистях рук появляются стигмы, кровоточащие раны, точно следы от гвоздей. Вот и тело твое, сопротивляясь духовности, так же может выработать что угодно. Синяки, царапины, следы укусов, даже кровавые разрезы.

Не удивляйся, принимай это спокойно. Идет война, война между духом и плотью и мы победим, Залман, вместе мы обязательно победим. И тогда тело перестанет быть преградой для постижения духовного, станет не врагом, а помощником. Но, – Самуил улыбнулся, – это длинный путь, со многими преградами.

– То есть тело станет меньше плотским, да? – спросил Зяма, начиная понимать, почему при появлении в бейс мидраше ему казалось, будто Самуил слегка дымится или плывет.

– Да, именно так. Ты все понял правильно. А теперь за работу.

Зяма молча встал, вытащил из книги в шкафу спрятанную камео и снова повесил на шею. Самуил доел, произнес благо-

словение после трапезы и встал.

– Спать, спать Залман, – приказал он. – Дорога каждая ночь. Ты и так потерял много времени.

Он вышел из бейс мидраша, тихонько притворив за собой дверь, а Зяма еще долго сидел, переваривая услышанное от ни-стара.

«Но как же все-таки мне повезло! За что Самуил выбрал именно меня из тысяч других, таких же усердных и незаметных учеников? Ведь, если посчитать, сколько сейчас в Галиции, Польше, Румынии, Венгрии, Австрии, России сидят над книгами молодых евреев, мечтающих попасть в ученики к скрытому праведнику. И как мал этот шанс, как неуловимо и мимолетно счастливое стечение обстоятельств, как должен я благодарить Всевышнего, за то, что Он все-таки услышал молитвы моего сердца!»

Глаза сами собой стали слипаться, Зяма улегся на лавку и через несколько минут потек, поплыл, закачался, уносимый волнами сновидений.

Так прошло много недель. Дневные открытия продолжались, унося его в дивные поля чудесных, сладостных тайных знаний. На каждое ранее выученное им правило, на каждый поворот мысли, на каждый закон, параграф, примечание существовал свой, скрытый от посторонних глаз комментарий, иногда живущий в согласии с общепринятым, а иногда полностью его опровергающий. Чтобы бродить по этим тропкам Зяме не требовались книги, у него в голове пряталась целая библиотека, которой он раньше не умел пользоваться. Оказывается, память цепко держала все, когда-либо им прочитанное или услышанное, он просто не знал, как отворить ее дверцы. И вот сейчас с помощью камеи эти дверцы не просто открылись, а распахнулись во всю ширь, до предела.

Иногда, забавы ради, Зяма пытался вспомнить то, что учил в хейдере, шестилетним ребенком. Все, он вспоминал все, и занудный голос меламеда, повторяющего нараспев: то шма, бо вз-тишма, маше Тора кдойша раца леагид¹, и потрепанные страницы книг, и уроки, которые он не выучил, и которые выучил.

Зяма будто снова проживал минуты своей жизни, которые пы-

¹ Приди и выслушай, что святая Тора хочет сказать.

тался вспомнить, проживал со всей отчетливостью и ясностью, словно и вправду находился сейчас не в бейс мидраше Курува, а сидел на лавке в тесной комнатке перед грозным меламедом. Это было безумно интересно, и поглощало все его внимание без остатка.

Ночная жизнь тоже не стояла на месте. Мышцы продолжали болеть, к царапинам добавились обломанные ногти, мозоли на ступнях, стертые пятки. Однажды его одежда пропахла гарью, а руки как будто подкоптились от жара пламени.

«Чего только не придумывает мое тело в борьбе с моим же духом?!» – дивился Зяма. После беседы с Самуилом все эти фокусы уже не занимали его внимания. Он попросту шел мимо, взирая на них с изрядной долей отрешенности, как смотрит идущий по улице прохожий на козу за плетнем.

А картины, сами собой всплывавшие в его мозгу, становились все сложнее и все занятнее. Теперь он часами сидел с закрытыми глазами, рассматривая и обдумывая показанное. Пригодилось умение долго размышлять над одной темой, впадая в полную сосредоточенность. Чтобы не пугать соседей по бейс мидрашу, он раскрывал книгу, опирал голову на руки, пряча глаза, и сидел, сидел, сидел, витая, воспаряя и наслаждаясь.

Между тем, в Куруве происходили странные вещи. Банда негодяев, скорее всего иноверцев из окрестных сел, принялась чинить пакости евреям. В колодцах стали находитьдохлых кошек, в запасенном на зиму сене – ржавые гвозди и колючки. Дверные ручки обмазывали дегтем, а в общественном туалете на женской половине двора синагоги кто-то подпилил доски и грузная ребецн, войдя первой перед утренней молитвой, провалилась в выгребную яму.

На негодяев устраивали засады, но, видимо, доносчик ставил их в известность, и в те ночи они не приходили. Тогда принялись расставлять капканы, как на волков. Возле дверей в синагогу и бейс мидраш, на лестнице, ведущую в женскую половину, просто посреди двора. Бесплезно, какое-то шестое чувство помогало бандитам обходить капканы и вершить свои пакости.

Ручки все равно оказывались обмазанными, причем уже не дегтем, а навозом, а в капканы ради насмешки засовывали выкраденные из синагоги молитвенники. Лишь однажды сторожу

удалось заметить черный силуэт одного из негодяев. Он двигался с такой скоростью, словно это был не человек, а борзая собака. Негодяй пронесся мимо сторожа, и пока тот замахивался колотушкой, чтобы поднять тревогу, успел пробежать мимо двери в бейс мидраш, перепрыгнуть через капкан, мазнуть навозом по двери, порогу и ручке и так же стремительно исчезнуть.

– Вы бы не успели сказать «шолом тебе ребе», как этот паскудник успел провернуть свои черные дела и убежать вниз по улице, – не уставал повторять изумленный сторож.

В довершение всех бед посреди ночи кто-то запер и поджег коровник. Хозяева проснулись от жалобного рева животного. Выскочили, выбили дверь, корова выбежала, но шерсть на ней уже дымилась. Бедняжка околела через два дня, оставив детей без молока, а целую семью без заработка. Надо было срочно что-то предпринимать, но что именно, никому в Куруве не приходило в голову.

Однажды Зяма, проснувшись, обнаружил под подушкой что-то твердое. Подняв подушку, он с изумлением обнаружил обитую алым бархатом шкатулку. Внутри, на таком же бархате, сияли и переливались в лучах утреннего солнца бриллиантовые серьги, бриллиантовый кулон на золотой цепочке и бриллиантовое кольцо. Он видел нечто подобное один в раз жизни, когда через местечко проезжала коляска из соседнего имения. Пан и пани сидели, удобно откинувшись на кожаные подушки, и бриллианты в ушах пани пускали острые лучики на покосившиеся стены ветхих избенок.

«Но откуда это сокровище взялось у меня под подушкой? – лихорадочно пытался понять Зяма, закрыв шкатулку. – Кто его туда положил? Только Самуил, несомненно, Самуил. Больше просто некому! Кому в нищем Куруве может прийти в голову подсовывать бриллианты под подушку порушу? Нет, это явно новая ступень лестницы, по которой я начал подниматься. Но все-таки, почему именно бриллианты? Как драгоценности могут способствовать моей духовной работе? Неужели испытание – поглядеть, не кружится ли голова от блеска этих побрякушек?»

Зяма презрительно улыбнулся и снова открыл шкатулку. Сияние драгоценных камней слепило.

«А ведь это не просто украшения, – с отчетливой ясностью подумал Зяма. – Это огромные деньги, способные навсегда избавить

от бедности и меня, и моих родителей, и сестер и братьев. Н-е-е-т, тут, несомненно, скрыт подвох, но какой, какой? Надо спросить Самуила, когда тот появится!»

Самуил появился той же ночью.

– Разве ты не веришь, что для Всевышнего нет ничего невозможного? – с иронической улыбкой спросил он.

– Верю! – воскликнул Зяма. – Конечно, верю!

– Вот Владыка мира и усудобил тебе шкатулку с драгоценностями!

– Но...но... – промямлил Зяма. – Мир управляется определенными законами, Создатель не станет просто так их нарушать. Я понимаю, рассечь Красное море, чтобы спасти народ, или негсгорающий куст для разговора с Мойше-рабейну. Но ради меня, зачем совершать такое чудо, ради меня?

– Ты помнишь историю про рабби Акиву? – прищурившись, спросил Самуил. – Однажды его ученики пожалели о том, что отдалились от мира и посвятили всю жизнь учению, хотя могли бы заняться торговлей и разбогатеть. Тогда рабби Акива отвел их в ущелье между галилейскими горами, произнес несколько слов, и оно наполнилось золотыми монетами. Настоящими, а не мнимыми. Кто хочет, пусть возьмет, сказал рабби Акива ученикам, но пусть знает, что это золото вычитается из его доли в будущем мире. И никто не взял, ни один ученик. В это ты веришь?

– Так то же рабби Акива, – смущенно произнес Зяма.

– А что изменилось? Поверь, что и в наши дни живут люди, умеющие совершать нечто подобное. Веришь?

– Верю! – с жаром воскликнул Зяма. Он и раньше не сомневался, что скрытый праведник может творить любые чудеса, а сейчас Самуил явно и однозначно намекал на себя самого, на свою силу, сравнимую с силой самого рабби Акивы. Ой-ей-ей, было от чего закружиться и без того утратившей ясность Зяминой головушке. Самуил оценил лихорадочный блеск глаз ученика и решил нанести последний удар.

– Вот и замечательно, коли веришь. Знай же, шкатулку я тебе подложил.

– Зачем?! Если эти бриллианты за счет моей доли в будущем мире, я отказываюсь...

– Постой, постой, – Самуил остановил его решительным жестом руки. – Эти драгоценности вовсе не для твоего будущего мира, а для нынешнего, нашего.

– Что вы имеете в виду? – пробормотал сбитый с толку Зяма. – Зачем мне эти цацки? Только продать и ... – Самуил снова поднял руку, останавливая ученика.

– Пора тебе достичь цельности. Мужчина без женщины, точно рассеченное надвое яблоко. Надо жениться.

– Мне? Да куда... какая девушка пойдет за нищего ...

– Я, Самуил, отдам за тебя мою дочь. Она тоже из наших, продвинутых. С ней ты станешь не подниматься со ступеньку на ступеньку по лестнице учения, а полетишь вверх, как птица. Драгоценности в шкатулке употребишь следующим образом: кольцо для обручения, а все остальное – приданное. Думать о деньгах тебе больше не придется. Согласен?

– Конечно!

– Тогда следующей ночью не спеши ложиться, я приведу дочь. Познакомитесь, поговорите, приглядитесь – супруги должны нравиться один другому. Если этого нет, нет и семьи.

Весь следующий день Зяма не находил себе места. Книги он даже не открывал, ушел из бейс мидраша и бродил по полям вокруг Курува. Думал, готовился, волновался.

«Конечно, лучшей жены, чем дочь скрытого праведника не отыскать. Да и она сама, как сказал Самуил – одна из наших. Но вдруг девушка уродлива, может же такое быть? Конечно, может. Или просто не придется по сердцу. Ведь до сих пор мне не нравилась ни одна девица. Глупые, самовлюбленные, писклявые создания с кучей претензий. И болтают без умолку, подобно моим сестрам.

Нет, дочь праведника не должна походить на моих пустоголовых сестричек. И приданое Самуил дает, о-го-го! Правда, что мне это приданое, ем я черный хлеб с луковицей, один кафтан ношу годами, сплю на лавке в бейс мидраше. Лишь бы девушка по сердцу пришлась...

А если нет, как тогда быть? Отказаться, обидеть не только ее, но и отца, Самуила. Он, конечно, сделает вид, будто все в порядке, но у праведника тоже есть отцовские чувства, и он хочет счастья для дочери. Выбрал меня, а я нос отворочу. Невозможно,

немыслимо! Боюсь, что на этом учебе моей придет конец. Нет, он продолжит, разумеется, возиться со мной, но уже не так, и не столько. Вот и загублю я свой счастливый случай, удачное стечение обстоятельств, посланное Всевышним!

Женитьба по расчету не самое большое зло в жизни. Тысячи, сотни тысяч людей делают это из-за денег, продвижения по работе, поиска протекции. Мой расчет святой – учеба у скрытого праведника. Ради этого я готов на все, и уверен, что Всевышний поможет. Да, поможет сделать счастливым даже брак по расчету.»

Долгая прогулка, размышления и свежий воздух сделали свое дело. Под вечер Зяма успокоился и вернулся в бейс мидраш в приподнятом состоянии духа. Он был готов ко всему, жизнь – наконец-то! – начала поворачиваться к нему доброй стороной, и будущее рядом с нистаром и его дочкой, как бы она ни выглядела, представлялось наполненным удачей и духовным возвышением.

Дверь в бейс мидраш отворилась вскоре после полуночи. Вошел улыбающийся Самуил, а за ним, закутанная в темный плавок, так, что видны были только глаза, девушка.

«Ох, я так и знал! – ударило сердце Зямы. – Дурнушка, оттого и лицо прячет. Ох, ох, ох...»

– Простите, у вас не найдется горячего чаю? – вместо приветствия произнесла девушка. – Я так озябла, на улице настоящий колотун!

Голос у нее были низкий, чуть хриловатый, видимо с мороза, и очень волнующий. Зяма никогда еще не слышал таких интонаций, от них его сердце затрепетало, как птица в силке птицелова, и сделало несколько лишних ударов.

– Да-да, есть, печку сегодня топили!

Он засуетился, налил вторую кружку для Самуила, одобрительно поглядывавшего на его сбивчивые движения, поставил на стол и сделал приглашающий жест. Кроме чая у Зямы ничего не было, он долго думал, какое угощение принести, и в конце концов решил обойтись без него. Ну, не предлагать же девушке похрустеть луковицей или испачкать пальцы об остатки выпрошенного у матери кугла?

Та благодарно кивнула, села на скамью, приподняла платок, занесла под него кружку и принялась пить.

«О Боже, – содрогнулся Зяма, – почему она так явно прячет лицо? Неужели кожная болезнь? Вот этого я не смогу вынести!»

Девушка допила чай, вернула кружку на стол и, словно отвечая на мысли Зямы, двумя плавными движениями сняла платок. Тот глянул и обомлел. Такой красавицы ему еще не доводилось встречать!

Огромные миндалевидные глаза, черные, как ночь за окном, алые губы, высокий чистый лоб, румяные щеки, соболиные брови, смуглая, покрытая персиковым пушком кожа, рыжие как у отца, сияющие волосы. Но главным, самым главным было то, что во всех этих чертах, красивых по отдельности, существовала какая-то изумительная пропорциональность и согласие, гармония красоты, от которой у Зямы перехватило дыхание.

– Мою дочь зовут Михаль, – произнес Самуил. – Я ей про тебя уже все рассказал, а вот тебе про нее скажу лишь два слова. Она скромна, словно прамактер Сара, а умна и начитана, точно Брурия, жена ребе Меира Чудотворца. Если тебе захочется обсудить сложный вопрос из Талмуда, не нужно искать раввина, можешь смело обращаться к жене.

– Отец, отец, – возразила Михаль, – мы с Залманом еще ничего не решили.

От ее «мы» у Зямы по спине побежали мурашки. Неужели эта неземная красавица, с которой можно обсуждать Талмуд, станет спать с ним в одной постели, готовить для него еду, рожать и воспитывать детей?!

– Мне кажется, – усмехнулся Самуил, – все уже все решено. Залман, готов ли ты взять в жену мою дочь, Михаль?

– Да, да, да!– вскричал Залман.

– Михаль, готова ли ты выйти замуж за Залмана?

– Да, – еле слышно произнесла девушка, заливаясь ярким румянцем.

– Будьте счастливы, дети мои, – воскликнул Самуил и его глаза подозрительно заблестели. – Я счастлив, что дожил до этой минуты, увидеть дочь рядом с достойным.

Он помедлил несколько секунд, а затем продолжил.

– Что ж, тогда завтра же устроим помолвку. Прямо здесь, в бейс мидраше

– Как, прямо здесь?! – изумился Зяма. – Я же должен сказать родителям, пригласить родственников. Надо приготовить угощение, купить водки... – Самуил остановил его, протестующим взма-

хом ладони.

– Забыл тебя предупредить. Мы не любим света, людских глаз, шумных компаний. Стараемся избегать любой огласки, как можно меньше показываться на людях, уходить в тень, обходиться без свидетелей. Наши лица могут видеть только посвященные, самый близкий, ограниченный круг. Свадьбу, деваться некуда, придется делать, как у всех, но помолвку необходимо скрыть.

Помолвка просто символическая церемония, главное в ней то, что юноша и девушка дают друг другу обязательство. Моего присутствия, в качестве свидетеля, вполне достаточно, а лишние глаза и нескромные взгляды, без которых, увы, не обойтись, нам ни к чему. Михаль их очень не любит, ведь она – само воплощение скромности. Все достоинство царской дочери спрятано внутри ее дома, ведь так же сказано в писании?

– Да-да, – подтвердила Михаль, – отец прав.

От ее низкого голоса Зяму затрясло. Ему захотелось немедленно, прямо сейчас заключить девушку в объятия, прижаться к ней все телом и... Что дальше, он плохо себе представлял, ведь до сих пор единственная женщина, к которой он прикасался, была его мать. Но какое-то подспудное, внутреннее знание вело его за собой, вернее тащило безжалостно, точно щенка за привязанную к шее веревку.

– Учись, учись Зяма, мотай на ус, – завершил свою речь праведник, поднимаясь из-за стола. Михаль встала вслед за отцом, и они направились к выходу. У порога отец и дочь повернулись попрощаться, и Михаль одарила Зяму взглядом, от которого кровь закипела в его жилах. Оторопь поруша не ускользнула от глаза нистара, он улыбнулся и заметил:

– Ну, ты это, завтра приготовь для невесты что-нибудь вкусненькое, девушки любят сладкое.

– Конечно! – вскричал Залман. Он хотел еще говорить и говорить, а главное смотреть в мерцающие глаза своей невесты, но дверь закрылась, и он снова остался один в пустом полутемном бейс мидраше.

Темнота была ему привычна, он ведь провел тут сотни ночей, прислушиваясь к потрескиванию свечи, к тому, как хрипло кричит свое «кау-кау» ночная выпь, как под утро начинают ворковать на крыше просыпающиеся голуби. Знакомая, привычная, обстановка,

родные стены, которые защищают и спасают, возвращая мыслям обычный ход и распорядок.

«Ну, как ни крути, все это выглядит более чем странно, – думал Зяма. – Первый раз в жизни я слышу о помолвке без близких родственников, без раввина, двух свидетелей, без торжественной трапезы. Откуда такое неодолимое желание прятаться?»

А с другой стороны, много мне известно про обычаи скрытых праведников? Возможно, именно так они себя и ведут. Теперь я вышел на этот путь, надеясь, что когда-нибудь стану одним из них. А это значит, надо много и много учиться, держать уши наостро, а глаза широко распахнутыми. Ведь никого нельзя ничему научить, можно только самому научиться. Самуил показывает, а я обязан ловить на лету. Вон же не зря он сказал два раза: учишь, учишь. Значит, надо учиться».

Эту ночь Зяма спал легко. Утром ничего не болело, ночные страхи отошли, уступив место хорошему настроению. Он сходил в баню, окунулся в микву и отправился к Фане-стряпухе за тейгlex.

О, тому, кто не вкушал Фаниных тейгlex, не знакомы ни подлинная радость, ни высокое наслаждение. Замотанный бедностью, понуренный миллионом забот еврей, откусив небольшой кусочек, вдруг начинал понимать, какая награда ожидает его в будущем мире за все страдания и унижения в этом.

Казалось, что особенного может быть в сваренном в меду тесте? А вот, поди ж ты, у Фани оно получалось таким, будто не она готовила это лакомство, а сами ангелы, спустившись с заоблачных высот, месили тесто святыми мягкими руками и опускали его в горячий, пышущий ароматом мед.

Зяма долго стоял на кухне у Фани, примериваясь, приглядываясь и принюхиваясь к горке рассыпчатых медовых тейгlex; каждый кусок размером с кулачок трехлетнего ребенка.

– Попробуй, попробуй, – предложила стряпуха, видя нерешительность Зямы, и протянула ему посыпанный маком кусок. Зяма произнес благословение и начал грызть хрустящий пряник, сгрыз которого напоминал склеенные потемневшим медом мелкие фасольки. Как только рот наполнился дивным вкусом, в голове сама собой возникла мысль: – А ведь Михаль куда слаще, чем тейгlex!

Зяма уже привык к самостоятельно возникающим мыслям, но до сих пор они касались только Знания. А тут, а тут, а тут... Его так понесло по неведомым до сих пор уладам, так жарко с головой макнуло в горячие глубины сластотерпия, что он едва не выронил из рук тейглех.

Вечером, облаченный в субботние одежды, он никак не мог дождаться полуночи. Обуреваемый волнением, Зяма без устали вышагивал по бейс мидрашу, накручивая круги вокруг стола, где прикрытая чистым полотенцем высилась горка тейглех.

Михаль пришла, трепещущая, как листва под ветром, плывущая в ворохе рыжих волос, осиянная блеском черных глаз, и от всего этого роскошного, предназначенного для него великолепия, у Зямы поплыла голова. Остолбеневший, он замер возле стола, не в силах двинуться с места, не в состоянии придумать слова приветствия. И тут ему явилась – опять сама собой! – счастливая мысль.

– Вот, пожалуйста, Михаль, – сказал он, отворачивая полотно над тейглех. – Попробуй, это вкусно!

Ах, как хорошо, что Самуил надоумил про сласти, иначе бы он просто не знал, с чего начать.

– Спасибо, милый! – ласково ответила Михаль, и от ее низкого голоса Зяму пробилась дрожь. Что-то было волнующее в каждом звуке, воздух плыл и плавился, плавился и плыл, и его раскаленные волны катились прямо под ложечку Зяме, а из-под нее жаром оплывали вниз, вниз, вниз, совершая постыдное и сладостное действие с его прежде столь послушным органом.

Михаль взяла один тейглах, откусила и зажмурилась от удовольствия.

– Ох, до чего вкусно, милый, до чего сладко!

Они стояли друг против друга, и хотя Михаль говорила о прянике, Зяма понимал, что речь идет совсем о другом. Пока еще недоступном и запретном, но обещающим скоро, совсем скоро торжественно пересечь линию широко распахнутых ворот.

– А где кольцо? – спросил Самуил. – То, которое ты обнаружил под подушкой.

– Сейчас, сейчас, – заторопился Зяма. Он полез в глубины книжного шкафа и вытащил шкатулку из-за покрытых пылью томов раввинских респонсов. Кроме него к этим книгам никто не притрагивался много-много лет, лучшего тайника невозможно было оты-

скать во всем Куруве.

Кольцо засияло, заискрилось, заблестело, покалывая глаза острыми лучиками.

– Поднеси кольцо к указательному пальчику Михаль, – велел Самуил, и Зяма, не раздумывая, выполнил его приказание.

– А теперь повторяй за мной: вот ты посвящаешься мне этим кольцом по нашему закону.

Зяма слегка удивился изменению формулировки, но произнес эти слова и надел кольцо на протянутый Михаль пальчик. Пальчик был горячий и нервно вздрагивающий, сердце Зямы сначала ухнуло в глубокую яму, а оттуда вознеслось на высокую гору.

– А теперь поцелуй свою жену, – вскричал Самуил.

– Как жену? – оторопел Зяма. – А хупа, а свидетели, а бокал с вином, благословения, ктуба наконец? В наших книгах совсем по-другому написано?!

Что-что, а порядок бракосочетания Зяма знал назубок. Понимая, что когда-нибудь ему придется сдавать экзамен на получение раввинского сана, он потихоньку штудировал главные разделы закона, с которыми чаще всего приходят к раввину посетители. Супружеские отношения, кашрут – еврейские диетарные законы, убой скота, суббота, праздники, порядок ведения молитв – параграфы этих законов он прошел не по одному разу. То, что сейчас сделал Самуил, было пустым сотрясением воздуха, и назвать Михаль женой было абсолютно невозможно.

– Главное уже произошло, – с улыбкой ответил Самуил. – Главное, то, что происходит между двумя людьми. Остальное – формальности, дополнительные боковые тропинки. По столбовой дороге вы уже прошли.

Он вытащил из кармана сложенный во много раз женский платок, развернул и набросил на Зяму и стоящую рядом Михаль, все еще дивящуюся на бриллиантовое кольцо. Не успел платок скрыть юношу и девушку от глаз Самуила, как Михаль прильнула к Зяме, прижалась по всей длине своим горячим, трепещущим телом.

Оно горело, будто у больного с повышенной температурой. Михаль обвила шею Залмана горячими руками и чуть потянула на себя, словно предлагая улечься сверху. Голова пошла кругом, закружилась, поплыла, он почти лишился чувств и не упал лишь по-

тому, что сам того не ощущая, крепко сжимал девушку в объятиях.

От нее исходил дивный, неземной аромат, и как во сне она стала медленно приближать свое лицо к лицу Зямы. Свет, пробивавшийся через платок, был довольно тусклым, но его хватало, чтобы различить влажные, жадно распахнутые губы и блестящие глаза. Еще секунда и губы их должны были слиться в супружеском поцелуе, но тут что-то оттолкнуло Зяму. Пока еще сам не понимая почему, он высвободился из объятий Михаль, сбросил платок и отошел в сторону.

Самуил глядел на него явно разочарованно.

– Что случилось, Залман? Что-то не так?

– Пока не могу, – извиняющимся тоном ответил Зяма. – Все это очень для меня неожиданно. Я должен привыкнуть к мысли, привыкнуть.

– Ну, тогда я пойду, – махнул рукой Самуил, – а ты пока привыкай. Жена останется с тобой до утра.

Михаль призывно улыбнулась, и тут Зяма понял, что ему не понравилось, насторожило и оттолкнуло. Не могла невинная девушка, воплощение скромности, по словам ее отца, дочь скрытого праведника, сама почти скрытая праведница, вести себя подобным образом.

– Извини, милая невеста, прошу прощения, учитель, я должен побыть один. Мне нужно освоиться со свалившимся на мои плечи счастьем. Не обижайтесь, простите, имейте снисхождение!

– Ладно, ладно, – добродушно ответил Самуил. – Не волнуйся, Залман, я отвечаю за сохранность твоей жены и обещаю ее вновь привести.

– Да, да! – с жаром воскликнул Зяма. – Я буду ждать, буду ждать!

– Но теперь наберись терпения, – чуть укоризненно произнес Самуил. – Эта ночь была удобной с точки зрения духовных расчетов, следующей придется ждать несколько дней. Счастье нельзя упускать, Залманке, счастье нужно хватать обеими руками при первой же возможности и крепко прижимать к груди.

Самуил поднял обе руки, пошевелил пальцами, а затем хищно скорчил их, будто когти, и резким движением, от которого Залману стало не по себе, прижал к груди.

Михаль томно вздохнула, как бы намекая, что ночь еще не кон-

чилась и все еще можно вернуть, но Зяма лишь поблагодарил и стал прощаться. Михаль обиженно надула губки, повернулась и пошла к двери. Скрытый праведник последовал за дочерью. Оба вышли не попрощавшись.

– Обиделись, – вслух произнес Зяма. – Да, несомненно, обиделись. Но на что, на что?

Он не спал до утра, думая, соображая, рассчитывая. Скрытые праведники, конечно, живут по особым, тайным законам, но законы эти не могут приходить в явное противоречие с законами Пятикнижия. То, что предлагал ему сделать Самуил, называлось не законным браком, а развратом под видом брака. Всевышний больше всего ненавидит разврат, и поэтому ни скрытый, ни открытый праведник ни при каких обстоятельствах не мог предложить своему ученику вести себя подобным образом. Что там предложить, толкать его на это обеими руками! И с кем? С собственной дочерью! Невозможно, немислимо, не лезет ни в какие ворота!

Но больше всего возбуждала подозрение сама Михаль. Эта якобы невинная, скромная девственница вела себя как опытная проститутка, заманивающая мужчину. Зяма никогда не оказывался в объятиях продажных женщин, и если бы его спросили, не сумел бы толком объяснить, почему он пришел к такому заключению. Однако своей внутренней мужской, инстинктивной сутью он знал это совершенно отчетливо, и никакие силы не могли бы доказать ему обратное.

Вспоминая как изменилась его жизнь за последние месяцы, Зяма все больше и больше понимал, что вляпался в какую-то странную, пугающую своей непонятностью историю, из которой он не знает, как выбраться.

После утренней молитвы вместо того, чтобы пойти завтракать, он отправился к раввину Курува. Ребе Михл, горбоносый старик, обложенный серебряной бородой с пожелтевшими от времени краями, восседал на раввинском троне больше сорок лет. Два поколения евреев местечка выросли на его глазах. Он приходил на обрезание семидневных младенцев, экзаменовал мальчишек перед совершеннолетием, ставил хупу юношам и девушкам, читал погребальный кадиш над могилами их родителей. Зяму он знал с пеленок, два-три раза в год, заходя в бейс мидраш, он заводил

один и тот же разговор.

– Что ты сейчас учишь, Зямале? А, трактат «Сукка»? Замечательно, ну и сколько раз слов «сукка» написано на первых десяти страницах?

Вопросы менялись в зависимости от того, что Зяма учил на тот момент. Разговор больше походил на экзамен, раввин требовал, чтобы поруш не просто проходил материал, а знал его на иголку. Один раз он самолично устроил ему эту проверку. Раскрыв том Талмуда, ребе Михл проколол иголкой страницу и спросил Зяму, какое слово находится на обратной стороне. Тот ответил, раввин перевернул лист, посмотрел и удовлетворенно кивнул.

Увидев Зяму, ребе Михл удивленно поднял брови. Зяма попросил, чтобы их оставили наедине, и когда все ученики вышли, рассказал раввину свою историю. Про нистара, сны по ночам и сны наяву. Только про камю и Михаль скрыл, стыдно было признаваться. Ребе Михл слушал, хмыкая и покачивая головой. Потом произнес:

– Пока я ничего не буду говорить тебе, Залман. Давай сделаем проверку.

Той ночью в бейс мидраше остались два парня. Они спрятались за столами в самом дальнем углу, куда почти не доходили лимонные лучи единственной свечки. Зяма вел себя, как обычно, не обращая внимания на гостей, поужинал, посидел с часик над книгами и отправился спать.

Сон привычно навалился на него ватной подушкой, подмял, распластал и потащил за собой. Утром, вернувшись к реальности, он ничего не помнил из ночной жизни, знал лишь, что она была яркой, пупырчатой, с заостренными краями внимания.

Служка ждал его у входа в синагогу и попросил сразу после молитвы зайти к раввину. В синагоге стояла влажная морось, окно с магндавидом, расположенное под самой крышей, было разбито, и за ночь ветер нагнал внутрь тумана. Пол подмели, но незамеченные осколки то и дело подмигивали прихожанам, когда поднимающееся солнце касалось их своими лучами.

Закутавшись в талес, Зяма долго ежился от сырости, недоумевая, как могли разбиться все стекла в таком большом окне. Это занимало не только его, вместо того, чтобы сосредоточиться на

молитве, прихожане то и дело поднимали голову, с раздражением озирая разбитое окно, сквозь которое то и дело медленно пролетали важные галки. Не спеша, с достоинством серьезных птиц, они делали большой круг под куполом синагоги и вылетали наружу, не обращая ни малейшего внимания на шиканье и размахивание руками служки.

В общем, тем утром служба не удалась. И хоть молитву кое-как произнесли, комкая слова, чтобы кинуть взгляд на очередную галку, но настоящего, искреннего, возвышенного восхваления Всевышнего, которое нет-нет да случалось в этих стенах, не произошло.

Зяма шел по улице, направляясь к раввину, а в висках больно постукивали молоточки неприятного предчувствия. Что-то было нехорошо, он пока еще не знал, что именно, но сердце уже слышало гулкие раскаты надвигающейся бури.

– Рассказывай все, – насупил брови ребе Михл. – Все, без утайки.

– Что случилось? – испуганно вскинулся Зяма, понимая, что предчувствие не обмануло и сейчас ему придется по настоящему плохо.

– О-хо-хо, Залмену, о-хо-хо. Ночью ты встал, вытащил из-за книг черную маску и, двигаясь с ловкостью кошки, выскользнул на улицу. По улице ты помчался точно ветер, мои парни еле поспевали за тобой. Счастье, что ночь была лунная, лишь благодаря этому они не потеряли тебя из виду.

– А что было дальше? – прижав пальцем бьющуюся на виске жилку, спросил Зяма.

– Дальше ты подбежал к синагоге, будто черт, вскарабкался по отвесной стене под самую крышу, высадил локтем стекла в окне с магендавидом, спустился вниз и понесся обратно. Когда мои парни вернулись в бейс мидраш, ты уже спал на лавке.

Залман, – медленно произнес раввин, – я почти уверен, что все бесчинства, происходившие в последнее время в Куруве, дело твоих рук.

Зяма закрыл лицо ладонями и несколько минут сидел, безмолвно раскачиваясь.

– Теперь я понимаю, – так же медленно, как раввин, произнес он, отведя в сторону ладони, и устремив на них внимательный

взгляд, – почему у меня руки поцарапаны, ногти сломаны, а одежда пахнет гарью. Это все из-за нее, из-за камен.

– Какой камен? – насторожился раввин.

Зяма снял с шеи шнурок с привязанной каменей и положил на стол. При помощи двух пар ножниц ребен Михл осторожно, точно ядовитое насекомое, развернул пергамент и принялся рассматривать.

– Ого, дело серьезнее, чем я думал, – наконец произнес он, поднимая голову. Зяма посмотрел ему прямо в глаза, уже выцветшие, по-стариковски белесые, а когда-то пронзительно голубые глаза. Раньше Зяма без труда переносил их взгляд, но теперь, теперь покраснел и понурился.

– Ты еще не все рассказал, Залманке.

Он набрал полную грудь воздуха и, не поднимая головы, поведал про Михаль.

Теперь уже раввин закрыл лицо ладонями и погрузился в глубокое раздумье. Время тянулось бесконечно, Зяма вел отсчет ударам собственного сердца, гулко бившегося в груди, точно колокол на пожаре. Через полторы тысячи ударов ребен Михл опустил ладони и осторожно положил их на стол по обе стороны от раскрытой камен.

– Никакой это не скрытый праведник, а она не Михаль. Счастье твое, что ты вовремя остановился, не дал себя поцеловать. Наверное, в заслугу учения Торы, святость толкнула твое сердце, не позволила совсем пропасть.

Ее настоящее имя Махлат, и это демон. А отца ее зовут не Самуил, а Самаэль, и это очень могущественный бес. С помощью пергамента с бесовским заклинанием они завладели твоим телом и пользовались им для своих пакостей. А потом решили и душой завладеть, Махлат бы ее забрала во время поцелуя.

– Так я на ней женат, женат на демонице? – воскликнул Зяма.

– По нашим законам процедура не считается действительной, и бесам сие хорошо известно. Все это было лишь уловкой, для того, чтобы демоница могла тебя поцеловать. Но связь у тебя с ней осталась, ведь кольцо, как никак, ты ей на палец надел.

– Но оно не принадлежало мне, оно ворованное!

– Бесам все равно.

– И связи между нами никакой не возникло, ведь по закону я

должен был произнести другие слова.

Ребе Михл усмехнулся.

– Черти не принимали Тору на горе Синай. У них свои правила и свои законы. Так вот, по их закону ты вступил в связь с Махлат, поэтому Самаэль стал называть ее твоей женой.

– Что же делать, ребе, что делать? – содрогаясь всем телом, вскричал Зяма.

– Прежде всего, разорвать связь. Для этого необходима настоящая свадьба. Знай же: когда мужская душа спускается в этот мир, вместе с ней спускается женский демон, Нуква. Нуква убеждена, что душа этого мужчины принадлежит только ей, и всеми силами старается расстроить его женитьбу. Если мужчина останется одиноким или свадьба не будет проведена по всем правилам – Нуква получает свою добычу.

Вместе с женской душой спускается мужской демон, Захра. Он куда слабее Нуквы, но у него та же самая цель – прилепиться к женской душе и пить из нее силы.

Под балдахин хупы собираются не только родители и близкие родственники, но и демоны. Это их последняя возможность удержать души. Когда матери жениха и невесты, с зажженными свечами в руках, семь раз обводят девушку вокруг жениха, они пресекают влияние Нуквы и отгоняют ее от парня. Чтобы избавиться от Захры, достаточно только одного круга – обручального кольца, которое жених надевает на палец невесте. Махлат такая демоница, как и Нуква, поэтому разрушить возникшую между вами связь может только брачная церемония.

Ребе Михл замолк, о чем-то раздумывая.

– Ну, будем надеяться, что это поможет, – наконец произнес он.

– Неужели свадьба может не подействовать? – с ужасом спросил Зяма.

– В духовном мире нет абсолютно точных правил и всегда повторяющихся зависимостей. Мы движемся в нем на ощупь. Надеемся, что если раньше что-то сработало, то должно помочь и в следующий раз. Станем уповать на лучшее, и Всевышний воплотит наши упования.

Но нужно спешить, Зяма, торопиться из всех сил. Демоны тугодумы, однако изобретательны и мстительны. Нельзя оставлять

им много времени на размышления. Я велю искать для тебя невесту, а тебе очень советую соглашаться на первый же более или менее подходящий вариант. Если будешь крутить носом, можешь остаться не только без него, но и вообще без головы.

А пока сделай так. Я напишу тебе записку и, когда появится Самаэль, вместо приветствия сразу начни читать ее вслух. Ни в ком случае не давай ему еды или питья, как бы он ни просил. Демоны, они лишь частично материальны, в основном это духовные сущности. Их плоть от появления до появления почти пропадает. Им необходимо что-то съесть или выпить, причем не самим взять, а получить из рук человека и вместе с этим взять от него часть жизненности, часть его материальности.

– Ох, теперь я понял, почему Самуил каждый раз словно плыл, трепетал и колебался, – вскричал Зяма. – И почему просил поесть или попить, и почему после его ухода усталость наваливалась, будто я не о книгах с ним говорил, а мешки таскал.

– Именно так, Залман. Теперь ты знаешь. И знаешь, что за знание, как и за незнание, приходится платить.

Ребе Михл пододвинул к себе листок пергамента, взял остро заточенное гусиное перо, окунул его в чернильницу и быстро вывел несколько строк. Перечитал и протянул Зяме. Тот пробежал их глазами и удивленно посмотрел на раввина.

– Буквы знакомые, а ни одного слова не понимаю.

– А тебе и не надо понимать. Читай и все тут. И последнее. Где украшения, которые у тебя остались?

– Вот, – Зяма положил на стол шкатулку. Ребе Михл поднял крышку, и сияние бриллиантов щедро вырвалось наружу.

– Я думаю, это те драгоценности, которые пропали у пани Моравской, – сказал раввин после беглого осмотра. – Ты их унес. Ну не ты, твое тело. Я подумаю, как их вернуть законной хозяйке так, чтобы тебя не обвинили в краже. А сейчас набирайся сил и готовься к ночной встрече. Только будь тверд и мужественен, не дай себя запугать.

Самуил по своему обыкновению пришел сразу после полуночи. Он выглядел рассерженным.

– Ну что же ты делаешь? Опять снял камею? Почему, что случилось?

Залман не ответил. Без страха, но с большим интересом он

вплотную рассматривал беса. Самуил поежился под его пристальным взглядом и произнес.

– Хватит, хватит меня разглядывать. Ох, как я устал! Дай скорее напиться.

Залман вытащил из кармана бумажку, развернул и начал читать.

– Уй, что ты такое делаешь? – завопил бес после первых же слов. – Уй, перестань! Вот я тебя сейчас!

Он стал тянуть к Зяме руки, по-звериному скрючив пальцы, но и руки и пальцы начали таять, как туман. Залман не успел дочитать записку, как бес превратился в серое клубящееся облачко. Оно заметалось по бейс мидрашу, ударяясь о стекла, точно залетевший в комнату шмель. Зяма отворил дверь, облачко вылетело наружу и пропало в черноте ночи.

Девушку нашли быстро, уже к следующему вечеру. Не красавицу, не богачку, не умницу. Обычную, добрую, работающую девушку, одну из таких, на которых держится весь еврейский народ. Встретились в доме раввина, поговорили, поулыбались друг другу.

– Ну что? – спросил ребе Михл, когда, попрощавшись с девушкой, Залман вернулся в его комнату.

– Вроде ничего, – смущенно пробормотал Зяма. – Правда, когда я представлял себе будущую жену, я думал, что она будет выглядеть совсем по-другому. Но и эта вроде ничего.

– Сладили дело! – воскликнул раввин. – Свадьба через шесть дней.

Эти дни Зяма провел возле ребе Михла. Ел с ним, спал на тюфячке возле его кровати, молился на расстоянии вытянутой руки. В личное пространство праведника никакой, даже самый ловкий бес не сумел бы пробраться.

Хупу ставили на площади перед синагогой, и ребе Михл принял особые меры предосторожности. Бесы и демоны порождения тьмы, отсутствие Божественного света дает место подобным тварям. И света же этого они боятся больше всего. Поэтому на хупу надо принести свечи, много свечей. И не просто свечи, а взять те, которые связаны с выполнением заповеди, то есть освятившиеся. Их огонь особенно неприятен бесам.

Самое лучшее в таком положении взять свечи для авдалы, це-

ремонию отделения субботы от будней. В каждой из них несколько фитилей, поэтому и света больше, и ветер ее не так быстро задувает.

– Пусть все, кто придет на хупу, возьмут с собой такую свечу и зажгут перед началом обряда, – приказал раввин Курува. Мужчинам ребе Михл велел надеть талесы, словно на молитву. Чем больше святости, тем сложнее бесам подобраться к молодым.

Доносчика Гецла в цветной, привлекающей внимание накидке, поставили возле хупы. Чтобы запутать демонов, он должен был громко читать то же самое, что и раввин, проводящий церемонию под балдахинном.

Свадебный балдахин ребе Михл окружил кольцом своих учеников, закутанных в талесы и со свечками в руках, а перед ними поставил служку. Прикрыв ладонью спящий огонь свечи, служка беспокойно оглядывал толпу. У него в кармане лежала специальная записка, которою он должен был читать, если, не дай Бог, увидит что-нибудь подозрительное.

Пришло много людей. Площадь заполнилась народом. Десятки свечей жарко полыхали. Кто-то даже принес ханукальный подсвечник, что совсем не соответствовало событию, но зато на нем сияли целых восемь свечек.

Перед началом церемонии ребе Михл велел молодой паре стать как можно ближе друг к другу, чтобы между ними ни в коем случае не смог бы оказаться никто другой, не сумела бы втиснуться никакая иная сущность.

Все шло своим чередом. Невесту семь раз обвели вокруг Зямы, раввин произнес необходимые слова и жених надел на чуть дрожащий указательный пальчик девушки скромное золотое колечко. Ребе Михл провозгласил благословения, отпили из кубка с вином, Зяма раздавил ногой обернутый в рогожку стеклянный стаканчик, память о разрушенном Храме, и поднял фату с лица своей жены. Та охнула от волнения и доверчиво склонила голову на его плечо.

Все прошло удивительно тихо и спокойно, Махлат не появилась. То ли демоны не успели сориентироваться, то ли были заняты другим. Зяма с облегчением глубоко вздохнул, перевел взгляд на людей, стоявших перед хупой, и замер.

Перед рядом учеников ребе стоял, как всегда без шапки, рыжея огненной шевелюрой, едва прикрытой потертой ермолкой, Самуил

собственной персоной. Четкий и резкий, предельно материализованный, успевший уже хвататься чей-то жизненности. Около него, за спиной у служки с охранной запиской, выделяясь без талесов, грозно чернели два, похожих на Самуила беса, словно в насмешку державших в руках толстые авдальные свечи. О, беда учит, Залман теперь узнавал их, мог сразу выделить из толпы.

Бес Самуил-Самаэль пристально смотрел на молодую пару, и на лице его было написано: ужо погодите, голубчики, все еще впереди, все еще впереди.

ПОЭЗИЯ

Ирина Власова

ЧАШКА С ИМЕНЕМ

В провинциальной богеме
Каждый избран и каждый постыл.
И волочится тяжело артритное бремя
Неподъемных прокуренных крыл.

Пахнет бедностью и скипидаром,
Сходит краска с лица на холсты.
А предутренний стражник разбудит: «Недаром?»
И под сердце воткнет мастихин.

Каждый – сам себе тьма и мессия,
Каждый первый – последний герой.
Сделай так, чтобы было красиво,
Несуразный, беззубый и злой.

Там, где тонко, все рвется и рвется.
И стучишься в свои потолки.
Ну, а хули, мазила, тебе не живется?
Не пошел бы ворочать мешки?

Но рукав прожигает закрытая карта:
Или в масть, и встать на крыло,
Или в поле упасть неизвестным солдатом,
Чтобы новое сверху взошло.

Кто однажды свернул не туда,
Тот шагает, не чужа пути.
В утекающей речке вода
Отражает чужие черты.

Только детский мечтательный взгляд
За тобою следит не в укор.

Обернувшись спиной назад,
БРИНС АРНАТ
Как по имени названный вояк
Новый исторический роман

Мари Шенбрунн-Амор,
ФЛАМАНДСКАЯ ШПАЛЕРА

автора бестселлера «Железные франки»,

лауреата золотой премии Terra Incognita,

закрой глаза, я тебе расскажу. Путь заленут зыбучей далью,
посвященный борьбе Иерусалимского королевства
доль прошита сквозистая — нитью суровой по грозовым облакам
с исламским миром
Мережка деревьев, траченных солью, тронутых медной сусалькой
в продаже в бумажном и электронном виде
Низкие земли когда-то пришла река, обласкав

Серебристым шёлком холщовые берега. Полнея,
расплылась, пролила зеркала и линзы в лугах заливных,
зазвездала, растеклась стеклянистой гладью в полнеба,
проглотила гладкие камни, расплывав мертвые сны

Зоренных временем городов. Пожила рябью легко,
потянулась, играя, то зыбью ерошась, то елюдяняя,
и достала из рукава раковины и перлых коринтихатов,

принесённых из кладовой моря, что убожно зеленеет,
и многое другое

Целиком погружившись в себя, у самого горизонта, неблизко.

А вот, кому рябенёкое божество ручнее, с дырочкой —

Защитает от льва, и аспиды, и вазитиска.

Возьми и повесь на шею. Любой беде выручит.



Из чего же из чего же сделан ты?
Из молитвы матери, из юной мечты

Женщины, положенной по судьбе,

Из тоски отца по самому себе,

Из усталости, из радости, из беды,

Из земли, из неба, из речной воды,

Из пьянящей думы, из взгляда трезвого,

Из смешного, жалкого, из болезного,

Из широких рвов и высоких стен,
Из «Элои!», повисшего в пустоте,
Из толчков разбитого, но живого
Сердца, сердца детского твоего.

Марина Ариэла Меламед

СЕНТЯБРЬ НАСВИСТЫВАЕТ ЛЕТО

Миттельшпиль

(от нем. *mittelspiel* – середина игры)

Утихает боль, подступает боль,
Говорит – ты, что ль, отыскал ковыль?
Говорит – изволь продолжать кадрили,
Говорит – да ну, что за стиль...

И кричит – тогда ль посадил ты ель?
Так теперь едва ль убежишь отсель,
Говорит – давай, поджигай фитиль!
Впереди ещё миттельшпиль.

Постучит в окно ноября корвет, –
Этот боди-арт лучше на мольберт...
Сонный южный штиль, бесконечный бриз, –
Я под кипарисом раскис...

Говорит мне боль, – мне тебя не жаль.
Ну давай, иди, поднимай скрижаль,
Ну давай, счастливый лови момент
И пустынный блюз под абсент.

И кричит – тогда ль посадил ты ель?
Так теперь едва ль убежишь отсель,
Говорит – давай, поджигай фитиль!
Впереди ещё миттельшпиль.

* * *

Сентябрь насвистывает лето.
Неясный свет, неслышный тон,
Неспешный шаг... Остались где-то
Воспоминаний десять тонн.

Душа насвистывает осень
На осень тут ангажемент...
Мы очень плохо переносим осень
А у неё настал момент...

Махни рукой. Давай, беспечно
Вперёд и прямо, к ноябрю.
Там по пути. А путь наш Млечный,
Хоть верь-не верь календарю...

* * *

Мы говорим с тобой на разных языках.
Как будто по-французски и по-итальянски...
Хотя язык звучит такой родной, – романский,
Но как заносит нас с тобой на выражах...

Мы говорим, как шелестят деревья и кусты, –
Почти молчим. И ветер падает в окно.
Я оглянусь, – за тридевять земель все тот же ты...
Спустя века мне вспоминается одно:

Как мы стояли на сиреневом проспекте,
Вокруг сигналили такси наперебой.
Таким путём, ну то есть, вот в таком аспекте...
Играл мелодию кларнет или гобой.

А что сейчас – слепить творожную ватрушку,
Смотреть во окно и видеть у дороги каланчу...
Ну и в подушку, что, опять реветь в подушку?
Да ни за что. Да никогда. Да не хочу...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Лютики-прутики-лес,
Я у окошка стою.
Падает лето с небес,
Баюшки-баю-баю.

Ветер качал головой,
Мир за окошком уснул...
Светится над мостовой
Неумолкающий гул.

Тянется, тянется нить, –
Лепится, стало быть, суть...
Мне её не объяснить,
Мне бы хотя бы уснуть...

Ирина*Маулер
Мы презентались поздно,
“БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ”

Мы уходили рано,
Мы рассыпали звезды
Издательство “Время” Москва, 2012
(звездам не Прекослов...)
Серия “Поэтическая библиотека”

На жернова сомненья,
Ирина Маулер – писательница, необычный художник
Литературный, необычный художник
слова. Краски у нее обязательно сливаются со
Крепкое, как любовь
звуками, и возникает тончайшая, проникновенная
Мы поднимаем веки,
поэтическая цветомузыка. Рождаются поразительно
Мы опускали руки,
одухотворенные стихи – отринув вечное верчение
Волю давая слову,
тяжких жерновов жизни, они дарят над повседневно-
Творчеством это острое и буквально
Неботоропное
стью. Творчеством острое и буквально
Ветерным пожеланьем
заряжено солнечным талантом автора.
И попытать попеньям
Книгу можно приобрести, обратившись по
Было невмоготу.
электронному адресу : mauler13@mail.ru

День начинал работу,
Дом приносил печали,

Птицы в ночи кричали
Про надоевший мрак.
И распадались стены,
И улетали звуки,
Но обнимали руки, –
Ну, а иначе – как?

Игорь Губерман

НОВЫЕ ГАРИКИ

Кипит коммерческий запал,
торговли пухнут и растут,
по всей земле – продажей бал,
а там евреи тут как тут.

Все фазы, циклы и периоды –
плоды научной категории
нам позволяют сделать выводы,
что мы весьма темны в истории.

Наука наступает на старение
и годы обещает нам несметные,
но я храню тупое умозрение,
что мы покуда старимся и смертные.

Мой дух от выпивки крепчал,
и громким голосом нахальным
я нежной песней удручал
людей со слухом музыкальным.

Прочёл сегодня я большой научный труд,
по сути достоверный чрезвычайно:
кто чаще моется – гораздо раньше мрут,
а мыться надо редко и случайно.

Последние живу на свете годы
и радуюсь, как жизнь моя полна;
не знал я никогда такой свободы,
какая нам на старости дана.

Слова приходят ниоткуда,
они полощутся, виазь,
и происходит Божье чудо:
они завязывают связь.

С утра себя ругал я, что осёл,
и чувства меры – полное отсутствие,
и только огурца крутой рассол
слегка моё улучшил самочувствие.

Чужому я завидовал уму
и знаниям завидовал порой,
хотя ума излишек ни к чему,
а знания приносят геморрой.

Гусаров любят в самом деле
за их воинственные шпоры,
хотя они грубы в постели
и вытирают хер о шторы.

По сути нас легко расчислить:
где умный может молча ждать,
дурак охоч активно мыслить,
учить, влиять и убеждать.

Бездумно я сижу часами,
уют безмолвия храня,

и шевелю порой усами,
которых нету у меня.

Мне нравятся люди гулящие,
а пьющие – в этом числе,
они мастера настоящие
в нелёгком как жить ремесле.

Жив ещё мой бедный разум,
с веток свищут соловьи,
но накрылись медным тазом
все иллюзии мои.

Так пусто, что душе заняться нечем,
текут часы томительно и вяло...
А то, чем мы тоску обычно лечим,
в такие дни меня не соблазняло.

С утра я – мерзость и дебил,
и нет во мне добра,
я даже многих бы убил,
если с утра.

Тихо журчат этой жизни ручьи;
как подвести мне итог,
если к себе самому я ключи
так подобрать и не смог?

В моём мыслительном пространстве
вдруг обнаружил я дыру:
о политическом засранстве
я даже слов не подберу.

А везде, где льются песни
наших лет былых расейских,
там незримо вьются пейсы
композиторов еврейских.

Я не родился оптимистом,
но много в жизни куролесил –
я надыхался ветром чистым
и потому всегда был весел.

Смешны мне любые романтики,
особенно если поэт:
они нам рисуют те фантики,
в которых не будет конфет.

По всей земле ползёт зараза,
всё в душах доброе губя;
за веком я слежу вполглаза,
а в полтора – гляжу в себя.

Кружится слов густая стая,
но мысли нету никакой,
и стая эта, улетаая,
сулит жестокий непокой.

Напрасны все на свете споры,
и разводить дебаты нечего,
покуда с глаз не спали шоры,
а гнусь надёжно засекречена.

Люблю порой смотреть в окно,
где вижу тусклую картину:

передо мной течёт кино
про ежедневную рутину.

Нет, я не боюсь умереть
и скрыться в тумане волнистом,
я даже на ад посмотреть
не прочь бы. Но только – туристом.

Когда пахан сидит на троне,
и вся братва за ним идёт,
то света ждать не надо – кроме
того, что нас в тоннеле ждёт.

Диван подо мною. Один в тишине
лежу и тоской себя мучаю.
А Пушкина строчки гуляют во мне,
зоя своровать их по случаю.

Творец нас видит всех до одного –
как мы живём, отлично сверху видно,
и то, что мы – подобия Его,
Творцу, конечно, больно и обидно.

По фигу мне мироздания секреты,
пялюсь, бездумен и пуст,
как умирает огонь сигареты,
брошенной мною под куст.

Боюсь я кретинов, несущих
плакаты во славу тюрьмы;
предтечи событий грядущих,
конечно, они, а не мы.

Хотя являл я своеволие,
но понималось поневоле,
что всё равно ничуть не более,
чем пешка я на чьём-то поле.

Забавна жизнь перед кончиной:
в башке – метелица,
и что когда-то был мужчиной,
уже не верится.

А вот ещё отменный день,
и был бы грех забыть о нём:
восьмидесятилетний пенъ
с утра запил с таким же пнём.

Души таинственная страсть,
её не вытравить вовек:
влечение что-нибудь украсть
у выдающихся коллег.

Я вспоминаю свой отъезд,
друзей угрюмый смех...
Увы, проклятье этих мест
ещё лежит на всех.

За той чертой благоразумия,
где ум теряет полномочия,
такие светят полнолуния,
такие зреют многоточия.

Достоинство – отнюдь не жест,
с гордыней схожий,

умение нести свой крест –
подарок Божий.

Обычно любви – печальные
выходят своими финалами,
поэтому связи случайные
нам помнятся розами алыми.

Нет, не зря я рифмой занедужил,
жил я, значит, жизнью плодотворной –
я стишок мой нынче обнаружил
надписью в общественной уборной.

Дурнотное наплыло состояние
и ноги сразу сделались, как вата,
и кажется огромным расстояние,
которое бегом бежал когда-то.

Особенно мне жаль интеллигенцию,
не хочется ни слушать, ни смотреть;
пока она являет импотенцию,
ебли её, ебут и будут впредь.

Земли могильной нынче нет,
меня в стене схоронят плоской,
и хоть обидно гнить в стене,
но, слава Богу, не кремлёвской.

Любви волшебное вино –
глоток небесного огня,
но льётся с возрастом оно
мимо меня.

А в мыслях – смута и сумятица,
и ясно разве лишь одно –
что колесо под горку катится
и не воротится оно.

Не так меня томит бессилие
от охлажденья крови в жилах,
как угнетает избытие
того, что выразить не в силах.

Я подобрался близко к истине,
которую давно вынашивал:
любое наше бескорыстие –
опора будущему нашему.

Все заливчатские ухватки
ушли без тени и следа,
и лишь упругости остатки
меня тревожат иногда.

Игорь Божко

КОШКА ЖИВЕТ В МАВЗОЛЕЕ

в парк войти – увидеть белочку
но не ту которая от водки
а простую рыженькую девочку
что меня узнает по походке

протянуть орех ей на ладони
пальцем за ушком пощекотать
многого такая встреча стоит
это ли не Божья благодать

значит я еще не очень грешен
раз зверек не чувствуя мой грех
щуря свои косточки черешен
на моем плече грызет орех.

Б. Н.

в этом городе всё искорёжено
все туда – где надёжнее быт
забиваются / где унавожено
и окно в темноте – не горит

говорю тебе с неба сошедшему
в пьяный сон мой – по слову собрат
в этом городе все сумасшедшие
кроме старых бродячих собак.

где ты бродишь моя Маргарита
на каких перекрестках дорог
нас сведут роковые копыта
или дождиком сеющий Бог

где ты странствуешь / зимы известкой
прикоснулись к моей голове
на каком / на каком перекрестке...
только ветер в пожухлой траве

где ты скрылась / ни знака ни звука
как прозрачная роща – душа
только что озираясь старуха
на забор опираясь прошла.

ДВОР ПРОХОДНОЙ

во дворе проходном осень рыжая
сквозняки продувают жильё
тянет водкой и жареной рыбою
и висит на веревке белье

вы куда / вы куда собираетесь
ах зачем же вам этот Париж
неужели вот так попрощаетесь...
неужели так срочно горит...

дама-дамочка – карта игральная
промелькнула как день выходной
опустевшая площадь вокзальная
и душа моя – двор проходной

во дворе проходном тени серые
осыпается известь со стен
и кружится листва оголтелая
и взлетает прозрачная тень.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ В ГОЛОЛЁД

светит месяц однобокий
дети сделали уроки
все дела сложили в ранец
баю-баюшки засранец

на улице гололёд
но никто не упадёт
всех подхватит ангелок
дык под острый локоток

а кто всё же упадет
того «скорая» возьмёт
загипсует перелом
даст по жопе помелом

хватит / хватит улыбаться
курица приносит яйца
футболист бьёт мяч ногой
спи засранец дорогой

на улице гололёд
по домам скользит народ
поминая «мать твою!»
баю-баюшки-баю.

кошка живет при музее
при магазине живет
кошка живет в мавзолее
чухая лапкой живот

ловит мышей мавзолейных
спит на груди у вождя
разных мелодий елейных
сладко ему выводя

кошка не думает – знает
так – по простому уму
просто вождя уважая
мышку приносит ему

горестно без аппетита
(раз уж такое житье)
вождь потихоньку сокрыто
грустно съедает ее

тем и питается бедный
(где ж тут раскатишь губу)
высохший сморщенный бледный
тихо вздыхает в гробу

портится вождь понемножку
что его ждет впереди
смотрит печально на кошку
кошка поет на груди.

НОЧНАЯ СЕРЕНАДА

спит хомяк и серый кролик
трезвенник и алкоголик
только мне не спится
ничего не снится
как по скошенной траве
бродят мысли в голове
о дворняге рексе
как всегда о сексе
и о рифме к слову «граф»
современное «пиф-паф!»
да стреляют по ночам
убивают тут и там
пять отстреленных патронов
на углу у гастронома
«скорая» ушла с подвывом

«только б жил он
только б жил он...»
спит хомяк а мне не спится
искорёженные лица
проплывают в небесах
мы полюбим этот страх
мы его переживём
как сухарь пережуём

из приёмника ночного
льётся Моцарт молодой
всхлипы голоса речного
с бесприютною луной
в переплётах окон чёрных
линий смазанных и чётких.

ПОСВЯЩЕНИЕ С. К.

«ах скажите так чтоб скоро
как попасть мне на вокзал
мне на поезд на семь сорок
чтобы я не опоздал»

«вам туда потом направо
а потом наоборот –
мимо площади Базарной
там где Сонечка живет»

он помчался вот потеха
и рукой мне помахал
и конечно же уехал
и совсем не опоздал

все уехали успели
улетели кто куда
на попутных каруселях
и пропали навсегда

незабытого бывшего
обгоревшие слова
перелистывает снова
моя горе-голова

и с улыбкой лучезарной
будто бомжик-идиот
я гуляю по Базарной
там где Сонечка живет.

сантехника поёт сливной водой
прислушайтесь те – у кого есть уши
в сантехнике живут хмельные души
сантехников ушедших в мир иной

гудит бачок и унитаз рыдает
поёт отлив на десять голосов
печаль всемирную стояк распространяет
настырнейшая партия басов

исходит из подвыподверта муфты

и слышится: ухабистое «ух ты!»

(пот дирижерский катится со лба!)

сантехник – музыка – симфония – судьба.

Феликс РАХЛИН – "Афулей Первый и Шлёма Иванов".

Лирика, юмор, сатира.

Издательство "Догорание", Израиль, 2014.

С фотографией автора в авторском формате.

Художественное оформление – Илья Шпак

Автор книги – лауреат израильской литературной премии имени

Виктора Некрасова (2014). Живёт в г. Афула.

Цена книги – 25 шекелей (включая стоимость пересылки).

Обращаться к автору по тел. в Израиле 04-6528488,

из-за рубежа – 972-4-6528488.

переброшусь с инвалидом

черной краской засыпаем

в окнах свет живёт печально
скучный город николаев
в одиночестве хрустальном.

цирк уехал а нас с собою взять забыл
остались мы как чемоданы у дороги
один из нас так тоненько завыл
другой вздохнул как выхухоль убогий

ну что поделаешь / бывает забывают
но нас-то как / ведь слезно уверяли
что всех возьмет всех вывезет кривая
и вот уехали / когда еще мы спали

такая грусть так мир весь изменился
так стало холодно от этой горькой лжи
один из нас пошел и застрелился
другой еще живет / но разве ж это жизнь?

Борис Фэрр

ЗВОНКИ ИЗ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРИХОЖЕЙ

ПИСЬМА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Помнишь, жили тогда на горе.
Помнишь, месяц тогда нагорел
Так, что счет за него на тарел-
ку ложился с наглядностью божьей.

Помнишь, пели тогда за столом.
Помнишь, нервным был первый псалом.
А в душе отзывалось алло
На звонки из вселенской прихожей.

Помнишь, небо несли на верстак,
С горизонта снималась верста,
И рубанок сквозь сумрак блистал,
Раскаляясь до красного пота.

Помнишь, жили тогда на заре,
Слали письма во сне в Назарет.
Дни и даты посмей, назови,
Там, где время не ведает счета.

ВДОВЕЦК

Двенадцать стихов назад
Косилась звезда на сад –
Из вечности на листву.

Садилась жена на стул
И в руки брала шитье.
И вроде бы смерть – житье,
И смех тишины поверх.
Не то чтобы свет померк,
А так, словно нелюдь, пьем.

Как будто на все есть бронь –
На комнату с тем добром,
На стойкую связь времен.
Настолько, что лезь с ремнем,
Но крюк к потолку приник,
А с горлом не сцепишь крик.
И сляжешь молчать на моль,
А сядешь мычать – немой.
Не молишься – так кури...

И надо бы пол помыть.
Помыть. По стеклу поныть.
И взглядом скоблить окно.
Темнее всего темно,
Когда из окна и нет –
Глядят на тебя в ответ.
Глядят, но незрячий – кто?
Левкас – непрозрачный тон.
На то есть прозрачный свет.

Но легок, как на помин,
Жена примеряет нимб,
И рядится в два крыла.
Такая любовь была –
По пятницам и в шабат:
Звезды не объять в шагах...
Сказал бы идти – идем.
Да, вроде, и смерть – житье,
И как-то сошлась на швах.

ПЕХОТА

Мужчины, муштра заводная,
Пойдем по ковыльной степи.
Степенно звенит золотая
Дорога. И свет, наступив
На мокрую кромочку века,
У края зрачка постоит.
Продолжится в нас, человеках,
Кочевным теченьем своим.
По пешему зову не станем
Ладонью делить окоём.
Мы, Божии твари в скитаньи,
От первой строки запоем
В распевную силу по ходу,
Затянем по самый чертог
Небесный. А ветер за хором
Последний хорей зачеркнет.
И некуда-некогда деться.
И некому в травы удрать.
И сердце цепляя за сердце,
Как в детстве, от равных утрат -
Все дальше, не сверив с часами,
Сливаясь с приземистым днем.

Еще через миг исчезаем,
Еще через два – пропадем...

НЕЗАМЕТНОЕ ИСКУССТВО

В холодном ноябре чудны календари,
И каждый день зачтен скорее в долг, чем в долю.
Ни слова о тебе... Как непреодолим
Обет карандаша – обоям в коридоре.

В холодном ноябре прописана постель,
И сыростью ночей пропитана квартира.

В ней утомленный бред несмазанных петель –
Дверная ипостась из мизансцены мира.

В холодном ноябре заводят патефон,
И нервная Пиаф – с иголки наружу, –
Сбивается и вновь сбывается как сон.
Издерганный шансон безволя не нарушит.

В холодном ноябре отраден карантин,
А память так мудра, так избранна, по сути.
Закат перегорел, и солнца не вкрутить,
И киснет акварель, и кисти не рисуют.

ПОЭТЫ ВСЕГДА ЛГУТ

Немного о ненастоящем...

Он прекратил писать,
И даже сумрак –
Ему казался вялым утешеньем.
Он брезговал давать всему названья,
И выщемлять у слова тайный смысл.

Как высший эмиссар,
Посланник суток,
Лишенных вдруг привычного теченья,
Она вошла. И, словно в наказание,
Просторный берег сжался в узкий мыс.

И обращенный мир
В одно мгновенье
Так вспенил жилы током тесной крови,
Что сердце, равнодушное к увечьям,
Внезапно стало слабым и больным.

Он выдохнул: Прими
Без снисхожденья

Мое безволие... страх мой... Но напротив,
Она была нежна. И каждый вечер
Их уносил движением волны.

Не сетуй, не вини,
признай, что “доля”
не впечатляет новостью значений...
Посмев однажды утром распрощаться
С той, что умела помещаться в жизнь,

Он принял сувенир
Занудной боли
Как новое искусство развлечения,
Как трепетное право быть несчастным.
И этим новым знанием одержим...

Он бросился писать,
И даже сумрак –
Ему казался щедрым откровением.
Он страстно раздавал всему названья,
Как будто чье-то слово одолжил.

БУБЕНЧИК

Я сражен наповал.
Я навывлет пробит.
Соберитесь, кто знал.
Дайте слово Рабби.
Позовите ее –
Я скажу телефон.
Будет белым белье,
Бывший черный фасон.
Станет плакать страна
И зеваки – зевать,
И душа, отстрадав,
Будет в небо взмывать.
И сама по себе,

Пропорхав над землей,
Вдруг черкнет в синеве
Именной вензелек...

Скоро выцветут кровь
И чернила... хотя
За собою закрой
Этот мир, уходя...

ИГРОК

Как смертна странная мечта.
Зима приходит на почтаamt.
Зима расходует бумагу,
Подобна суетному магу.
Но забывает адреса.
И, право, глупо отрицать,
Что все рассеянно-безбожно.
Что мы растеряны без должных
Определений наших душ.
Зима нам разбавляет тушь,
И очертания невнятны.
Трава, читаемая мятой,
Изображает в кружке чай.
Ты возражаешь, что печаль –
Всего лишь волеизъявление,
И гладишь кошку на коленях,
А вечер гладит тишину.
И так по кругу, выше мук
И выше частных, но скупом
Соприкасая наши губы,
Мы воскресаем по родам –
Уже как Ева и Адам...

¹ Ад промежуточный (лат.)

АДАМ INFERNUM INTERMEDIUM¹

*В одном черном-пречерном городе
есть черный-пречерный дом...
Из детства*

Давным-давно, непрошена-нежданна,
пришла зима. И странствия Адама
оборвала. И всласть над ним рыдала –
его вдова. Она была бледна и худощава.
Белым-бела, зима не умещала:
одной тоски предчувствие начала,
одной тоски отсутствие конца.
Адам блажил безмерно, беспробудно.
Безмен души, подвешенный... Под утро
его нашли. Наверно, бес попутал.
Неровен шрифт.
Недорог хрип. Взъерошенной весною
к молодой вдове на крошево мясное
спешит Давид. И прошлое не стоит
нам ворошить, изъев пирог от корки
до кровати. Луна сплетала тени и
объятыя, и только баммм...раздалось –
тих и внятен, вошел Адам.
Есть в пустоте, по странности неволи,
переходя из данности всего лишь –
в другую дверь, предчувствие не боли,
но ожиданье вида свысока.
Адам молчит. Постылый гость на ужин.
Его вдова застыла. Мертв и скушен,
переходящий в очертанья мужа,
застыл Давид. Переходящий в очертанья Бога,
мир за окном, застывшая дорога,
переходящая в присутствии итога.
Финальный вид.

Дмитрий Стровский

НИЧЕГО НЕ ПРОШУ У ГОСПОДА

Звездный вечер в Иерусалиме...
Мельтешенье праздного народа.
Я брожу по городу, чье имя
Выложено в центре небосвода.

Я брожу по городу, чье имя
Бесконечно в центре мироздания...
На земле когда-нибудь все сгинет,
Или все окажется преданьем.

Все уйдет в другие измерения,
Только этот город будет вечно.
Если что достойно изумленья,
То его дорога в бесконечность.

...Звездный вечер в Иерусалиме –
К Господу распахнутые ставни.
Время здесь как будто бы застыло,
Навсегда в мозаике из камня

Вчера над моей головой месяц вышел раскосый,
И тонкий, как серп, в окружении сонмища звезд,
Взглянул на меня незатейливо, искренне, просто,
И задал, прищурившись, свой сокровенный вопрос:
“Зачем ты сегодня стоишь на земле этой вечной?”
В ответ я тревожно молчал. Месяц по небу плыл.
И виделось зримо, что путь у него бесконечный,
и требует путь этот времени, мыслей и сил.

Сегодня мне часто доводится, стоя у кромки
Обрыва, откуда видна необъятная даль,
Вопрос задавать себе тот же пронзительно емкий,
в котором земная надежда звучит и печаль.
Зачем я стою на земле этой вечной сегодня?
В чем вижу я смысл? И какой мне от этого прок?
И что я скажу наверху, у божественной сходни,
Когда завершить предначертано будет урок?

Не знаю. Но думаю часто об этом под вечер.
Без тени соблазна услышать готовый ответ.
Мне сложно пока. Но земля эта явственно лечит,
Как лечит и месяц, идущий за нею вослед...
Растит людей, чей разум не остынет,
Чей дух пробьется из небытия.

Шабат шалом!
Сегодня вся страна,
Оставив суету, вражду и склоки,
Пытается припасть к своим истокам.
И в этом очень искренна она.

С религией не просто у меня,
Я первый шаг лишь сделал к новой вере.
Мне очень сложно приоткрыть к ней двери,
Себя в мгновенье ока поменять.

Не чувствую прозрение души
Мгновенное – подобно озаренью,
Когда твои отринуты сомненья,
Что можно было разумом вершить.

Дорога к вере – это долгий путь,
И глядя на субботу, понимаю,
Еще я в прошлом. И не отрицаю,

Что трудно от привычности свернуть.

И все же новый гимн пришел в мой дом.
Шабат шалом! И меркнут все суеты,
Я постоянно думаю об этом,
Листая своей жизни книжный том.

Шабат шалом, еврейский мой народ!
Ты выжил за века-тысячелетья,
Пройдя через печали-лихолетья,
Но двигаясь неистово вперед.

Ничего не прошу у Господа...
Проживая вторую жизнь,
Я зарекся веровать в рассказы.
Повторяю себе "Остынь!"
Но оставшись однажды в комнате,
Зорко вглядываясь в окно,
Вижу рядом пустыню сонную –
Повезло мне? Не повезло?

Мне известно было до одури:
Как мне жить и зачем мне жить.
Сторонился дешевых податей.
Не хотел по течению плыть...
А сегодня иная Вселенная
Окружает мой маленький путь.
Но мечта остается нетленная
Не упасть, не уйти, не свернуть.

Ничего не прошу у Господа...
У него слишком много хлопот.
Осчастливит пусть голого-босого.
А меня? Это как повезет...

Дождь и холод. Кошка жметя
к нашей двери – там тепло.
Лапкой тихо поскребется:
“Может, нынче повезло?”
Я по кошке понимаю:
даже в избранной стране
Все хотят немножко рая
Наяву, а не во сне.
Все хотят немного мира,
Где стреляют каждый день...
Чтобы в стареньких квартирах
Солнце было, а не тень.
Чтобы были близко люди,
Не на час, а на года.
Те, кто спешно не осудят.
Не отвергнут никогда.
Я с рождения не кошка,
Но понять ее могу.
Жить хочу – не понарошку
И совсем не на бегу.
Пусть не будет Аллилуйи
Но неся свою свечу...

...Не знаю, почему не спится мне.
Наверное, от мыслей о России.
Мне говорят: на новой я земле
А значит, эти хлопоты пустые.

Мне говорят... Но деть себя куда,
Когда не здесь прошли твои полвека?
И память – это чаще навсегда,
Хотя она всегда – от человека.

Я жил в стране и чувствовал ее,
И пусть в душе все было субъективным.
Но это часть меня. И бытие

России с моим миром неразрывно.

И не хочу я спешно разделять,
Что было и что есть во мне сегодня.
Не бес я, чтобы прошлое ломать,
Себя узрев в счастливом новогодье.

Я буду жить, как прежде, нелегко,
С рефлексией большого человека.
Но прошлое – не сок, не молоко,
Чтоб выпить и забыть его навеки.

И потому и дальше суждено
Родниться с тем, что кажется далече.
Здесь часто слышу: было – и прошло,
И время постепенно все излечит.

Не знаю. Не уверен. Не скажу,
Поскольку можно быстро окараться...
Я вроде бы в иной стране живу,
Но с прошлым тоже не могу расстаться.

Григорий Кульчицкий

СЧЕТ К ОПЛАТЕ

внезапно очнулся от сна
под утро 3 февраля...
в наших еврейских палестинах хоть еще не весна
но природа уже весной беременна:
набухли соски и почки, зацвел миндаль
а вы там зимуйте в своих европах-америках

живем параллельно в разных мирах
пространство на время разменивая...

а, собственно, какая разница – где жить
пока пялимся в тот же компо-теле-ящик
балдеем от картинок жутких
это высшая бюрократия бытия:
карусель входящих и исходящих
(от входа до исхода – и так тыщи раз)
чередование пауз и фраз –
вдох в промежутке

как ни тужься – ничего особо рокового
и все по плану, как счет к оплате
жизнь мыслимая как рукомойник –
(понтами Понтия Пилата)
она пропита пропета просвистана
и проживи хоть две сотни лет

¹ пилоты, летчики (ивр.)

выбор лишь меж стеной и истиной:
лицом к лицу или спиной к стене

МОТИВ

нам, которые музыкального слуха лишены,
как высшая мера – отбойный молоток и расстрел стаккато
концерт для фортепиано с Чайковским
до чего же изысканно и антрацитно в черном цвете рифмуются
фрак и рояль!

акустика зала, как акустика зла –
торжество меломанов, аплодисменты из каждого угла –
все вверх и вверх (по конвейеру нотного стана)
даешь стране музыкального угля!

ну, чем не выход – сдача на милость – явка с повинной
притворным смирением гонор свой утешать
чистосердечное раскаяние под пытками
идеи ради и проформы для

стихи всего лишь бред, а не истина
субъективная реальность – вне унижения и сверх гордыни...

вступают литавры, а над дирижерской лысиной
луна, как регбийная дыня

что бунтовать и рваться напролом
что упираться и судьбе перечить!?
когда разрыв – лишь повод и предлог
закрывать глаза и от речей отречься

плевать на все, держаться молодцом,
ты сам себе – смотритель и надсмотрщик,
кривить душою и кривить лицом
(а зеркала в ответку рожи корчат)

вокруг сплошные дыры без заплат
и разумом обычным не осилить

весь этот график, расписание, план
от сотворения мира до мессии
запомнить твердо, чтоб не позабыть
не пересказ, а сам первоисточник
попробуй, угадай, услышь шаги судьбы –
короткий выдох между троеточий...

Арье Таль

ИЗРАИЛЬ В НЕБЕ

(вольный перевод с иврита)

*Если Гос-дь не возводит дом – напрасно потеют строители
Если Гос-дь не хранит град – впустую суется страж...
(Псалом 127)*

крылатое воинство в сверхзвуковом полете
вполне в своей тарелке
(еще недавно – для мира умора!)
ныне – рутина:
брать звуковой барьер над средиземьем
оставляя на небесном своде реактивный росчерк
восьмерка бесконечности – всей земле авиаавтограф
(это вам не на заборе писать)
послание в полнеба
вплоть до горизонта,
след инверсионный –
здесь был я
распоясались таяссим!
на зависть и ревность людям земным и сонму ангелов
маршрут – от Иерусалима до самых седьмых небес...

... а в наушниках гермошлема вселенский треск,
да команды с земли вплетаются в напев Давида...

* * *

а я все силился навести порядок
понять все сразу
стараясь примирить парадокс и логику
искал-свистал и листал обрывки,
пытаясь вспомнить слова и фразы,
писанные расхожим слогом

чтобы все запомнить подряд и вразбивку
от начала к концу и опять – в начало
чтоб не путались имена и даты –
зазубрить наизусть, записать под копирку
даже ночью разбуженный отвечаю
как устав строевой назубок – солдаты

с идиотской надеждой прожить без урона
сверяя названия улиц, походку, наряды,
простуженные и расхристанные ветром кроны
а потом все это сложить-подытожить
с идиотской надеждой вернуть былое
или вернуться в него (что одно и то же)

толку что пытаться снова и снова
не поможет здесь колдовство-наваждение
а я все двигаюсь без остановок
по дороге с односторонним движением...

а с обочины удивленно глазеет народ –
чего это он прет спиной вперед...

Михаил Каганович

БЕЗНАДЕЖНОЕ НАШЕ ЗАНЯТИЕ

Безнадежное наше занятие,
За изъятием шизофрении ни на что не похожее,
Именно в силу своей бессмысленности – и тут уже без изъятия –
Наивернейшее доказательство бытия Б-жия.

Чем же, в сущности, Миша, покуда, мы здесь занимаемся?
Выражаясь высоким штилем и слогом пышным,
Ежели, всеконечно, не графомаемся (читай: графоманией
маемся) –
Мы пытаемся собеседовать с Б-гом Вс-в-шним!

Видишь тетеньку, идущую по воду?
Овод видит лишь обнаженную полоску шеи,
дяденька – справа за кустиком – лишь обнаженные шею-грудь-
бедр...
А ты должен уткнуться взглядом в расплывающиеся крылышки
этому оводу,
И уловить еле слышное треньканье с коромысла: пустые ведра.

Ибо то, чем мы тут занимаемся, – взгляд не сверху, ниже со
стороны,
но Свыше.
Я надеюсь, вы это отчетливо себе представляете, Миша?

ВЭ (ГОРЕ)

Завуч по английскому маме говорила:
«Мальчик ваш талантливый, учится легко,
Но начнет рассказывать – истукан Ярило:
Весь в коросте огненной... Где-то далеко...
То есть не подумайте, пусть вас не смущает!..
Лазарьмоисеичу вы, ведь, – не родня(?) –
Зырк в глаза, с надеждою, – Мальчик наш... вещает!
Вэ... Уж вы-то правильно поняли меня...»

Завуч по английскому, строгих лет, горянка,
С кубачинской проседью, да стройней, чем трость, –
Маме: «Попадись кому...– и пойдет шарманка!..
Ну, куда тут денешься? Он же вбит, как гвоздь –
По колено!..» Прониной дочери Петровой
Ольге... Так уж искони есть промеж людьми –
В шапке, провороненной с головы здоровой,
На больную истины, что дерьма, прими!

Маму душит ярости огненная лента,
В средостенье ломится деревянный клин.
Мириам Нафтадьевна, родом из Дербента, –
«Мэри Анатольевна», кличка Нафталин.

Разно учат матери чад. И с разным тщанием.
Без разбора, наотмашь – по румянным щам...
Типа: «Кровь поганая! Мне б, с твоим «вещанием»,
Сразу тебя выкашлять, да в ведро – к прыщам...»

Все толкует мамочке завуч по английскому...
Папа тихо склабится – не пойми чему...
«Полно тебе, Оленька! Это – мне. Как близкому...
Вэ-э!.. – уж так написано сыну моему...»

НЕМЕЦКИЙ СОНЕТ

А.Г. Иванову

Евреи в Германии быстро приходят в себя.
Там время медлительней меда и, кажется: даром, что гуще
Сам воздух, – вздыхается легче... Там Бах, всемогущий,
С любовью клянет Букстехуде, по кирхам, мехи теребя.
И Божий народ, сколь ни худы дела, а приходит в себя.

Дела же, еврейские, нешто, когда хороши?
Вот, до тридцать третьего!.. – скажем.

Да вдох в сорок пятом, пожалуй...

Кого ни спроси, и по тысячетлетней, лежалой
Улыбочке, черствой, – вместилице вещей души –
На выдохе скорбном услышишь,
что в скорби – хоть вой, хоть пляши.

Как русский мой дед – без вина! – до бесчувствия и до паду-
чей,
Бессилием до смерти мучимый, маленький, злой и могучий,
Мучитель, безвинный, как весь наш несчастный народ,
По немцам и смерти прошедший – от ужаса – вброд.

ТРИ ГРАЦИИ

Приходила ко мне, с улыбкой от уха до уха,
Искренняя, словно Родина-мать,
То ли невеста курносая, то ли жена надоевшая, то ли чужая
старуха;
Слишком коротко стриженная, чтобы сразу признать.

Сумасшедший шлагбаум ей в глазницы глядел у околицы;
«Хайль!» – на въезде осанился, ник при выезде: «Не пропадай...»
И в рожки изобилия выблядков, не отлившихся в малиновые
колокольцы,
Набивал, перекрестьем прицела осеняя небесный Валдай.

Чтоб она проступала, в клаксонные крики и пени,
С жадным в жатве серпом, и по щиколоть – в лаве машин:
Суть старуха-невеста-жена... В размотавшемся саване, в
монументальном кипении –
Невесомо-лоскутно-незыблемом, вся – титановый крепдешин.
«Мать родную в гробу не признал!..» – усмехалась с укором жена, –
«Как невесту узнаешь? А, впрочем... – без носа она...»

ШАГАЛ

И снова в моем всенощном бреду
Лошадь, бредущая в поводу,
Девка, летящая по воду.
А идише шиксэ с пустым ведром!
Как не всполошиться? – грохочет гром
Средь ясного неба, без поводу.

Народ на пригорке, вниз головой,
Крестится, крестится, как чумовой, –
Ну, кто головою вниз крестится?
Церковь и та – куполами вниз...
Святые угодники – все без риз –
В исподнем. Небесная лестница

Стонет, шатается и трещит.
Довид а-мейлах, ну где же твой щит –
Звездою шестиконечной?
Шеба дала Шлёмочке грудь
Довил, да скрой ты их как-нибудь! –
Зачем ты такой беспечный?

А девка по небу пустым ведром
Скребет. Ой, не кончится это добром!
Шикса, с косою пушистой...
Уж не она ли с литовкой-косой,
Встанет костлявой жидовкой, босой?..

В Витебск вошли фашисты.

ДРАМАТУРГИЯ

Эта небольшая пьеска была подготовлена специально для перевода на иврит, что дало бы ей возможность участвовать в ежегодном «Фестивале короткой пьесы», который проводится в Израиле. Одно из условий этого фестиваля: действие не должно продолжаться дольше пятнадцати минут. Перевод текста на другой язык – дело непростое, а иногда хлопотное и затратное. Но не безнадежное. Читатели же пока могут оценить это произведение на русском языке, на котором оно и написано, и понять, над чем стали бы, по предположению автора, смеяться израильтяне, совершенно не понимающие по-русски.

Александр Карабчиевский

ВАЖНАЯ ПЕРСОНА

(короткая комедия)

Тесная стандартная квартира без кухни: «пинат-охель», узкое окно, холодильник, стол, шкафчик с книгами, платяной шкаф, этажерка с праздничной посудой. Михаэль входит с паке-тами пошук. За ним врывается Цахи, который держит под мышкой официального вида папку с бумагами.

Цахи. Дело государственной важности! Большой секрет! Мне нужно поговорить с тобой наедине.

Мих. Но я ничего не сделал!..

Цахи. Пока что! Пока что ты ничего не сделал. Но тебя ожидают очень серьезные перспективы.

Мих. За что?

Цахи. Не волнуйся, это честь. Тебе будет хорошо. Когда-нибудь. Я Цахи Петек, канцелярия главы правительства. Особые поручения.

Мих. Очень приятно. Михаэль Абрамсон. Уборка и шмира «Атид».

Цахи. Ты Михаэль Абрамсон?!

Мих. Да, кажется, я...

Цахи. Отлично! Ты тот самый Михаэль Абрамсон?

Мих. Нет! Я совсем другой Михаэль Абрамсон. Я того даже не знаю. Что он натворил?!

Цахи. Я очень, очень рад. Наконец-то мы тебя нашли! Подумать только! Михаэль. Лучший работник. Всегда такой аккуратный, вежливый, человечный.

Мих. Откуда вы знаете? Вам мой начальник сказал? Он опять ругался?

Цахи. Начальники не всегда ценят отличных подчинённых. Но мы знаем всё. Нам известны достоинства каждого. И у нас к тебе личное дело от премьер-министра.

Мих. От кого? От него? От самого?

Цахи. Да, друг, да. От него самого. Персонально и конфиденциально.

Мих. В смысле – дискретно?

Цахи. Ну, можно сказать и так. Понимаешь, ему сейчас очень трудно.

Мих. Ой-вей. Но, правду сказать, кому сейчас легко? Ему надо помочь?

Цахи. Да, ему надо помочь.

Мих. Убрать или посторожить?

Цахи. Нет. Всё гораздо сложнее. Ему надо помочь руководить. Руководить страной.

Мих. Ну? Быть не может... А! Понял. Вы хотите, чтобы на следующие выборы я...

Цахи. Нет-нет. Никаких выборов. Мало ли что может случиться после выборов? Мы должны работать в обычной обстановке, без авралов. И вот ты...

Мих. Что – я?

Цахи. Ты должен показать, как нужно управлять страной.

Мих. Простите, в каком смысле?

Цахи. Ну, что ты такой непонятливый? Тебя же выбрали как самого понятливого. Одного из многих. Тщательный отбор. Секретный и особый. Ты. Должен. Показать. Как надо управлять. Нашей

страной. Дошло?

Мих. Нет. Как это?

Цахи. Я тебе по секрету скажу: никто на самом деле не знает, как это делать. Бен-Гурион брался – ты думаешь, всё получалось? Голда работала – думаешь, всем нравилось? Ицик пытался – и какое ему было «спасибо»? Наш тоже мучается. Вот поэтому ты и нужен. Ты – человек простой, да не простенький.

Мих. Спасибо.

Цахи. Ты – представитель народа. Значит, чаяния народа понимаешь, его надежды разделяешь, его болями живёшь...

Мих. Да, болячки есть. На прошлой неделе зуб так болел. Чтобы вырвали – триста шекелей отдал.

Цахи. Зачем?

Мих. Так лечить же дороже.

Цахи. Вот и у нас с государством так же. Но ты же видишь: справился. И с этим справишься. Надо только взяться как следует.

Мих. И как же это будет?

Цахи. А, это делается очень просто. Квартирка у тебя маленькая, конечно... Но и у нас страна небольшая. Не Америка. Работать будем здесь. Пока что. Секретно, сам понимаешь. Сейчас я команду вызову, мы тебя снарядим. Камеру установим, микрофон на тебя навесим, свет поставим, чтобы тебя было хорошо видно. И будем ситуации для тебя создавать, подавать тебе информацию. Будто ты и на самом деле премьер-министр. А ты будешь принимать решения. Без подсказок.

Мих. Совсем без подсказок?

Цахи. Абсолютно. Тебе поначалу будет гораздо легче, чем ему. У него знаешь, сколько советчиков. И хоть бы один сказал что-нибудь дельное. Кроме меня, конечно. Ему в таких условиях очень трудно разобраться. Так вот: ты принимаешь решения, мы их показываем ему, он их дублирует – и народ доволен. Как тебе нравится?

Мих. А? Неплохо... По-моему, неплохо.

Цахи. Сам придумал. *(Кричит в окно)* Э-эй, ребята, заходите. Мы готовы. Давай, давай, работаем!..

(Входят ещё трое: оператор Моти с телекамерой (у него в ухе миниатюрный наушник), осветитель Ави с прожекторами и кабелями, и девушка-звуковик Орли с набором микрофонов.)

Ави. Привет!

Орли. Хай!

Моти. Добрый день!

Цахи. Это Моти. Он из министерства финансов. Очень ответственный чиновник. Это Михаэль. Тот самый Михаэль!

Моти. Да ну? Не может быть.

Мих. Почему не может? Я действительно Михаэль.

Моти. Вот и отлично. Ни в чём себе не отказывай. Кто-то ещё в доме есть?

Мих. Нет пока. Дочка в армии. Кошка гуляет. Жена уехала к маме.

Моти. Повезло тебе, мужик!

Мих. Так она ненадолго. Послезавтра приедет.

Моти. Ничего, это поправимо. Время есть. Нам хватит.

Мих. Где, ты сказал, Моти работает?

Цахи. В министерстве финансов. Ты же слышал, что он сказал? «Нам хватит». Понял? Им хватит. А ты должен сделать так, чтобы хватило и всем остальным.

Орли. Поднимите рубашку, пожалуйста.

Мих. Какая симпатичная девушка! Меня зовут Михаэль. Вы из больничной кассы или из социальной службы?

Цахи. Она из ШАБАКа! А заодно из полиции.

Орли. Я – Орли. Но сегодня здесь я отвечаю за звук. Нет, не раздевайтесь. Только поднимите рубашку (*надевает на воротник Михаэля микрофон*). Вот это сюда, а это – туда. А эту корбочку прикрепите сзади к поясу.

Ави. Где у тебя ещё розетки?

Мих. Под кроватью.

Ави. Какой дурак сделал розетку под кроватью? Это просто преступление.

Мих. Извините, когда мы въехали, она там уже была. А нам надо было куда-нибудь поставить кровать... Я не знал, что этого нельзя.

Цахи. Не слушай его. Это Ави. Он постоянно недоволен. Он из министерства обороны. И по совместительству немножко из минздрава.

Орли. Практически из министерства обороны от больных.

Цахи. Орли, твои шпионские шуточки!..

Орли. Извините, господин премьер-министр.

Цахи. Вот так-то лучше. Видишь, тебя уже уважают.

Мих. Спасибо.

Цахи. Этим словом не увлекайся. Порезе его произноси. Чем выше человек лезет по этой лестнице, тем реже он вспоминает слово «спасибо». Даже я почти не помню, что это значит.

Орли. *(подвигает стул)* Садись вот сюда.

Моти. Ави, ориентируйся влево. Ещё влево. Ещё левее, говорю тебе.

Мих. Слушай, почему его так клонит влево. Ты же говорил, он из министерства обороны. Не журналист и не профессор университета?

Цахи. Пока не назначили. Хотя он вполне бы справился: студентов он не любит, читателей газет не уважает. Ну, готовы?

Моти. Практически да. Вот только устраним мелкие недостатки...

Мих. Не надо!

Цахи. Слышали распоряжение: не надо. Мелкие недостатки устраняются в четыре раза дольше, чем готовится весь проект. Работаем как есть.

Мих. Не надо, я сказал! Это портрет моей бабушки. Не смей его трогать! Убери руки!

Ави. Ладно, ладно. Она на тебя тень отбрасывала. Я думал, это мало ли кто. А это, оказывается, серьёзный человек...

Орли. Я готова.

Ави. Готов, командир.

Моти. Поехали!

Цахи. Отлично. Господин премьер-министр, к нам поступила информация, что некоторые ответственные чиновники берут взятки. Иногда. Но регулярно. А некоторые – понемногу, но часто. Полиция говорит, что знает их имена.

Мих. А я?

Цахи. А ты пока не берёшь. Потому что тебе пока не дают, ты только начал...

Мих. Нет, я спрашиваю: как насчёт меня?

Цахи. Что насчёт тебя? Ты пока не знаешь их имена. Но можешь узнать.

Мих. Я не об этом. А я за участие в этом деле что-нибудь получу?

Цахи. Обязательно. Сейчас у финансового начальника спро-

сим.

Моти. Конечно. Ясное дело. Всенародное одобрение и признание.

Орли. Всенародное признание вины.

Цахи. Орли! Твои полицейские шуточки...

Ави. Я же говорил, что на тебя упадёт тень! Вот она и падает.

Мих. Ничего себе! Взятки берут они, а тень падает на меня?

Моти. Это он про свет говорит. Ничего, и так сойдёт. Сказал же: мелкие недостатки не устранять.

Орли. Михаэль, почему я тебя не слышу?

Мих. А? Что?!

Орли. Теперь слышу хорошо. А почему раньше не слышала?

Мих. Может быть, потому что я ничего не говорил?

Орли. Возможно. А ты говори.

Мих. Так я пока не понял...

Цахи. Все своё получают. Все! Каждому – своё. Так вот, что нам с этими чиновниками делать?

Мих. Простить. Всех переписать и простить.

Цахи. Но как же?..

Мих. Я сказал: всех простить! На следующий раз предупредить, что надо делиться. Не всё под себя грести. Взял что-то – приходи к своему начальнику, как человек, признайся. Он тоже человек. Засветил сумму, заплатил с неё налоги – и спи спокойно. (К Орли) Красавица-полиция, ты же не будешь лезть к ним под рубашку?

Орли. Да зачем они мне нужны?

Ави. Правильно!

Моти. А если народ этого не поймёт?

Мих. Смотри какой народ. Наш народ и не должен всё понимать. Он иногда сам себя не понимает. Зато американский народ нас обязательно поймёт. А русский народ ещё лучше поймёт!

Цахи. Почему вдруг?

Мих. Спрашиваешь – отвечаю. Потому что человек, который пережил Сталина, Хрущёва, Брежнева, Горбачёва, перестройку, Ельцина и Путина, может понять всё, что угодно. Теорию относительности – запросто. Космогонию – как свой карман. После этого прилично устроиться в Израиле для него – раз плюнуть.

Ави. Слушай: Путик – это тот, кто у них теперь, да? Вроде Сталина. Про Сталина я что-то слышал. А кто такие все эти прочие?

Орли. А, не бери в голову. Это так, временные заместители Сталина.

Цахи. Продолжим. (заглядывает в свои бумаги) Господин премьер-министр, надвигается серьёзная инфлюэнция. На рынке труда – кризис. Нужно сократить расходы государства и повысить доходы. Что ты предлагаешь?

Мих. Что такое инфлюэнция?

Цахи. Ой, я ошибся. Я хотел сказать инфляция.

Моти. Да что с тобой?! Это слово каждый израильтянин очень хорошо знает.

Орли. Что тут неясного? Шекель подешевеет, доллар подорожает.

Мих. Понятно. Значит, нам надо срочно покупать доллары.

Цахи. Осторожно; в таком случае шекели станут ещё дешевле.

Мих. Хорошо, будем покупать доллары осторожно. А шекелей просто нужно выпустить побольше. Чтобы всем досталось. И справедливо распределить.

Цахи. Кто распределять будет?

Мих. Это дело трудное... Его придётся моей жене поручить. Она таки умеет. Как она мою зарплату распределяет, так мы до конца месяца доживаем без долгов. А как я сам возьмусь, – ни на что не хватает. Деньги надо распределять с умом.

Орли. Правильно! У кого больше денег, у того и ума больше.

Ави. Они сейчас честно поделены: все жалуются, что денег не хватает. А что ума не хватает – никто не жалуется.

Цахи. Хорошо, ладно. Как трансляция?

Моти. Отлично. (К Цахи, тихо) Там они в студии просто укачываются со смеху. Теперь реклама пошла. Надо бы перерыв сделать.

Цахи. Господин теневой премьер-министр, не хотите ли сделать небольшой перерыв на кофе?

Мих. Так мы же ещё работать по-настоящему не начинали.

Цахи. Потому и перерыв. Знаешь, как трудно прийти на работу, а по-настоящему её начать только после перерыва. Вот ребята и устали. Ты же руководитель, ты должен заботиться о людях.

Мих. Ну, тогда конечно.

Моти. У тебя кофе есть?

Мих. Да, вон на холодильнике банка. Мы её только начали.

Моти. Ничего, нам пока хватит.

Ави. А что, сэндвичей у тебя нету?

Мих. Извините, я не знал, что вы сегодня придёте.

Цахи. Ничего, надо же угостить девушку. Ты теперь начальник, должен понимать: голодный работник – слабый работник.

Орли. Но выглядит голодный работник точно так же, как и сытый.

Цахи. Орли, опять твои шпионские шуточки! Я посмотрю в холодильнике? О, колбаска.

Ави. Кошерная?

Цахи. В хозяйстве главы правительства всё кошерное. (К Орли) Вот, булочки нарежь. Огурцы. Помидоры.

Орли. Почему у мужиков дома такие тупые ножи? Моти, тебе сделать с горчицей?

Моти. И с кетчупом.

Ави. А мне – с майонезом. Кетчуп – это кровь убитых помидоров.

Цахи. Сразу видно военного профессионала. Ничего, вкусно...

Мих. Кушайте на здоровье. На базаре теперь всё так дорого.

Моти. Так инфлюэнция же.

Орли. (К Михаэлю) Я тебе тут немножко оставила. Пока ещё твоя жена приедет. Ай! Ты ущипнул меня за задницу! Как ты смеешь меня щипать?! Это же сексуальные домогательства на рабочем месте!

Мих. Конечно. Разумеется. Я же теперь крупный руководитель. И это – моя обязанность. Чтобы тебе потом было, что вспомнить.

Цахи. Через пятнадцать лет мы обязательно с этим разберёмся.

Мих. Через пятнадцать лет это мне уже будет не интересно.

Орли. Мало приставания, так теперь и оскорбление! Я ещё не такая старая, как кто-то может подумать. Я ещё вполне смогу понравиться!

Мих. И будешь нравиться, будешь. Это у меня тогда уже может не получиться. А пока я могу, ты мне очень нравишься.

Орли. А это опять домогательство! Не можешь – купи себе виагру.

Моти. (к Цахи) Надо продолжать.

Цахи. Да. Орли, остынь, следствие потом во всём разберётся.

По местам, ребята. Господин временный премьер-министр, позвольте передать вам личную благодарность от настоящего премьер-министра. Ты ему очень помог кое в чём разобраться. Теперь будет трудный вопрос: иногда люди жалуются, что правительство утратило прямую связь с народом. Не реагирует на его запросы, не устраняет мелкие недостатки. Что бы ты предложил, чтобы исправить положение?

Мих. Гм-м... Я бы нашёл простого человека, а ещё лучше – множество простых людей, и пустил бы их проходить по нашей израильской жизни. Пусть они решают свои проблемы, пусть работают, как все, пусть платят налоги, едят, танцуют, слушают радио, ходят в театр. Но там, где им будет трудно, пусть сразу же вмешивается премьер-министр. И немедленно помогает. И чтобы все знали, что такие простые люди есть. И что премьер обязательно узнает и накажет, если их обидеть. Но чтобы не знали их имён! Знали только, что он заступится.

Цахи. Так у нас и сейчас никто не знает имён тех, за кого он заступится.

Орли. Если заступится.

Цахи. Орли, брось твои юридические шуточки...

Моти. Вон сто двадцать простых людей в Иерусалиме собираются. Их никто не обижает, и они тоже никого. Так шуму сколько! А потом их разгоняют и новых набирают. И заступиться за них некому...

Цахи. Перейдём к внешней политике. Какой ты видишь нашу страну на международной арене?

Мих. Государство должно быть крепким. Такой себе мачо. Ван Дамм. Тайсон. Боевой крокодил. Немного брутальности не помешает. Мир должен нас уважать. И бояться.

Цахи. Не беспокоят ли тебя ядерные программы некоторых мусульманских государств?

Мих. Надо направить им ноту! Посерьёзнее. Если не уймутся – ультиматум. Если не послушаются – бомбить!

Цахи. Так сразу и бомбить?

Мих. А чего с ними чикаться! Ави, правда, наша армия – самая сильная в мире?

Ави. Ну, в общем-то... Как-то так говорят.

Мих. Ну хотя бы на Ближнем Востоке?

Ави. Да, наверное... Не исключено. Так считается.

Мих. Но хотя бы в Израиле?!

Ави. Да. Возможно. Даже наверняка. Но проверять это я лично бы не стал.

Мих. Вот видишь! Мы отдаём армии всё самое лучшее, что у нас есть. Молодость. Время военных сборов. Эм-шестнадцать. Кофе и сэндвичи. Когда страна потребует, мы встанем все как один. Правильно, Ави?

Ави. Наверное... Один, как все.

Мих. Поэтому немедленно объявить мобилизацию. Положение в Сирии угрожающее. В Ираке печальное. В Иране вообще мусульмане. В Египте проблемы. В Ливане беспокойно. В нашей стране засилье туристов из Африки, которые захватили все рабочие места. Обратимся за помощью к мировому сообществу. Высадим секретный десант в Канаде и США.

Цахи. Уже высадили. Теперь эти десантники не откликаются. Прижились, наверное.

Мих. Ничего, вернуться. Когда в Израиле станет совсем хорошо, они обязательно вернуться. А пока мы должны постоять за себя!

Орли. Сиди, сиди, не вскакивай!

Мих. Алагер ком алагер! Короче: танки – вперёд! Ракеты на позиции. Артиллерия – по местам. Авианосцы на воду!

Цахи. У нас пока нет авианосцев.

Мих. Нету? Значит, надо купить. Подводным лодкам погружение! Авиации – взлёт! Начальника Генштаба ко мне! Мы им покажем кузькину мать!

Орли. Что мы им покажем?

Моти. Не волнуйся, у тебя этого нет.

Мих. Наш народ должен стать сильным и гордым. Его придётся сплотить. Нужна активная пропаганда, ежедневная агитация, отчётность и прозрачность сверху донизу. Ави, объявляй призыв всех возрастов на защиту родины. Я первым пойду генералом-волонтером!

Ави. Остынь, братишка.

Мих. И немедленно увеличить выплаты от «Битуах леуми»! Народ это поддержит.

Цахи. Не знаю, не знаю. Может быть. (К Моти) Ну как?

Моти. Всё, они довольны. Говорят: высший пилотаж. Такого клоуна давно не показывали.

Цахи. Сворачиваемся, ребята. Всё, спасибо, Михаэль. Премьер-министр тобой очень доволен. Сеанс окончен.

Мих. Как же так?! Я ещё не на все вопросы ответил...

Цахи. А мы уже всё, что надо, спросили.

Мих. И что дальше будет?

Моти. Что будет, что будет? Покажут повтор раза четыре, потом положат на полку. Ну, может, в лучшие передачи года нарезка из программы попадёт.

Мих. Какой повтор? Он что, с первого раза не поймёт?

Ави. Кто?

Мих. Он. Премьер-министр.

Ави. Какой, к черту, премьер-министр?

Мих. Как какой? Наш! Всенародно избранный. Вы разве не от него?

Орли. Нет. На самом деле мы – вторая съёмочная группа двести восьмидесятого канала.

Цахи. Но ты не волнуйся. Канал у нас эксклюзивный, за особую плату. Премьер, может быть, его тоже посмотрит. Если найдёт время.

Мих. Не может быть!

Цахи. Ну, может, и не найдёт.

Мих. Как же так? Ты же говорил...

Цахи. Мало ли что я говорил.

Мих. И вы всё это знали?! Все знали, что меня обманывают? Как вам не стыдно?! Вы же говорили от имени правительства!

Цахи. От имени правительства иногда врут.

Моти. Да, бывает, случается...

Мих. Вы же самое обычное телевидение!

Цахи. Не обычное, а кабельное. Эксклюзивное.

Мих. Вы просто меня обманули! Оболванили.

Моти. Работа такая. Ничего личного. Телевидение всегда немножко оболванивает.

Мих. Вы обещали, что меня увидит руководство страны!

Цахи. Эге, брат, а в этом мы тебе не соврали. Настоящее руководство нашей страны кто? Народ! Причём не просто всякий народ, а тот, у которого есть деньги подписаться на наше эксклюзивное телевидение. Так что как раз он тебя и увидел.

Мих. Боже! Я, наверное, выглядел идиотом...

Орли. Да уж, что есть – то есть.

Цахи. Ничего страшного. Многие выглядят по телевизору идиотами и даже не подозревают об этом. А ты, видишь, догадался...

Моти. Не бери в голову! Выглядел ты вполне нормально. Правда, говорил ерунду. Но это сейчас никого не волнует.

Мих. Это просто подлость: прийти ко мне в дом, втереться в доверие... Чтоб вы подавились моими сэндвичами!

Ави. А-ах, кха-кха-кха! Кха-кха-кха!

Мих. Видите, Бог явно есть! И он вас накажет. Всех накажет!

Моти. *(ударяет Ави по спине, отчего тот прокашливается)* Пиво холодное по вечерам не надо пить! Шма, Израэль: Ад-най Элокейну, Ад-най эхад независимо от твоих поганых бутербродов. Нас он накажет, а тебя уже наказал. Умом наказал.

Мих. Что со мной теперь будет?

Цахи. А ничего. Завтра на работу пойдёшь. Как обычно. Ну, может, на улице тебя узнавать теперь будут. Ну, посмеются люди немножко. Так это не страшно. Со временем забудется. Всё, собралось, ребята? Пошли, пошли, у нас ещё одна съёмка.

Орли. Милый, отдай имущество *(снимает с ворота Михаэля микрофон, отцепляет коробочку)*.

Мих. Убирайтесь вон отсюда! Пошли к чертям, все! Народ вас презирает.

Орли. Не сердись, хороший мой. *(Гладит его по животу)* Пузанчик! Тебе ещё повезло. Прошлый клиент нам стриптиз показывал. Его как бы тайно выбрали самым сексуальным мужчиной страны. Вот с ним было потом тяжело. А ты молодцом держался *(неожиданно целует его)*. Прощай, сладкий.

Моти. Бай!

Ави. Ялла, бай!

Цахи. До свидания.

Мих. *(один)* Какая сволочь придумала телевидение? Есть же в мире настоящее, правдивое искусство: опера, балет, театр. Ответьте мне: ну почему, почему какая-то сволочь придумала телевидение?!

Пояснения для тех читателей, кто ещё не изучил иврит или не имеет нужды это делать.

Атид – в переводе с иврита «Будущее». Некоторые израиль-

ские предприниматели любят броские названия для своих фирм. В частности, именно в такой компании некогда работал автор.

Голда – имеется в виду Голда Меир, пятый премьер-министр Израиля.

Ицик – имеется в виду Ицхак Рабин, шестой и одиннадцатый премьер-министр Израиля. Убит в 1995 году в результате покушения.

ШАБАК (аббревиатура ивритских слов «Шерут ha-Битахон ha-Клали») – Общая служба безопасности Израиля (иногда её называют также Шин-Бет). ШАБАК относится к системе спецслужб Израиля и занимается контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. По своей функции сравнима с американской ФБР и российской ФСБ. Подчинена непосредственно премьер-министру Израиля.

Сто двадцать простых людей в Иерусалиме – израильский Кнессет насчитывает 120 депутатов.

Битуах леуми – Институт национального страхования; обеспечивает выплаты пособий неимущим слоям населения.

Эм-шестнадцать – автоматическая винтовка, состоящая на вооружении израильской армии. Находящиеся в кратковременном увольнении солдаты носят это оружие при себе.

Шма, Исразль: Ад-най Элокейну, Ад-най эхад – слова одной из важнейших молитв иудаизма: «Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, Господь един».

Для более полного и точного восприятия всех упомянутых в тексте израильских реалий автор рекомендует внимательным читателям поселиться в Израиле.

Роза Ляст

СОКРОВИЩНИЦА КЕЙСАРИИ

Кейсарию царь Ирод построил за 12 лет (22–10 годы до н. э.) в честь императора Августа по классическому образцу античного города – с храмом, театром, амфитеатром, стадионом, дворцами. Все эти сооружения выполнялись известными архитекторами, которых Ирод покупал в Греции. Кроме того, город был усыпан произведениями греческих мастеров: и храм, и театр, и амфитеатр, и дворцы, и частные дома украшали мраморные статуи, прежде всего олимпийских богов и богинь. Я уже не говорю о скульптурных бюстах знаменитых драматургов и философов, портретах римских красавиц.

Все это богатство вы сегодня в Кейсариин на самом деле не увидите. Что-то хранится в музее Рокфеллера, что-то в Израильском музее в Иерусалиме, что-то в других израильских и зарубежных музеях. Но много ли любителей Кейсариин, в том числе и русскоязычных, знают о главной сокровищнице города Ирода – археологическом музее в кибуце Сдот-Ям? Сегодня этот музей так и называется: «Музей сокровищ Кейсариин в Сдот-Яме».

Должна признаться, что по приезде в Израиль я, специалист по античной истории и эпиграфике (науке о надписях на твердых предметах), тоже не сразу узнала о музее в Сдот-Яме. Мне это чудо открыл студент Арнон Ангерт, который пришел ко мне на курс по латинской эпиграфике в Хайфском университете.

Так вот, после первой лекции подошел ко мне Арнон и с сабранской прямоотой спросил: «А знаешь ли ты, доктор, где ты можешь увидеть собрание надписей из Кейсариин? Приезжай к нам в

кибуц в Сдот-Ям и я покажу тебе их в нашем археологическом музее». И вот мы с мужем мчимся не в Кейсарию, где уже не раз побывали, а в кибуц Сдот-Ям. По звонку Арнона нам открывают ворота, и мы входим в роскошный приморский парк со скромными домиками, где почти в каждом дворике красуются коринфские или дорийские капители колонн, просто мраморные колонны, фрагменты саркофагов. Двигаемся к морю и где-то метрах в пятидесяти от берега оказываемся у входа в музей, где я просто застываю на месте: передо мной такой знакомый мраморный торс выходящей из моря Афродиты (у римлян – Венера морская, покровительница моряков). Сколько раз я видела ее в музеях мира! И вот она здесь, такая обворожительная. От неё невозможно отойти.

Подходит Арнон и гордо сообщает: «Её хотели увезти в Америку на выставку, но Ахарон (основатель и первый директор музея) не дал». Об Ахароне мы еще поговорим. Арнон спешит показать нам скульптурные шедевры, которые хранятся в скромных залах музея. Мы с мужем не раз побывали потом в этих залах, их богатство невозможно описать словами, это надо видеть. Я не искусствовед, поэтому назову скульптурные произведения, которые меня особенно поразили.

В почетном углу одного из залов возвышается великолепная статуя Тихе – богини фортуны, покровительницы города. В другом зале еще одна статуя Тихе, облаченная в короткий плащ амазонки. В музее хранится статуя Афины, хотя она не была культовой статуей Кейсарии и не украшала общественные здания, скорее всего она находилась в какой-нибудь частной вилле. Интересна скульптура Асклепия, бога врачевания. Но особенно поразительна редкая статуя его дочери Гигеи (здоровье). Все они, может быть, менее впечатляют, чем торс Афродиты, но тоже достойны выставляться в знаменитых музеях мира и выставлялись. А еще трудно отойти от мраморной головки Афродиты, бронзовой статуэтки Афины. Вас просто окружают образы греческой мифологии, сделанные лучшими мастерами из Греции, греческих островов, из городов Малой Азии. В Сдот-Ям надо ехать и смотреть.

Переполненные впечатлениями выходим в очаровательный дворик, и первое, что бросается в глаза – статуя римского императора без головы, при этом вокруг шеи неестественно глубокий

вырез. А это уже изобретение провинциальных римских скульпторов: со сменой императора не трудиться над изваянием новой статуи, а просто менять голову.

Оглядываюсь вокруг и оказываюсь в лесу колонн с вырезанными на них греческими и латинскими надписями. А между ними постаменты к статуям или бюстам римских военачальников, наместников провинции, магистратов города с надписями почета, саркофаги, надгробные греческие надписи, часто с еврейскими именами. И все это под открытым небом.

А я училась эпиграфике в Херсонесе (археологический музей под Севастополем, «русские Помпеи»). Моим учителем была специалист с мировым именем проф. Элла Исааковна Соломоник. Она приехала в Израиль пожилым человеком и ей сразу предложили ставку в Иерусалимском университете. Так вот, Элла Исааковна и представить себе не могла, чтобы какой-то фрагмент камня с надписью оставался под открытым небом: всё собиралось в лапидарии, помещении, где хранились каменные плиты с надписями, камни с фрагментами надписей. Мы – студенты, размещались за скромным столом. Но все было в помещении под крышей, каждая надпись изучена, опубликована в солидных журналах.

А здесь что – непаханое поле? Такое бесценное ничейное богатство? «Вот я сейчас здесь развернусь». Не успела я озвучить свои мечты, как холодный голос Арнона стал рассказывать, какие столпы мировой эпиграфики много лет изучают собрание надписей в музее. С 50-х годов прошлого века здесь работал проф. Иерусалимского университета Барух Лифшиц, ученик знаменитого Робера, профессора Сорбонны.

К началу 70-х годов в университетах Израиля появились талантливые блестяще образованные молодые эпиграфисты, которые внесли немалый вклад в исследование надписей из музея в Сдот-Яме. Кроме того, в музее работало немало зарубежных эпиграфистов: здесь были и итальянцы, и немцы, и, конечно, американцы. Американцы 30 лет изучали надписи из Кейсарии, разбросанные по разным музеям мира. Результатом этого труда явился солидный том «Греческие и латинские надписи Кейсарии». Так вот, в указателе источников материалов книги на первом месте музей Сдот-Ям.

За 70 лет своего существования музей Сдот-Яма стал настоящей Меккой для ученых эпиграфистов, искусствоведов, нумизматов, исследователей подводного мира Кейсарии.

Мне тоже посчастливилось исследовать несколько новых фрагментов надписей. Но музей мне дорог не только научными изысканиями. С конца 80-х годов в течении 20 лет я ежегодно проводила в музее практические занятия со студентами. Эта работа была частью моего лекционного курса по латинской эпиграфике, который я читала на кафедре археологии Хайфского университета.

Учить молодых людей разбираться в надписях на камне было настоящим праздником. Вслед за моим прекрасным учителем и другом Эллой Исааковной я не уставала повторять: «Эпиграфика – не прочтение надписей в готовых статьях. Эпиграфика – это работа, прежде всего, с камнем». Ни одна самая совершенная фотография, не говоря о рисунке, не может точно передать того, что выбито на камне, даже если это мрамор.

Я помню, какая у меня была длинная переписка с главным редактором журнала по эпиграфике и папирологии Вернером Экком по поводу одной буквы на фрагменте надписи как раз из Сдот-Яма. На фотографии просматривалась латинская буква «l», а на фрагменте прощупывался просто край камня. Проф. Экк в конце концов согласился с моей версией. Все эти секреты эпиграфических исследований я старалась передать моим ребятам.

Моей радости не было конца, когда я видела с какой увлеченностью они по буквам разбирали и анализировали тексты на колоннах, постаментах, надгробиях, с каким интересом сравнивали напечатанные тексты с тем, что они видели на камне. Я была счастлива от их бесконечных вопросов. Помню, как долго мы беседовали около одного саркофага. Саркофаг был роскошный, по всем признакам в нем был захоронен римский офицер высокого ранга. Однако, на лицевой стороне надгробная надпись была сбита. А на обратной стороне саркофага греческая надгробная надпись византийского периода с именами членов семьи, которые покоились в этом саркофаге. Случай типичный: останки римского офицера были выброшены, его надгробная надпись уничтожена, а на обратной стороне саркофага были выбиты имена новых обитателей.

Для студентов археологов практические занятия по эпиграфике необходимы прежде всего на раскопках, где открытие надписи всегда самая большая удача. Помню, когда мы копали «ров Владимира» в Херсонесе, мои студенты как-то прокричали: «Золотишко бы найти», на что директор музея заметила: «Какое там золотишко, надпись, надпись нам нужна!» Вот студенты, которые проходили у меня практику в Сдот-Яме, хорошо знали, что на раскопках надпись дороже золотишка.

«Музей сокровищ Кейсарии» интересен не только своей экспозицией. Он замечателен еще одним сокровищем – людьми, которые создавали, хранили и продолжают хранить этот уникальный музей.

Второго мая 1940-го года в группе ребят, которые из Хайфы отправившись в район Кейсарии, чтобы помочь поселенцам удержаться в Сдот-Яме, оказался Ахарон Вагман. Поселенцы жили в палатках, у них не было средств к существованию. Чтобы продержаться в этом месте требовалось «Императоры, Музеи» кристальная честность, самопожертвование.

Ахарон не только владел временем и талантами. Кроме того, он был предвидящим талантом организатора и дипломата. Не случайно он был избран поселенцами казначеем и управляющим по связям с окружающим населением, в первую очередь с арабами. Но главной заботой Ахарона стали вопросы британского мандата, которые старались не допустить, чтобы палаточный лагерь евреев превратился в постоянный законный поселок. В диких условиях войны с британскими войсками Ахарону удалось отстоять права на землю и строительство постоянного жилья. Примечательно то, что интерес к археологии возник как раз в 1940-е годы, когда им было нужно было доказать историческое право евреев на эти земли. Обратный разворот приходилось не археологами и историками, а с политическими. Ахарон добрался до археологов. Одно время он и протипично времени на изучение истории Иудеи и очень скоро понял, что прошлое его народа буквально вопит из каждого угла палаточного лагеря и округи.

Значительная часть того, что украшало когда-то город Ирода, со временем было утеряно. Но в сороковых годах среди развалин Кейсарии можно было еще найти античные колонны, статуи греческих богов, керамику, монеты, надгробия простых евреев и гре-

ков, саркофаги римских офицеров. . .

Ахарон решил превратить еврейское поселение в историко-археологический плацдарм. Человек действия он обратился к поселенцам с призывом – создать в Сдот-Яме музей древностей Кейсарии. Поселенцы горячо откликнулись на идею Ахарона. Ребята, работавшие на стройках и в сельском хозяйстве, начали собирать все, что открывали в земле Кейсарии, и передавать Ахарону. Рыбаки приносили ему керамические изделия, иногда целые амфоры, посуду, монеты, геммы.

Ахарон стал своим человеком на археологических раскопках; археологи его обожали, с особым пиететом относились к его эрудиции в области еврейской истории и археологии, горячо поддерживали его идею создания музея, пополняя его коллекцию своими открытиями.

Я не случайно так подробно рассказала об Ахароне Вагмане. Этот человек не просто создал музей, он спас массу бесценных произведений искусства от исчезновения, превратил музей в культурно-воспитательный центр. Он поражал детальным знанием каждого экспоната музея и развалин Кейсарии. Ахарон был признан Академией наук Израиля особым специалистом по истории Кейсарии и её древностей. Он открыл последующим поколениям хранителей древностей преданность и полную самоотдачу своему делу, а главное, постоянное стремление к образованию, детальному знанию сокровищ музея и неустанное стремление нести в народ «разумное, доброе, вечное».

С одними из таких наследников – Арноном Ангертом и его женой Риной, мне посчастливилось работать. Кроме того, я постоянно пользуюсь консультациями моей коллеги доктора Ривки Гершт из Тель-Авивского университета, специалиста по скульптуре Кейсарии. Её книга «Музей древностей Кейсарии в Сдот-Яме» (на иврите, с аннотацией на английском) – мой главный справочник.

Сегодня музей хранит молодая женщина Рут Садок. Продолжая традиции своих предшественников, она пытается внести новую струю в культурно-образовательную работу, в частности, она стремится приобщить к истории и искусству молодежь. По ее инициативе постоянными гостями музея стали подростки и даже дети.

Закончить свой рассказ мне бы хотелось словами проф. Ашера Овадии, заведующего кафедрой истории искусства Тель-Авивского университета: «В музее царит атмосфера диалога между посетителем и экспонатами, где обе стороны выражают восхищение прошлым Кейсарии».

Галина Подольская

И.Е.РЕПИН И ЕГО ПЕРСОНАЖИ В ДУХОВНОЙ СТОЛИЦЕ МИРА НА КАРТИНЕ ВИКТОРА БРИНДАЧА

*Не думаю, что художник вообще знает, зачем он
делает то или иное – это не поддается логике...
все это просто изливается из нас.*

И.Е.Репин

*Иерусалим объединяет нас. Только у каждого –
свой черед.*

В.Ф.Бриндач

В ИЕРУСАЛИМ – К ЖИВОЙ БИБЛИИ

Израильское изобразительное искусство, как и культура любой страны мира, имеет свои особенности, коренящиеся в истории Государства Израиль.

В 1948 году Еврейское государство основывалось по национальному принципу. Археологические находки оказались замечательной базой, подтверждающей историческую обоснованность прав евреев на эту землю. Ныне в Израиле приходится самое большое количество историко-археологических музеев на душу населения. Несколько иначе развивалось изобразительное искусство. Утверждая еврейское начало, многое из мировой культуры не учитывалось, поскольку в этих произведениях *не читались*

признаки национального начала. Получилось так, что вместе с возрождением языка Торы как языка государственного, произошла попытка создания *искусственного искусства* – искусства, недооценивающего опыт культуры, привозимой на эту землю из стран диаспоры. Но нынешний Израиль – это государство многонациональное. Время диктует свое.

И сегодня в его культуре, изначально ориентированной на традиционное еврейское и современное концептуально-абстрактное искусство, появились новые духовные ориентиры, связанные с осмыслением утерянных культурных пластов.

В истории остается только то, что уже свершилось. Так, задолго до создания государства Израиль на этой земле в христианских храмах оказались шедевры мирового изобразительного искусства, в том числе мастеров из восточной Европы. Только в Гефсимании имеются иконы и библейские картины кисти В.П.Верещагина, М.В.Васильева, А.И.Корзухина, П.П.Соколова, П.С.Сорокина, С.И.Иванова, мозаики Сальвиотти, в Храме Св. Александра Невского – Н.А.Кошелева, В.Ф.Пасхина. Этот список можно продолжать. Важно, что настоящий пласт восточноевропейской культу-

ры живет на земле Израиля. Это произведения, к которым вне стен государственных музеев идут тысячи тысяч людей. Совершенство, с которым выполнены эти работы, облакает эти места аурой таланта мастеров восточноевропейской диаспоры, что, в свою очередь, также привлекает к Израилю натуры, ищущие мир в себе. Присутствие на Святой Земле этого удивительного пласта культуры нередко становится темой для диалога искусств, который в какой-то момент творческого осознания себя начинает волновать авторов, проживающих в Израиле, но получивших профессиональное образование в странах восточноевропейской диаспоры. У каждого – свое время, хотя и не каждому удается материализовать эти мысли в творчестве...

Но гений-случай и гений места терпеливо ожидали своего часа в слоях ландшафта Палестины, сохранившего *следы Ильи Ефимовича Репина, русского живописца*, на этой земле нынешнего Израиля. И.Е.Репин – художник-титан, которому в творчестве было все по силам, – он был безоговорочно воспринят В.Бринда-

чем с юности – в годы проживания в СССР.

И.Е.Репин мечтал увидеть библейские и евангельские места, поскольку не раз обращался к ним в творчестве. В 1898 году художник отправился на Святую Землю, заметив в своем интервью для одесской газеты: «Я еду собирать материалы для картины «Искушение Христа». В середине июня он отплывает из Одессы в Константинополь, а в конце месяца отправляется в Иерусалим. Своими впечатлениями И.Е.Репин делится со знакомыми в письмах: «На днях при луне мы прошли мимо Дамасских ворот, вдоль стены Иерусалима спустились к Кедронскому потоку в Иосафатову долину до гробницы Авессалома. Всю дорогу говорили о важных вопросах духовной жизни человека. После поднялись в Гефсиманские ворота и прошли весь Иерусалим».

В августе он вновь возвращается в Иерусалим. В письме, отправленном художником из Палестины, читаем: «Всюду живая Библия. Как впечатлительно в 3 часа утра, еще при ярких звездах и блестящем серпе месяца, идти под стенами Иерусалима, спуститься к Гефсиманскому саду и встретить солнце на колокольне церкви Вознесения. Да во всем Иерусалиме есть что-то трогающее до слез. Этого во всем мире нет. Нет слов для выражения чувств. Иосафатова долина, Кедронский поток, гора Злого Советания, Сион – от всех мест веет бессмертной думой. Во время пребывания в Палестине нарисовал голову Спасителя – «Несение Креста» в русскую церковь “На раскопках”».

Отношение И.Е.Репина к Иерусалиму и его личные впечатления в дальнейшем наполнили портреты библейских персонажей художника духовным светом, оставшемся в нем после паломничества на Святую Землю, – это то, что подвело Виктора Бриндача к мысли о создании картины «И.Е.Репин в Иерусалиме». А сам факт, что одной стеною церковь «На раскопках», то есть Храм Св.Александра Невского, примыкает к стене Храма Гроба Господня, подсказал замыслу эпический характер внутренней связи между И.Е.Репиным и Иерусалимом.

КРЕСТНЫЙ ХОД И.Е.РЕПИНА В ИЕРУСАЛИМЕ

Говорят, что если ты *построил дом, посадил дерево* и *воспитал сына, значит, состоялся. Однако во времена И.Е.Репина для*

человека, воспитанного в традициях православия, *этого было недостаточно*. Как стипендиат, а позже, как профессор Императорской Академии художеств, он бывал в Италии, Франции, Германии. Но, как человек православный, И.Е.Репин был убежден, что должен посетить Святую Землю и проверить на истинность приобретенный духовный багаж. И привезти на эту землю – свое дерево, у которого, помимо корней, и ствол, и ветви, и крона, и новые побеги – все свое. Это та мысль, которая стала отправной точкой для израильского художника Виктора Франтишковича Бриндача (род. в 1941 г.) при создании картины «И.Е.Репин в Иерусалиме», над которой художник работал на протяжении 2016-2017 гг..

По замыслу В.Бриндача, И.Е.Репин должен был оказаться со всеми созданными им к тому времени героями своих картин, весьма неоднозначно воспринимавшихся современниками. Человек творчества по природе влюбчив, особенно если воспитан на русской культуре. Так В.Бриндач влюбился в идею моментального счастья – увидеть на своем полотне кумира юности рядом с персонажами его картин перед Храмом Гроба Господня.

И.Е.Репин не раз видел крестные ходы у себя на родине, в Чугуеве. В 1881 году он ездил в окрестности Курска, где ежегодно летом и осенью совершались известные на всю Россию крестные ходы с Курской чудотворной иконой Божьей Матери «Знамение», сделал зарисовки с натуры. Этой теме художник посвятил ряд работ – «Крестный ход. Явленная икона», «Крестный ход в дубовом лесу», «Крестный ход в Курской губернии». Мать И.Е.Репина была женщиной религиозной, не раз в доме принимала странников, многие из которых рассказывали о житиях святых и Святой Земле с Храмом Гроба Господня. Двоюродная сестра художника Эмилия (в монашестве Олимпиада) была монахиней в Никольском монастыре на Харьковщине. Для Харьковской губернии художником были также написаны иконы евангелистов Марка и Иоанна, ныне находящиеся в собрании Харьковского художественного музея. Это те факты биографии его близких, к которым И.Е.Репин относился с уважением. Из них сложился духовный мир художника. Это было тем, что не обсуждалось. Кроме того, И.Е.Репиным были написаны образа Спаса Нерукотворного и святых Веры, Надежды, Любви для иконостаса церкви в Абрамцево,

иконы для церкви в своем имении Здравнево (в 16-ти км от Витебска). Значительное место в творчестве И.Е.Репина занимают библейские сюжеты. Все это в понимании И.Е.Репина было составляющими миропорядка.

Известно, что с возрастом человек становится более *ответственным перед душой*. И И.Е.Репин в этой связи не исключение. С особым почтением художник относился к образу Николая Чудотворца, связывая историю этой иконы с событиями в собственной семье. По воспоминаниям дочери Веры, на смертном одре последними словами угасающего И.Е.Репина были: «Христос со мною». В этих штрихах к портрету художника нет ничего необыкновенного для человека, выросшего в традициях Российской империи XIX века.

Но И.Е.Репин был гением. Его интуитивные прозрения художника были выше собственных философских размышлений. В самой *«слишком реалистичности»* созданных им образов. И по живым лицам, позам, жестам, движениям, одеждам – находишь *«выпуклый ответ»* на то, что волновало И.Е.Репина и его современников. Казалось бы, что для православной России было более типичным явлением, чем крестный ход? Однако злые языки (на то они и «злые») поговаривали, мол, собирает И.Е.Репин своих героев в ночлежках да домах скорби! Мол, все это – карикатура на общество приличных нравов... А сотворенный художником мир живет на картине, запечатлевшей шествие сотен людей разных возрастов и званий – из благородных и штатских, военных и мирян, духовенства и просто народа. Картина дышит, обескураживая выразительностью противоречий и обнаженностью контрастов бытия. И *слишком реальность* была лишь его славянской душой-бродяжкой, душой без двойного дна, которая влила эмоциональную силу в природную наблюдательность и мастерство художника. Но определенной частью общества эта работа, написанная по сути с натуры, была расценена как *не историческая*. Школа иронии нравов и злословия победила, но не навсегда.

«Крестный ход в Курской губернии» – картина не только *Историческая*, но и *Религиозная*, поскольку отражает православную традицию крестных ходов как *эмоциональное действие*, объединяющее всех его участников перед Всевышним. Мысль о создании масштабного *эмоционального действия* становится основопо-

лагающей и для Виктора Бриндача в работе «И.Е.Репин в Иерусалиме», выбравшего местом действия площадь перед Храмом Гроба Господня. Перед нами – большая многофигурная композиция, составленная из персонажей произведений И.Е.Репина, созданных до его паломнической поездки на Святую Землю, то есть до 1898 г.

Композиционно В.Бриндач опирается на полотно «Крестный ход в Курской губернии» и хрестоматийно узнаваемые образы. Они располагаются по правую сторону от И.Е.Репина. Только крест на полотне В.Бриндача несут не так, как в России, а так, как это делают паломники в Иерусалиме. На заднем плане «палестинской фантазии» – турок в феске. Это и понятно: во времена И.Е.Репина Палестина была под властью Османской империи. От турка и «Женщины с кинжалом» к центру следуют репинские «Богомолки-страницы» и герои крестного хода... Вот вам и проверка на истинность образов русского мастера, сына кантониста.

Исследователь по натуре, В.Бриндач пытается запечатлеть многогранность натуры И.Е.Репина, масштаб которой проявлялся в необъятном интересе к жизни и любви ко всему, что становилось объектом изображения, сюжете и образах, ощущении свободы во всем, творимом им на полотне. И.Е.Репин всегда позволял себе это, поскольку не боялся труда, воплощая то, что волнует. А ко времени поездки в Палестину в его жизнь ворвалась любовь, которая у людей незаурядных не бывает легкой, – любовь нежданная, зрелая, перевернувшая жизнь...

Не случайно в композиции Виктора Бриндача за И.Е.Репиным узнаваем портрет писательницы Натальи Борисовны Нордман-Северовой – женщины, с которой художник уже связал свою жизнь. Она ратовала за раскрепощение прислуги, соблюдение ее прав, установление 8-часового рабочего дня вместо 18-часового. Она могла пригласить за стол горничных и конюхов, не смущаясь именитых гостей, могла пожать руку швейцару в гостинице, поздравить с Рождеством лакея. Не потому ли, что была крестницей отменившего крепостное право Александра II? В ней было много непривычного, даже шокирующего для своего времени. Но, невзирая на реакцию окружающих, она обладала талантом облекать в жизнь идеи, ставшие смыслом ее бытия. В Пенатах она помогала таким, как помещенные от нее слева образы с картин И.Е.Репина

– «Старуха», «Горбун», «Нищая» («Девочка-рыбачка. Вель»), «Крестыанская девочка». И она же, как простолюдинка, могла выставить «Мужика с дурным глазом», а заодно и «Мужичка из робких». Сохранилась вещественная деталь, подтверждающая эмоциональную связь И.Е.Репина и Н.Б.Нордман-Северовой в период пребывания художника на Земле Обетованной, – скатерть, привезенная И.Е.Репиным из Палестины и подаренная будущей супруге, как подарок сердца. Эта скатерть и по сей день напоминает о палестинской поездке, находясь в экспозиции музея–усадьбы И.Е.Репина «Пенаты». В прихожей в углу между зимней верандой и столовой стоит рабочий столик Натальи Нордман. Он накрыт шелковой серой тканью, в лиловую полоску, купленной в Палестине.

Здесь же, у Храма Гроба Господня, рядом с И.Е.Репиным – герои, в которых воплотились мучившие художника проблемы, в частности, на народовольческом полотне «Не ждали», запечатлевшем возвращение с каторги политического ссыльного... Убийство императора Александра II. Массовые аресты, последовавшие за этим событием. И.Е.Репин, как и многие его современники, испытал на себе демократические влияния, которые выразились в творчестве. В чем же смысл *подвига* людей, готовых жертвовать чужой жизнью и своей одновременно? Нужен ли такой подвиг их семьям? Стоит ли испытывать судьбу?

В 1898 г., когда И.Е.Репин находился в Иерусалиме, избранница художника – Наталья Нордман-Северова – уже носила под сердцем его дитя, ожидая И.Е.Репина из паломничества, чтобы сообщить ему о будущей дочери.

Окружение по-разному относилось к их союзу, в котором женщина вела себя так, как было не принято в ее сословии. Шумная, деятельная, целеустремленная, всегда доводящая свои «реформистские идеи» до конца, идущая по жизни так, словно не боялась своих ошибок. Она вдохновляла И.Е.Репина, не терпевшего по жизни бездельников. Н.Нордман-Северова вносила в его жизнь ощущение времени и потребности в реформах во имя реального созидания общества. Находясь рядом с И.Е.Репиным на протяжении 17-ти лет, она осталась собою, не став тенью гениального мужа, но завещала подаренное ей И.Е.Репиным имение под музей великого художника, с которым была рядом. Наверное, сей «недостаток», в конечном счете, ей и не простили современники, хотя

именно это качество и определяло союз И.Е.Репина с Н.Б.Нордман-Северовой.

Рядом с Н.Б.Нордман-Северовой – чугуевский «Протодиакон» (1877 г.), «Мужик с дурным глазом» (1878 г.), «Монахиня» (1878 г.), «Блондинка. Портрет Ольги Тевяшевой» (1898 г.) – из старинного Харьковского рода. Эти репинские персонажи связаны с Харьковщиной. И, в свою очередь, это близко В.Бриндачу – уроженцу Харькова.

Жизнь человека, взявшего на себя хотя толику миссии, всегда сложна. По В.Бриндачу – паломническая поездка И.Е.Репина на Святую Землю – это личный отчет мастера перед Всевышним. Не случайно мизансцена, запечатлевшая это эпическое событие в жизни всех ее персонажей, происходит перед Храмом Гроба Господня. Мы видим умудренного сединами Мастера и героев, последовавших за ним, как за своим пастырем. Таков итог взаимоотношений художника со своими героями. Наверное, так оно и есть? И.Е.Репин не раз замечал, что он *«изображает на картине только те лица, которые сами «просятся» на холст. Это очень тонкая вещь, и ее невозможно объяснить никакой теорией»*. Как знать, быть может, эта харизма правдивца и помогла мастеру не упустить в своей жизни главного? *«Если живописец решит пренебречь истиной ради красоты, то неизбежно погубит свое творение»*, – писал художник. И это художественное понимание *«истины»* было для него *«превыше всего на свете»*. Не потому ли, как сестры по рождению, в жизни И.Е.Репина сходились вдохновение, мастерство и внутреннее движение? По сути именно это репинское сочетание и передается зрителю, как ощущение подъема.

Это ощущение внутреннего подъема стремится воплотить и Виктор Бриндач, изображая И.Е.Репина одухотворенным и радостным. По В.Бриндачу – художник-правдивец привел своих героев к Храму Гроба Господня в Иерусалим на суд Всевышнего, который и есть праздник, ведь каждый из приведенных сюда персонажей выполнялся И.Е.Репиным так, как если бы хотел предстать чистым перед Всевышним. Пытаясь воссоздать это ощущение, В.Бриндач опирается на стилистику, восходящую к изобразительному искусству XVII-XVIII вв. Все репинские персонажи узнаваемы,

но *надреальны*. К камерности многих портретов добавилась характерная для парадных портретов торжественность, даже пафосность, а в глазах есть нечто от канона. Почему? Да потому, что совершили духовное паломничество к Храму Гроба Господня, которое для них новое измерение и испытание одновременно.

К таким размышлениям побуждают факты из биографии мастера. Работая в артели иконописцев, И.Е.Репин создал одну из лучших копий с иконы св. Александра Невского, ставшую для него знаковой в принятии решения – копить деньги, чтобы ехать в Санкт-Петербург и поступить в Императорскую Академию художеств. А теперь в святом Иерусалиме, в Храме Александра Невского, что одной стеною примыкает к Храму Гроба Господня, находится этюд «Несение креста» И.Е.Репина. Этот артефакт сегодня приобрел символическое значение, как несение художником креста, в котором заключена Божья помощь – нести миру свой талант. Такова миссия Художника масштаба И.Е.Репина. Но как передать этот масштаб в работе о нем?

В.Бриндач – художник редкого внутреннего порядка. Он находит такое решение. Картина В.Бриндача «И.Е.Репин в Иерусалиме» представляет фантазийный групповой портрет, созданный по мотивам жизненного и творческого пути портретируемого. Перед нами – многофигурная работа, построенная на композиционных ремейках и цитатах из картин И.Е.Репина, созданных мастером до паломнической поездки на Святую Землю. На полотне В.Бриндача, вместившем более четырех десятков героев, сочетаются разные виды портрета, соподчиненные законам группового композиционного портрета.

При создании образа И.Е.Репина В.Бриндач обращается к ретроспективному портрету. Художник опирается на фотографию И.Е.Репина 1910 г. «И.Е.Репин в мастерской», а потом «*Досочиняет*». Он переносит И.Е.Репина в события паломнической поездки на Святую Землю. Портретируемый дан старше, умудрен сединами, что и логично для «*творческого отчета*» перед Всевышним.

По цитируемым фрагментам из картин «Воскрешение дочери Иаира», «Крестный ход в Курской губернии», «Проводы новобранца», «Не ждали» очевидно, что израильский художник пыта-

ется воссоздать репинское ощущение религиозной, исторической, жанровой живописи. Их гармонично дополняет галерея портретов крестьян, прообразы которых, подобно чувству почвы, были всегда близки И.Е.Репину и оказывались прототипами персонажей на любом историческом полотне.

Но И.Е.Репин – это не только история страниц былого. Он – художественный фильтр и выразитель своего времени. Вот почему в окружении художника на полотне «И.Е.Репин в Иерусалиме» есть и современники художника, чьи личности были воздухом его бытия. В этой связи несомненную значимость обретает образ народника В.К.Сютаева, с которым И.Е.Репина познакомил Л.Н.Толстой. По учению В.К.Сютаева, причины войны – величайшей из несправедливостей в мире – коренятся в недостатке любви среди людей. Человеку нужно счастье на земле: *«Что там будет, не знаю, на том свете не был»*, а *«истинное христианство в любви»*, *«где любовь, там и Бог»*, – говорил В.К.Сютаев.

И.Е.Репина всегда привлекало общение с людьми просвещенными, образованными и носителями творческих профессий. Вот почему в групповом портрете, созданном В.Бриндачем, столь уместны «Портрет актрисы Пелагеи Стрепетовой» и портреты вдохновенных спутниц уважаемых им современников – супруги флагманского врача Балтийского флота Яницкой и красавицы С.Драгомировой в украинском наряде. Здесь же – галерея родных И.Е.Репину женщин, которые в разное время были с ним рядом – «Портрет В.А.Репиной, жены художника» (пусть даже их жизнь развела), дочери Веры («Осенний букет»), двоюродной сестры («Монахиня»), будущей жены – писательницы «Портрет Нордман-Северовой».

Заметим, что многие из этих образов в прямом смысле «дописаны» В.Бриндачем – поясные портреты переведены в полный рост, а лица даны в зеркальном отражении. В этих деталях – движение – от эпохи к эпохе.

На фантазийно-биографическом полотне «И.Е.Репин в Иерусалиме» жизнь и творчество художника сливаются в единую субстанцию перед Всевышним. Такова главная мысль картины-утопии В.Бриндача, на которой И.Е.Репин представлен в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающим его миром – пришел в Ие-

русалим паломником, приведя в паломничество и героев своего творчества. Сейчас они все равны. Они едины духом перед Всевышним (религиозный мотив). Они на равных у Храма, как прорисованные камни «тела Храма» и булыжной площади перед ним (архитектурный мотив). И небо, и земля здесь каждому равно отмерены (природный мотив). И все это уложено В.Бриндачем в *композиционном портрете* – любимейшем жанре И.Е.Репина – сложном, многодельном, трудоемком, который по силам только художнику, не щадящему своих сил во имя замысла. Так обозначаются вершины многогранника, наполняя картину эпическим звучанием.

«И.Е.Репин в Иерусалиме» – картина художника Израиля, родившегося в Харькове. Художественные раздумья В.Бриндача над парадоксами в жизни И.Е.Репина, облаченные в иерусалимский сюжет, который – по большому счету – сложился только потому, что есть лица, которые *«сами «просят» на холст»*, и это *«невозможно объяснить никакой теорией»* (И.Е.Репин). Художник живет во имя воплощения этой *«очень тонкой вещи»* (И.Е.Репин), как на краеугольном камне Иерусалима, где в Храме св. Александра Невского висит этюд «Несение Креста» И.Е.Репина. На его оборотной стороне значится надпись: «Сей образ Несение креста, написанный мною в Иерусалиме, приношу в дар Иерусалимской русской церкви «На раскопках»...»

Земля Обетованная – земля трех религий и истины для тех, кто в них верует. Облака света окутывают Храм Гроба Господня. Они сошлись в Звезду Давида, которая, несмотря на движение на небе, словно остановилась над куполом храма, крест которого спрятался в сиянии светила, а звезда горит на небесах... Каждый видит так, как может видеть, и мыслит согласно течению собственных мыслей.

Мудрые законы бытия и нашего предназначения в нем... Воистину, судьбе было угодно, чтобы его жизненный и творческий путь, пролежавший через Харьков, Уфу, Йошкар-Олу, Москву, Одессу, Нижний Новгород, Воскресенск, Москву, по роду заказов – многие города Поволжья, Чехии, – привел Виктора Бриндача на историческую родину. Израиль стал логическим продолжением и, по-видимому, конечной точкой странствия художника, где он вос-

принял национальные и историко-культурные темы Израиля как заветы своей новой земли.

Ощущение Израиля, как конечного берега своего странствия земного и достижения вершин в творчестве, позволили В.Бриндачу на мгновение остановиться и оглянуться назад, и задуматься над культурным багажом, который привез с собою, который открылся кладезем на Святой Земле. Иначе разве смог бы родиться столь мудрый и величественный замысел, как «И.Е.Репин в Иерусалиме» – долгосрочный взгляд на содержательные грани израильского искусства, возможные при диалоге с русской культурой.

Работа Виктора Бриндача «И.Е.Репин в Иерусалиме» – это развитие и сохранение традиций – без торможения на них. Это движение вперед – без замыкания в рамках традиционной культуры. Это готовность черпать в мировой культуре лучшие достижения. Это умение органично приспособлять их к творческим задачам задуманного произведения – согласно собственным интересам.

Мы приехали в Израиль и восприняли его, как вторую родину, но в ее культуре не было нас и нашего вклада, что по сути – клад, способный заполнить пространственно-временные лакуны культуры Израиля, как светского многонационального государства.

Говорят, что каждый сам кузнец своего счастья. И сегодня мы как деятели культуры своей страны создаем ее культуру – творим, согласно привезенным сюда этическим и эстетическим ценностям, обогащающим израильское изобразительное искусство во имя будущего Государства Израиль.

«Культура есть двигатель. Культура есть сердце <...> Мы творим Культуру» (Н.Перих).

ДУША

Сколько раз, размышляя над судьбою репинского этюда, подаренного им Храму Александра Невского в Иерусалиме, я думала о счастливой судьбе его дара сердца. Сколько глаз ежедневно видит картину...

Рассказывают, что она слезоточила. И тогда «Несение креста»

перенесли в царские покои Александровского подворья.

Специалисты утверждают, что иконы слезоточат от разности температур в храме, человеческая душа – от высоты, в коей – «ничтожество до небытия», – как писал И.Е.Репин. Быть может, от созерцания репинского «Несения креста» кто-то из молящихся и «почувствовал Бога живого», и «экстаз молитвы захватил дыхание» от созданного художником Образа Страдания? И наступило состояние, о котором И.Е.Репин написал: «*Боже! Как величественно чувствуешь свое ничтожество до небытия*», и «*все кажется мелко и ничтожно*». Душа – тайна. Мы можем видеть только, как плачут глаза...

Люди искусства – люди суеверные. В самом процессе творческого познания есть доля мистического ритуала. Я постояла у Порога Судных Врат, затем подошла к юной послушнице, приехавшей на служение в Иерусалим, попросила показать мне картину И.Е.Репина. Она подвела меня к этюду и с чувством сердечной причастности на хорошем русском языке начала свой рассказ: «*Илья Ефимович посетил наш храм в 1898 году. На оборотной стороне картины написано: «Сей образ Несение креста, написанный мною в Иерусалиме, приношу в дар Иерусалимской русской церкви «На раскопках». Желал бы, чтобы образ был заделан под стекло и помещен на левой стороне при пороге Ворот (не высоко). Прошу на литургиях поминать имена Моих родителей Евфимия и Татианы. И. Репин 1898 июль 27»*».

В этой информации для меня не было ничего нового, но она звучала в храме – из уст девушки с лицом ангела... Потом монашенка подвела меня к месту, где читают записки за здравие и за упокой... Казалось бы, ничего нового... Мастерство – от Бога. И – вечный диалог с сердцевиной мира – душой человеческой – живой, трепещущей, горящей, алой...

В 2017 г. картина В.Бриндача «И.Е.Репин в Иерусалиме» была представлена в Москве в Московском Доме Художника (Кузнецкий Мост, д.11) на Всемирном форуме искусств «Арт-география| Art Geo Award» и стала победительницей в номинации «Живопись. Люди. Жанровая картина» как произведение об Иерусалиме – городе, где сходятся дороги мира.

Илья Абель

ВОЗВЫШЕННОЕ ОСВОЕНИЕ СВЯЩЕННОГО

Вечером 25 мая, в канун веселого еврейского праздника Лаг ба Омер, выпадающего между Песахом и Шавуотом, в Музее Востока открылась выставка израильской художницы Маргариты Левин «Иерусалим земной и небесный» (куратор – старший научный сотрудник Музея искусств народов Востока Млада Хомутова).

По своему содержанию выставка эта знакомая как для ее автора, так и для ее зрителей. И потому стоит подробнее рассказать о ней в контексте плодотворного творчества мастера живописи, выбравшего возвращение на историческую Родину, что стало возвращением и к своим корням в творчестве.

В 1990 году, будучи в СССР востребованным художником, имея свою школу, где учила подростков живописи, Маргарита Левин с пожилой матерью и двумя дочерьми-подростками переехала на постоянное место жительства в Израиль, на историческую Родину. В тот год она еще искала свой путь в вере, не являясь тогда религиозным человеком, каким стала через несколько лет пребывания в Стране, на Святой Земле. Ей важно было оказаться там, куда звала ее душа, куда стремилось ее сердце, где в бытовых ситуациях и в творчестве требовалось начинать многое и доказывать, что возникающие трудности и проблемы – не препятствия, а испытания.

Она и сейчас, через четверть века после тех событий, отчетливо помнит и дни пребывания в Будапеште, и то, как приехала в Израиль с 5-ю долларами в кармане, и то, как почувствовала, что картины – уже рядом. По техническим причинам багаж пришел с опозданием. И это были не простые для творческого человека ми-

нуты и часы ожидания. Она сидела в классе с другими эмигрантами той волны. И вдруг почувствовала, что и картины на израильской земле.

Возможно, это ощущение стало для нее точкой отсчета, тем, что разделило ее жизнь на две неравные части – до бытия в Израиле и годы, десятилетия полноценной, самодостаточной жизни в нем вплоть до наших дней, не сглазить, и на долгую перспективу.

А потом все сложилось как бы само собой: возвращение не только в географическое место родства со своим народом и его традицией, а и вхождение в веру наших праотцев, что топографически проявилось переездом из Тель-Авива в Иерусалим, пусть и на окраину святого города, в творческом же плане в воспроизведении на холстах и города -Иерусалима, и того, что связано с ним в Пятикнижии Моисеевом, Торе, главной книге еврейской мудрости.

Важно подчеркнуть, что Маргарита Левин рисует не только Иерусалим и воссоздает эпизоды, описанные в еврейской Библии. В ее картинах оживают литературные произведения (например, книга об Алисе), ее интересует нумерология, удаются ей и натюрморты, поразителен ее продолжающийся успешно цикл «Цветочитаты», где она только колоритом показывает образы и менталитет любимых ею художников разных стран и времен.

И все же – реально, действительно и программно именно Иерусалим стал главным местом приложения живописных интересов Маргариты Левин, вечный, метафизический город, соединяющий в себе небесное, ставшее земным, и земное, несущее в себе печать небесного.

Несколько лет назад на Международной выставке в Париже картина Маргариты Левин «Золотой Иерусалим» была отмечена второй премией за художественность. Это именно золотой по облику домов и солнцу город, вернее, символ города, его душа, его измерение и проекция в наши дни. (В связи с этим можно вспомнить песню «Ерушалаим шель загав» (Иерусалим золотой), ставшую своеобразным гимном священного города в исполнении замечательной израильской певицы Офры Хаза.

На картинах Маргариты Левин, где изображен Иерусалим, реалистическое переходит в обобщение, а то, каким город предста-

вляется сознанию всех, кто знаком с его историей, с историей человечества, выражено искренно, музыкально(Маргарита Левин получила музыкальное образование), возвышенно и символично.

Здесь есть вполне реалистическая вещь, как например, «Дорога к Храму». Мы видим только часть стены, оставшуюся от Иерусалимского Храма. И дорогу, которая , огибая ее, поднимается в гору. Видим – возвышение с какими-то то ли постройками, то ли оврагами, занесенными снегом. И вспоминаем, что город возник на возвышении. При том, что географическое сосуществует здесь на равных с религиозным, духовным измерением данного обстоятельства.

На другой картине видим, как молящиеся буквально стекаются к Западной Стене Храма, собираясь на богослужение. И отдельно – часть молящихся у той же Стены, показанных в отрешении, в экстазе, в самозабвении в момент диалога со Всевышним.

Для Маргариты Левин то, что есть Иерусалим – координаты духовного бытования, место, где человек оказывается в момент своего общения с Высшим, потому картины, связанные с Иерусалимом(как и те, что написанные о Цфате, городе каббалистов) есть не фотографическая фактичность, а симфония единения земного с небесным. И потому здесь заметна в композиции и в колорите экспрессия, целеустремленность, само ощущение зыбкости одного и вечности другого, вектор обращения к Тому, Кто устроил этот мир, Вселенную, Землю и людей на ней вне зависимости от вероисповедания.

Несомненно и то, что город показан Маргаритой Левин как философская данность, соединяющая в себе религиозное, повседневное, прошлое, настоящее и будущее, то, что практически невыразимо. Но удивительным порывом представлено в фантазиях на тему Иерусалима выдающимся израильским художником Маргаритой Левин.

Этот порыв быть правдивым и предельно искренним и есть, наряду с несомненным талантом, безукоризненным вкусом и уникальной одаренностью той особенностью, которая и отличает написанные об Иерусалиме картины Маргариты Левин.

В конце концов, дело тут не в технике письма. Кого сейчас удивишь инсталляциями на ту или иную тему, свободным сочетанием красок и линий на одном полотне. Отличие Маргариты Левин в

том, что особенно выявляется в картинах об Иерусалиме и религиозного содержания, что личное, творческое, навык, школа и все, что наработано мастерством и опытом существует не само по себе, а выражает в себе то, что для Маргариты Левин первостепенно и значимо.

Таким образом, между ее художественным посылом и тем, как содержательно, изобразительно он находит себе воплощение, нет дистанции, нет разрыва, нет рациональности и паузы. Потому, что правит здесь не только талант, а и душа. И именно это – совпадение персонального с надмирным – более всего привлекает и трогает в картинах Маргариты Левин, обращает на себя внимание как степень самоотрешенности автора картин, так и ее очевидным, индивидуальным в меру возможного и допустимого, присутствием в них.

Говоря о собственном творчестве, Маргарита Левин постоянно повторяет, что она воспринимает себя кисточкой Всевышнего, что говорит не только о правильном осознании дистанции между человеческим и высшим, но все так же – о том, что намерения художника не входят в противоречия с ее убеждениями, и одно сосуществует с другим гармонично, воодушевленно и радостно, что заметно как в отдельных работах об Иерусалиме, так и в цикле картин – серии работ о священном городе.

Иерусалим показан Маргаритой Левин не только местом возвышения души, пронизанным святостью и светом, а и зимним городом, где силуэты его домов и улиц только угадываются. (Это в какой-то мере есть отсыл к принципу Владимира Вейсберга, известного знатокам живописи представителя так называемого искусства, одной из любимых учениц которого была и Маргарита Левин. Его не стало в 1985, накануне перестройки в СССР, когда любое искусство стало модным и возможным в зашоренной идеологией стране, за пять лет до отъезда его взрослой и самостоятельной к тому времени последовательницы в Израиль. Владимир Вейсберг декларировал принцип выявления «белого на белом», который в приближенной и несколько упрощенной передаче можно передать так: раскрывать в картине не только контур объектов, сразу видимое глазу, а их суть, то, что, вероятно, можно интерпретировать как психологию объекта, душу его. Как раз этим и занимается Маргарита Левина на протяжении десятилетий своего

плодотворного и последовательно развивающегося творчества. Что особенно заметно именно в ее произведениях, написанных по впечатлениям об Иерусалиме и после прочтения библейских текстов.)

Зимний Иерусалим Маргариты Левин несколько загадочен, в чем-то ностальгичен. Может быть, есть здесь, как ни странно, и намек на русскую зиму, то, что знакомо автору картин с детства, то, что сохранилось в живой и трепетной памяти, не исчезло, как художественное преломление действительности, удивительным способом сосуществующее с принципом «белое на белом». (Одна из первых серий картин, которую Маргарита Левин завершила после переезда в Израиль, называлась «Зима». Белая поверхность холста пересечена здесь прямой, но и по колориту нервной диагональю, что эмоционально выражало то настроение, то ощущение встречи со Страной, с Землей Обетованной, которое характерно было для автора серии в тот период ее жизни в Стране – сложный с разных точек зрения.)

Теперь же – белый по колориту облик Иерусалима обозначает не дискомфорт между тем, что ожидалось, и тем, что сразу возникло, как неурядицы и встречи с новыми обстоятельствами жизни. Теперь нет нервного накала, есть умиротворенность и совершенство все того же невыразимого, что подспудно, как бы само собой прорастает зрительно и мысленно в поверхности холста, записанной белым цветом. Это опять же – уже не память души, а осознание величия святого города, который не поддается высказыванию словом, но уместен при переводе его на язык красок и живописных поисков равновесия сущего с надмирным.

Это только на первый взгляд солнечный и зимний Иерусалим – идиллический. В картинах Маргариты Левин, посвященных вечному городу, заметна динамика, напряженность, движение мыслей и чувств, так что о тихой и самозабвенной умиротворенности тут говорить не приходится. Но все описанное уже выражает не конфликт частного и всеобщего, а единение одного с другим в масштабе города и всего того, что с ним связано в еврейской традиции.

Подобный же динамизм характерен и для картин Маргариты Левин на библейские сюжеты. Амальгама красок, мощь и сила того, что передано живописно от Сотворения Мира до Дарования

Торы, события поистине вселенского масштаба – все это находит себе существование на картинах израильской художницы. Когда смотришь на них, то воспринимаешь их не как живопись в чистом виде, а как воссозданное с поразительной конкретностью и точностью свидетельство. Не покидает впечатления, когда смотришь на картины названного цикла, что так именно все могло быть, примерно так и было, потому что как бы значителен ни был художник, ему дано передать только личное восприятие о поворотных событиях времен Творения Мира. Но именно в личном отношении к написанному о библейском Маргарита Левин правдива ровно настолько, насколько возможно для человека, говорящего о божественном, не забывая при том, что он является малой частью масштабного, невероятного, величайшего Творения всего и вся по воле Всевышнего и при его непосредственном участии.

В картинах Маргариты Левин библейского цикла радует соотнесенность событий, которые были тысячелетия назад, с нашим днем. В них, в изображениях их нет буквализма, иллюстраторства (Маргарита Левин закончила в Москве Полиграфический институт и работала художником на договоре в издательстве «Искусство».) Именно иллюстративность вызывает неприятие в том, как оформляют Библию в переводах ее на разные языки.

В том заведомое и уникальное отличие сделанного Маргаритой Левин от прикладных работ, имеющих отношение к переложениям библейского текста, что она не сводит живописное описание эпохальных событий к простой конкретизации их красками и композицией. Нет, и еще раз нет. Своеобразие мастерства и религиозного чувства Маргариты Левин отражается тут исключительно в том, что она полностью доверяет своей интуиции, идет за ней и выписывает только то, что подсказывает ей не сколько разум, сколько сердце, не один ум, а и преданное вере сердце.

И поэтому, в отличие от иерусалимских серий, здесь каждая ее картина самостоятельна в рамках серии-цикла. Как потому, что воспроизводит наглядно явление практически внеземного порядка, так и потому, что происходит это с такой самоотдачей и преданностью духу еврейской Библии, что совершенство изображен-

ного воспринимается уже не достоинством и культурой художественного мышления, а само собой разумеющейся данностью, ко-

торая для Маргариты Левин, для нее, как конкретного художника и человека, не могла быть иной.

В заметной одухотворенности ее работ, в том, что они пронизаны не декларируемой назидательно и прямолинейно верой, как это свойственно картинам религиозного содержания в истории мировой живописи и до наших дней без исключения, а верой истинной, возникающей спонтанно и ясно, без принуждения и декларативности. Именно поэтому же картины Маргариты Левин на библейские темы есть не религиозная живопись в стандартном восприятии данного понятия и определения, а подлинная, свободная и самобытная живопись зрелого мастера, пронизанная настоящим религиозным чувством ровно в той мере, которая делает картины искусством и примером успешного соединения мысли, чувства и таланта на поприще постижения возвышенного и вневременного по сути своей.

Иерусалим и библейское в произведениях Маргариты Левин поэтично и живо, современно и насыщено токами повседневности, не теряя своего величия, своей значительности, отпущенной им меры красоты и совершенства. В чем убеждает знакомство как с отдельными работами названных циклов, так и с тем, что бывает собрано в одном зале и объединено любовью автора их к городу и священному тексту, к тому, что в жизни и в творчестве Маргариты Левин стало точкой приложения ее сил, стремлений и способностей на протяжении десятилетий пребывания на Земле Обетованной.

Эдуард Бормашенко

ОБРЕТЕНИЕ МЕТАФИЗИКИ. ИСТИНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ

“... приливы и отливы научной достоверности”.
О. Мандельштам, “Научный стиль Дарвина”

Аристотель открывает “Физику” следующим рассуждением: “Естественный путь к началам ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе: ведь не одно и то же понятное для нас и понятное вообще” (Физика, I, 1, 184а, 17). Что такое “понятное вообще” Аристотель разъясняет во “Второй Аналитике”, предполагая его наиболее удаленным от чувственного восприятия. В самом деле, в вопросе о вкусе торта, мы с большой вероятностью разойдемся во мнениях, но рассуждая об объектах идеальных, вроде кубов и шаров, скорее всего, во мнениях сойдемся. А значит, существует поле универсально очевидного, понятного вообще.

Разметкой этого поля и заняты были со времени своего рождения наука и философия. До последнего времени казалось, что таким полем служит математика, в ней то, что очевидно – очевидно вполне, а то, что доказано – доказано навеки, спору быть не может. Но хотелось бы составить правильное представление и о природе. И тут, поле универсально очевидного никак не поддавалось разлиновке. Аристотелю казалось совершенно очевидным, что “для движения необходимы три вещи: движимое, движущее и то, чем оно движет” (Физика, VII, 5, 15). Сегодня нам это вовсе не очевидно. Прямолинейное равномерное движение тела отнюдь не предполагает, что его нечто движет.

Основатель науки Нового Времени, Декарт, бесспорно достоверным полагал тезис: “Я мыслю, следовательно, я существую”. Не думаю, что сегодня его легко признать очевидным. Въедливый психолог, спросит, а что есть “Я”? “Я”, как знал еще ученый кролик, бывают разные; ну, а с глаголом “существую” и вообще хлопот не оберешься.

Кант полагал железобетонно обоснованными положения Ньютоновой механики, а мы-то знаем, что новая физика их расшатала до основания. Но хуже всего, пожалуй, то, что и в главном хранилище бесспорного – математике, оказалось немного универсально очевидного и навеки доказанного.

Новой метафизике придется признать: “универсального очевидного не существует”. Сколько людей, столько и сознаний, столько и очевидностей.

В одной из своих лекций Александр Моисеевич Пятигорский на вопрос: “что есть истина?” – ответил: “истина – это условная очевидность”. В прилагательном “условная” отстоялась вся горечь философии двадцатого века, безусловно очевидного, достоверного, за исключением тривиального, в ней осталось мало.

Как бы ни изощрялись в попытках отдалить мышление от чувственного восприятия, окончательно отгородиться от вещей не удастся. И в геометрии, и в алгебре, и уж тем более в теоретической физике остаются сальные пятна, оставленные вещами. Стиркой скользких теней предметного мира мыслители занимались с должным тщанием и радением, но, кажется, придется смириться с тем, что само представление об очевидности нам досталось из хамского, неопрятного мира вещей, а того хуже, из темного мира психологии.

Во всяком знании о мире остается сухой остаток не только предметного, но и не формализуемого знания. Попытка выместить этот остаток порождает симпатичные чудовища вроде теории струн, столь же далекие от очевидности, сколь и непроверяемые.

В основе всякой достоверности лежит загадочная пропорция между наглядным, пришедшим из восприятия, и ненаглядным,

внечувственным. По мере развития мышления, это пропорция смещается; абстрактного, трансцендентного становится все больше, вечно все меньше. Этот путь развития проходят и религиозная, и научная мысль, и искусства. Кровь жертвенных животных служила печатью истинности богослужения. От этой крови до средневековой схоластики – путь не близкий, но этот путь был пройден. В конце этого пути, как кажется, светит чистая мысль. Но этот свет – предсмертные сполохи разума, это вполне естественно: уход телесного и есть физическая смерть.

От наскальных изображений пещеры Ласко до “Черного квадрата” Малевича тоже далеко, но и эта стезя свершилась. “Квадрат” должно не разглядывать, но приличествует о нем размышлять, что я и делаю: на картине Малевича представлено сечение гроба, в котором заколочена избавившаяся от внешнего мира живопись.

Представления об очевидном, достоверном, бесспорном меняются, но меняются медленно, заметно медленнее накопления знаний и развития наук. Именно это соотношение между временем жизни достоверности и большими периодами научных революций делает возможным передачу знаний.

Если мы понимаем под истиной “условную очевидность”, это означает, что мы выросли, повзрослели. Сама постановка вопроса о достоверности – симптом зрелости. Взрослый знает, что достоверного на свете мало; для ребенка очевидное – очевидно, понятное – понятно, а достоверное – достоверно. Но никакой взрослый не выросл вполне. Во мне сидит ребенок, и во мне крепко засела незамутненная истина детства, которую Эйнштейн, не шутя, полагал истоком большой науки. В самом деле, без “понятного самого по себе” с места не сдвинешься.

Руссо по справедливости ставил очевидность выше разума, ибо ее нельзя обосновать рационально. Очевидность, как говорил Мераб Мамардашвили, это состояние души, а не факт внеш-

него мира. Но это состояние редко, оно случается. Именно поэтому рациональное поведение групп людей невозможно. Достаточно, чтобы один-единственный индивидуум повел себя нерационально, для того, чтобы образ действий всей группы стал неразумным. Нечто похожее мы имеем в термодинамике. Приключись один необратимый процесс, и весь цикл – необратим.

Группы уславливаются об “очевидном”, доставляя подельникам убаюкивающее ощущение причастности к Истине. Истина расовой теории казалась “понятной самой по себе” ее адептам. Ее утверждению очень помогали концлагеря, но не будем заблуждаться, и менее одиозные истины охотно опирались на безупречный, неотвратимый аргумент, приводимый сапогом, наступающим на мошонку. Чаще для возвещения истины достаточны самый вид и запах сапога. Еще чаще – запах денег.

Потом может наступать похмелье, с гадким послевкусием во рту. Наступает оно не всегда, чаще всего отрезвлению способствует очистительный клистир военных и личных катастроф. Наваливается момент истины. Той Истины, что боль, раскаяние, ужас, по недоразумению именуемой тем же словом, что и истина таблицы умножения.

Спиноза полагал, что истинная достоверность несовместима с печалью и унынием. Таким образом, критерий истины вновь возводится на столь шаткое основание, как мое настроение, состояние души.

Витгенштейн заметил, что мы охотнее доверяем не отдельному, единичному предложению, полагая его истинным, а системе утверждений. Легче уверовать в геометрию Евклида, чем в отдельные ее аксиомы. Это очень верно, но есть и вторая сторона медали: развитые, разработанные, изоэтранные, интеллектуальные системы кажутся нам достоверными. В этом один из секретов успехов марксизма и фрейдизма. Разве такие громадные, развесистые верования могут быть ложными?

Очень укрепляют ложное ощущение достоверности и тщательно отделанные символные системы. Лист, красиво испещренный таинственными, многозначительно подмигивающими знаками, очень внушителен, убедителен.

Универсально очевидного не существует. Но всякий мыслящий знает ощущение радости, которое Спиноза полагал непрошибаемым критерием истины. В этот момент ты не изобретаешь истину, но она тебе открывается, высыпается тебе на голову из платоновского мира идей. Велик соблазн полагать эту истину первой и последней, вечной и непреложной. Трудно, но необходимо помнить о том, что истину и достоверность мы не только открываем и изобретаем, но и выбираем. Каждый выбирает свою платоновскую корову и свой платоновский треугольник. Платоновский треугольник – идеален и объективен, но остановил на нем взгляд я. А до меня Евклид, Лобачевский, Вивiani и Риман глядели на него, и каждый по-своему.

Нигде так не явлена свобода выбора, как в выборе истины. Ошибиться в выборе можно, кому не случилось, но куда хуже напялить на себя истину с чужого плеча; таковая будет тереть и жать подмышками.

Я волен выбирать истину, но я не вполне свободен в своем выборе. Истина навязывается реальностью. Чем дальше я от реальности, тем свободней выбор. Наиболее он свободен в математике и музыке, но даже и там он скован обломками предметного мира.

Повторю вслед за Карлом Поппером и Исайей Берлиным, что никакая идея не нанесла человечеству столько вреда, сколь платоновское представление о вечной, непреложной истине, пребывающей в Б-жественном Разуме. Разглядев платоновскую идею, человек, довольно сопя и урча, полагает, что схватил за бороду саму вечность. Платонизм, охотно образуя симбиоз с врожденным человеческим садизмом, непринужденно порождает монстров вроде инквизиции или особых отделов.

Б-г абсолютно свободен и ничем не связан; не связан и теологией, именно поэтому человеку доступно лишь вероятностное знание о мире; это знал еще Уильям Оккам. Вс-вышний дает нам право выбора истины, и очень разным очевидностям не тесно в Б-жественном уме. Все это отнюдь не мешает мне твердо отстаивать мою истину и мою достоверность; я их выбрал, попробовал на зуб, проработал, вынылчил; они мне дороги оттого, что они мои. Но навязывать свои мысли Б-гу, и казнить и миловать от его имени – прямое кощунство.

Об этом совершенно необходимо помнить сегодня, когда человек хватается, как за соломинку, за ортодоксию, будь то конфессиональную или либеральную, прикрываясь ею от обезумевшего мира. А жертвам, принесенным Молоху прогресса, со времен французской, российской, китайской и кампучийской революций, уныло завидуют Ваал и Изида.

Вселенная это не только комплект наличных вещей, как полагают материалисты, не только набор фактов, как думал ранний Витгенштейн, но и все, что я могу помыслить. И не в последнюю очередь наработанные, отобранные мной истины и очевидности, механизмы удостоверения истины. Истоиво отыскивая истину, я выбираю Вселенную, соучаствуя в Творении. Наберусь окаянства предположить, что высшим наслаждением Адама в Ган Эдене было осознанное со-трудничество с Вс-вышним. Адама изгнали из рая, но со-участвовать в Творении не запретили. Оскоплением собственного духа, сведением очевидного к убогому, человек увлеченно, азартно занимается сам.

Философия между шаманством и ratio

В замечательной миниатюре Г.-Г. Гадамера «Философия и Литература» читаем: «В Марбурге Аристотеля ставили весьма невысоко. Герман Коген дал ему наиболее безапелляционную характеристику: «Аристотель был аптекарем...» Этим он выразил свое понимание Аристотеля, как чисто классифицирующего мыслителя, который, подобно аптекарю, занимается наклеиванием этикеток на свои ящички, коробочки и склянки». Далее Га-

дамер оговаривается: «это, безусловно, не самое глубокое понимание вклада Аристотеля в философскую мысль». Впрочем, с Германом Когеном вполне согласен Бертран Рассел, полагавший, что Аристотель первым из античных философов стал писать, как профессор. Ярлык «профессор» на философе сидит пристойнее, нежели чем «аптекарь», но сути дела не меняет: логика, классификация и упорядочение (порядок превыше всего) приличны обоим.

«Профессор» и «аптекарь» не бранные слова, но если мы сравним Аристотеля с его неистовым предтечей Платоном, то сразу поймем, что учителя Аристотеля в профессорском начетничестве не заподозришь, а из аптеки Платона выставили бы на второй день, ибо наклеивать этикетки по порядку он был бы просто не в состоянии. Платон был поэтом, мифотворцем и мистагогом, для философской фармацевтики не пригодным.

В истории мировой философии подобные типы философствующих личностей устойчиво воспроизводятся. Кант, Лейбниц и Гегель были профессорами, они создавали системы. Ницше, Шопенгауэр и Хайдеггер – поэтами, они разрушали миры. Российская философия, по своей патриархальной отсталости, всегда была пророческой; В. Соловьев и Н. Бердяев никак не были аптекарями. Толстой и Достоевский на дух не переносили профессоров, аптекарей и каталогизаторов, может быть, только в этом и сходились. Таковой русская философия и осталась. В. Библихин и М. Мамардашвили с классификацией и упорядоченным мышлением не дружили.

Замечательный филолог, специалист по романским языкам Борис Нарумов так писал о философии Владимира Библихина: «Существуют люди, которые по своему психофизиологическому статусу абсолютно неспособны стать на всю жизнь “карточкослюнителями” (термин журнала “На посту”) или “пробиркополоскателями” (а это уже мой термин). Они могут помыслить язык только в целом, и о целостности языка пекутся неустанно, спасая ее от всеразъедающего крохоборства лингвистов. Их объемистые труды, написанные большей частью с литературным блеском, мною воспринимаются как реакция (во всех смыслах этого слова), реакция на науку людей предельно идеологизированных и эстетизированных, болезненно воспринимающих вторжение аналитических ме-

тодов в целостность языка... Люди идеи, наоборот, часто одержимы лишь одной какой-то идеей, будь то идея революционной роли рабочего класса у Маркса, идея сексуальности у Фрейда или... идея о тождестве мира и слова у некоторых философов. Эта идея напрочь обволакивает их мозг, не позволяя как следует разглядеть ту реальность, о которой они так красиво рассуждают; так, некоторые философы, говоря о языке, на самом деле имеют в виду вовсе не тот язык, которым занимаются лингвисты («Язык» лингвистики и «язык» философии. Contra Бибихин»). Действительно, философ-мистик всегда предпочтет «целое»; философ-аналитик удовлетворится детальным разбором «части».

Отметим, что не столько характеризуя, сколь третируя философию Бибихина, Нарумов говорит почти в точности словами Германа Когена, «пробиркополоскатели», разумеется, друзья, свояки

и коллеги аптекарей. Разнося темпераментную, прелестную, чарующую прозу Владимира Бибихина и сопоставляя ее с учеными, но занудными текстами ученых-лингвистов, Нарумов сводит неустрашимый разрыв в родном языке к лингвологии личности. В самом деле, аптекари и философы в современном мире встречаются редко.

Книга Эдуарда Бормашенко «СУХОМ ОСТАТОК»

Как сложить мозаику, включающую узор заповедей и паутины уравнений современной физики?

Мне же кажется, что дело не только в личности философа, но и в том, что представляют собой «философия» и «язык». Дело в том, что философия может существовать лишь как сопрягаются воля к истине и воля к смыслу?

Автор, не возводя 1001-ю философскую систему только в языке, нашем с вами привычном языке общения. Напыщенную фразу Хайдеггера: «Язык – дом бытия», можно слегка приспустить, сдуть, переформулировав так: «Язык – дом философии». Философ общается с нами не языком формул, кванторов или нот, но вынужден разговаривать и писать на

Издательство Москва-Иерусалим, 2014 год. 308 страниц. Цена книги с пересылкой – 75 шекелей.

Все, что я пишу далее, основано на идеях, предложенных и разработанных в цикле статей, опубликованных в журнале «Природа», замечательным математиком Юрием Ивановичем Маниным (профессором Физико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

Для заказа книги на имя Эдуарда Бормашенко, пожалуйста, пишите мне по адресу: Ariel 40700 P.O. Box 2369, Avner St. 17, Apt. 2, Israel.

Электронный адрес автора: edward@edwardborshenko.com

миллиард лет до конца света»). Концепция Манина, вкратце, такова. Среди многочисленных функций языка выделяются две: программирование поведения окружающих, внушение (иногда жесткое и агрессивное), гипноз, и их антипод – рациональное со-

общение, спокойная, безэмоциональная передача информации. На первом этапе развития человечества специалистами по языковому внушению были жрецы, шаманы, обладавшие незаурядными языковыми способностями, изобретшие метафору.

Колдуны не столько владели языком, сколь язык говорил через них. Библейский Билам хотел проклясть евреев, но, уступив пророчеству, благословил. Вполне естественно, мистики не доверяли текстам; Платон говорил, что только человек, оставленный всеми богами, может полагать, что в писаном слове можно выразить стоящую мысль. А задача устного слова не в том, чтобы нечто сообщать, но в том, чтобы, подавляя волю, внушать. Язык при этом, подкрепленный жестом, интонацией, ритмом речи, служит не для коммуникации, но для суггестии.

Затем место шаманов и ворожей заняли поэты. Сейчас на вакантные позиции претендуют поп-звезды и теле-гуру. Нет дела до того, что их языковой запас вполне людоедский, цель их речевой деятельности не том, чтобы убеждать, но в том, чтобы внушать. И свое ремесло они знают недурно.

Эксперты по рациональной передаче знаний – ученые, в их послании чем менее личного, тем лучше. Вполне в духе дона Корлеоне: “nothing personal”; место живой метафоры в их речи заняла научная модель. Если приглядеться пристальней, заметим, что личностная концепция Нарумова, разводящая в разные углы ринга философов-фантазеров и философов-аптекарей, и языковые идеи Ю. И. Манина плотно сцеплены, так как сама человеческая личность формировалась вместе с языком, и, в некотором смысле, «после языка». Людвиг Витгенштейн справедливо утверждал, что некоторые чувства возникают «после языка», попросту говоря, человек говорящий уже и чувствует иначе. Манин предполагал, что за гипнотическое (поэтическое) и рациональное функционирование языка отвечают и разные полушария головного мозга.

Иногда (и вовсе нередко) полушария начинают препираться. Я давно заметил, что люди тонко, почти физически чувствующие поэзию, частенько совершенно беспомощны в прохладном общении, коммуникации. Прочитируем еще раз Бориса Нарумова, полагающего, что философу-шаману не до человеческого общения; мыслитель-гипнотизер и вообще презирает язык в качестве сред-

ства коммуникации: «для Бибихина это слишком низкое понимание языка, приравнение его к кудахтанию кур. Вместо этого, само собой разумеющегося для лингвиста определения языка появляется его определение как среды, но не в социолингвистическом смысле как среды общения, а как среды – мира, обступающего человека со всех сторон и постоянно посылающего ему свою весть, которую он воспринять как следует не в состоянии, ибо постоянно говорит, коммуницирует, заглушая тем самым голос мира, пользуется языком исключительно как средством общения, затирая и замусоливая слова или отдавая их на растерзание лингвистам. Заметим попутно, что неприятие коммуникативной функции языка характерно и для тех, кто исследует его поэтическую функцию (например, для Ю. Кристевой), да и Бибихин не раз говорит о том, что “всего ближе к существу языка поэты” и, разумеется, философы».

В реальности суггестивная, внушающая и информационная роли речи постоянно переплетаются. Вот я провожу лекцию по физике. Самое, что ни есть, рациональное мероприятие. Но, если я не буду чуточку колдуном, гипнотизером, не затравлю пару анекдотов, не метну в аудиторию из-под бровей пару-тройку молний, лекция непременно провалится. Марк Алданов ехидно заметил, что лучшие ученые анекдотов не рассказывают, а тупо тычут в препарат или скелет сухой указкой и, монотонно гундосся, усыпляют аудиторию. Я определенно не лучший ученый, но сносный лектор, студентам на моих лекциях не до сна.

Я все же полагаю, что Алданов и заблуждался; на самом веру одаренной, нескучной учености, там, где располагаются Леонардо, Ньютон, Пушкин и Эйнштейн происходит удивительный, редкий, драгоценный сплав поэзии и ratio; оба полушария мозга задействованы, и гипнотическая и рациональная функции языка запряжены в дело создания гениального творения. Глубочайший парадокс состоит в том, что самые рациональные виды творчества: математическое и теорфизическое, требуют таланта, прозрения, нисходящих из самых глубин жреческого, пророческого прошлого. А философия обречена ерзать и барахтаться в сером поле между шаманством и наукой, и в этом ее прелесть.

Ю. И. Манин полагал рациональную функцию языка доминантной а суггестивную, гипнотическую – субдоминантной. Это верно

для самого Юрия Ивановича и еще трех дюжин интеллектуалов, да и то не все двадцать четыре часа в сутки. Громадное большинство населения Земли не испытывает ни малой потребности в рациональных сообщениях, но хочет, чтобы истину ему рассказали, внушили, втемяшили. Потребность порождает и специалистов-шаманов; XX век, от которого мы совсем недалеко и едва ушли, рок-радения и джихад, топающий через нас сегодня, не оставляют сомнения: колдунам безработица не грозит.

Даниэль Клугер

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ СХОДЯТСЯ

Я не знаток литературы и истории стран Дальнего Востока, при том, что очень люблю старую китайскую прозу и поэзию. Было время, когда сборник стихов китайских поэтов в переводах А. Ахматовой, А. Гитовича и других замечательных переводчиков я всегда носил при себе и пользовался каждой возможностью, чтобы перечитать полюбившиеся строки. А в библиотеке у меня почетное место занимали «Антология древнекитайской философии» в 2-х томах и роман «Цветы сливы в золотой вазе» Ланлинского насмешника. И, конечно, поэзия Ли Бо.

Любовь – сомнительная замена профессионализму, к тому же, любовь пристрастна. Поэтому заметки мои нижеследующие не претендуют на объективность – это только и исключительно мое мнение, а значит, оно вполне может быть ошибочным. И еще – поэтому мои заметки касаются только того, что заинтересовало меня лично.

Я прочитал книгу «Проза Тан и Сун», вышедшую в издательстве «Петербургское Востоковедение» (2015, составитель и ответственный редактор Игорь Алимов), не отрываясь. А затем перечитывал ее несколько раз – целиком и выборочно. В аннотации сказано: «Настоящая книга – сборник переводов классической китайской прозы эпох Тан (618-907) и Сун (960-1279): коротких рассказов сяшо, новелл чуаньци, прозы высокого стиля и отрывков из сборников бицзи. Подобное издание, представляющее столь широкую жанровую палитру китайской прозы, в России предпринимается впервые». Скажу еще, что качество переводов (на мой дилетантский взгляд) заслуживает всяческой похвалы –

равно как и состав антологии, позволяющий, действительно, оценить классическую прозу Китая панорамно.

Но меня особенно заинтересовало та сторона этой книги, на которую, может быть, не каждый читатель обратил внимание.

Чтение «Прозы...» было восхитительным путешествием во времени и пространстве, в том числе и благодаря удивительным совпадениям, которые стали причиной названия этих заметок.

Первое из этих совпадений обнаружилось, к тому же, в рассказе об одном из моих любимых персонажей не только старинной, но и вполне современной детективной прозы – о судье Ди, Ди Жэн-цзе (630 – 700), которого ввел в европейскую массовую литературу голландский писатель, переводчик, дипломат и ученый Роберт Ван Гулик. Не представляю себе современного любителя детективной литературы, который бы не знал об это замечательном персонаже – блистательном сыщике и мудром судье, жившем в Китае в эпоху Тан. Р. Ван Гулик сначала перевел старинный китайский роман о нем, а затем, увлекшись этим необыкновенным образом, написал серию романов о расследованиях судьи Ди.

Но я отвлекся.

В «Прозу Тан и Сун» включены два рассказа о Ди Жэн-цзе, которые больше напоминают не детективные рассказы, а фольклорные былички, с потусторонними персонажами (к слову сказать, сверхъестественных существ и явлений в китайской прозе хватает, но и тут есть специфика, которая чрезвычайно любопытна). В одном из рассказов мы узнаем, что прибывшему к месту службы судье досаждают какие-то призраки, сделавшие жизнь в предназначенном ему доме невыносимой. Разгневавшийся и измученный судья обращается к нечистой силе, вызывая ее явиться на суд. Явившийся призрак какого-то чиновника объясняет судье, что он похоронен под деревом и сквозь его тело пророс корень. Судья распоряжается, чтобы могилу перенесли, и проблемы с «полтергейстом» в доме прекращаются... (Дай Фу. Из «Обширных записок о странном»).

После прочтения этого рассказа меня впервые поразила удивительная переключка его с эпизодом из книги «Мемуары Любавичского Ребе». Там есть аналогичный эпизод с домом, захваченным таким же «полтергейстом», только еврейским, с вызовом потустороннего нарушителя спокойствия на суд и конечным

умиротворением ситуации, благодаря еврейскому судье.

Строго говоря, эта книга мемуарами в привычном смысле не является – скорее, это набор эпизодов, относящихся к предыстории и истории хасидизма, написанными р. И.-Й. Шнеерзоном. По форме эти записи весьма близки к рассказам в «Прозе Тан и Сун». Еще более близкими к китайским рассказам оказываются внутренние особенности хасидских притч Любавичского ребе. Например, китайские отшельники весьма похожи на хасидских *цадики*, а даосские странствующие мудрецы – на еврейских *нистарим* (скрытых праведников-чудотворцев).

Одной из общих особенностей возникших в разных местах, в разные времена и у разных народов произведений, является отношение им к сверхъестественным существам и явлениям. И в китайской прозе, и в хасидских притчах сверхъестественное, прежде всего – *нестрашное*. И нестрашное оно (вот второе, важное сходство!), потому что подчиняется тем же законам, каким подчиняется все природное, в том числе, и человек: китайские призраки и духи подчинены даосским принципам, еврейские *шедим* – принципам, изложенным в Талмуде. Тяжбы между людьми и, скажем, демонами, рожденными Лилит в хасидских майсах, решаются в раввинском суде – и тяжба, скажем, гигантской черепахи, убитой надзирателем Мяннем (из «Записок о Совершенном человеке Цзы-фу»), тоже решается в суде. Если в первом случае, демонам объясняют, что они не вправе претендовать на подвал дома, в котором живут люди, то во втором – черепахе объясняют, что она вредила плотине. Вот и еще одно, наверное, самое важное сходство: интерес простого человека и в хасидских, и в китайских притчах превалирует над интересами всех других порождений мира, в том числе, и сверхъестественных. Именно к этому интересу устремлен вектор высшей справедливости – как в китайской нравоучительной прозе давно минувших эпох, так и в притчах, рождавшихся в хасидских дворах.

Нравственные параллели сходятся.

В отличие от параллельных линий эвклидова пространства.

Михаил Сидоров

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: БЛИЗОК ЛИ МИР?

Без малого семьдесят лет назад, 29 ноября 1947 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №181, предусматривавшую раздел Палестины с целью создания на подмандатной территории двух государств – еврейского и арабского. (Обсуждать этот вопрос в Совете Безопасности не имело смысла из-за гарантированного британского «вето».)

Надо признать, что из всех великих держав Советский Союз тогда занял наиболее определенную и четкую позицию в вопросе о разделе Палестины и последовательно выступал за выполнение резолюции №181. Да и сама эта резолюция была поддержана Генассамблеей во многом благодаря голосам пяти стран «советского блока»: СССР, Украины, Белоруссии, Чехословакии и Польши. В результате «за» проголосовали в ООН 33 государства, 13 были против и 10 – воздержались. Если бы указанная «пятерка» не поддержала резолюцию, она не набрала бы необходимых двух третей голосов («квалифицированного большинства») и не была бы принята ООН.

Отстаивая это решение на второй специальной сессии Генассамблеи в апреле 1948 года, советский представитель А.А.Громыко подчеркивал: «Раздел Палестины дает возможность каждому из населяющих ее народов иметь собственное государство. Он тем самым дает возможность радикальным образом урегулировать раз и навсегда отношения между народами». Первоначально советское руководство в принципе было за создание единого арабо-еврейского государства, но затем склони-

лось к мнению, что раздел подмандатной территории станет единственно разумным вариантом урегулирования конфликта между ишувом и арабами Палестины.

Широко распространены упрощенные интерпретации причин политической и военной поддержки Советским Союзом палестинских евреев, а затем и Израиля – от желания И.В.Сталина иметь советский форпост на Ближнем Востоке и до того, что женой советского министра иностранных дел В.М.Молотова была еврейка. В профессиональной западной историографии вопрос этот исследован достаточно глубоко. (В Израиле этой проблемой успешно занимался профессор Яков Рои, историк-советолог, много лет бывший директором Института изучения России и Восточной Европы им. Дж.Каммингса при Тель-Авивском университете.) Отмечаются следующие основные причины проишувной и произраильской ориентации СССР:

- стремление советского руководства путем отмены британского мандата на Палестину ослабить позиции Англии на Ближнем Востоке и усилить собственное влияние в этом регионе;

- надежды на ослабление западного блока и создание альянса двух сверхдержав – СССР и США;

- желание оказать воздействие на избирателей-евреев США в пользу Генри Эгарда Уоллеса (кандидата на пост президента от созданной им Прогрессивной партии, выступавшего против холодной войны) накануне президентских выборов 1948 года;

- расчет на то, что успех Израиля в его конфликте с арабскими странами повлечет за собой падение в них консервативных режимов, связанных с Великобританией.

Тезис о том, что поддержка СССР ишува была продиктована надеждами на установление в будущем еврейском государстве режима «народной демократии», представляется малообоснованным; конечно, Сталин рассчитывал на лояльность Израиля Советскому Союзу, однако он вряд ли питал иллюзии насчет израильского социализма, построенного по советской модели, лишь на том основании, что «все евреи левые». Поддержка советским диктатором сионистского проекта уже была отходом от ортодоксального марксизма: ведь К.Маркс, а вслед за ним К.Каутский, О.Бауэр, В.И.Ленин объявили саму идею еврейской нации реакционной и предрекали евреям неизбежную ассимиляцию.

Отход этот начался еще в 20-е годы прошлого столетия, с затухания «мировой революции» и замены ее идеей построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Затем были: великая война – отечественная, а не пролетарская или за «мировую революцию»; роспуск в 1943 году Коминтерна – этой «партии революционного восстания пролетариата» и восстановление патриарше-

ства в Русской православной церкви – тогда же. (Послабление было сделано даже для иудаизма: в марте 1945 года в Москве состоялось поминовение евреев, погибших от рук нацистов; эта акция прошла по инициативе Всемирного совета раввинов.) Наконец, новые идеологические веяния в советском руководстве были выражены на кремлевском приеме 24 июня 1945 года И.В.Сталиным в его тосте «За здоровье русского народа!» Национальная идея, таким образом, возрождалась, и сионизм, как и «опиум народа», не представлялся уже таким непримиримым идеологическим противником. Напротив, с ним можно было даже подружиться (хотя бы временно), чтобы извлечь выгоду для советской империи в стратегически важном регионе планеты.

Еще при обсуждении вопроса о разделе Палестины на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1947 года А.А.Громыко заявил: «Представители арабских стран указывают на то, будто бы раздел Палестины является исторической несправедливостью. Но с этой точкой зрения нельзя согласиться хотя бы уже потому, что еврейский народ был связан с Палестиной на протяжении длительного исторического периода времени». В этих словах улавливается сталинский стиль – иначе и быть не могло, ведь текст выступления Громыко наверняка согласовывался с вождем, потому что оно касалось темы весьма деликатной: приходилось лавировать между политикой и еще не подновленной идеологией. Не мог же официальный советский представитель прямо сказать, что евреи «связаны с Палестиной» уже сорок веков, так как это была бы явная апелляция к Ветхому Завету! Вот и пришлось говорить о «длительном периоде».

С учетом сказанного, становится понятным, почему компартия Палестины, основанная в 1919 году и с 1924 года входившая в Коминтерн, в создании Израиля не сыграла сколько-нибудь заметной роли (хотя один из ее лидеров, Меир Вильнер, и был среди

тех, кто 14 мая 1948 года подписал Декларацию независимости). Ведь под давлением Коминтерна и в полном соответствии с «пролетарским интернационализмом», компартия еще в 20-30-е годы отмежевалась от сионизма и «арабизировалась». Правда, в 1948 году она была переименована в Коммунистическую партию Израиля и выступала за выполнение резолюции №181. (В 1965 году КПИ раскололась на просоветскую партию РАКАХ во главе с М.Вильнером и «просионистскую шовинистическую группу Микуниса – Снэ», как называла параллельную компартию советская пропаганда.)

Бытует мнение, что со второй половины 40-х годов правительство США заняло однозначно просионистскую позицию в палестинском вопросе. На деле же в подходе к решению этой проблемы Соединенные Штаты проявляли серьезные колебания из-за сильных проарабских и антиеврейских настроений в правящих кругах страны. Последние еще более усилились, когда в 1947 году была обвинена в «антиамериканской деятельности» знаменитая «голливудская десятка» кинодраматургов и режиссеров, – восемь человек из ее числа были евреями. Так что и в США по своему тоже боролись с «космополитизмом». (Да и антисемитские настроения в Соединенных Штатах были вполне ощутимыми, чему в немалой степени способствовало издание «Протоколов сионских мудрецов», а также «общественная» деятельность Г.Форда, выпустившего книгу «Международное еврейство». До войны в США действовали сотни нацистских и десятки антисемитских организаций, финансировавшихся Германией.)

Американский юрист Б.Крам, участвовавший в работе англо-американской комиссии по палестинскому вопросу в начале 1946 года, в своей книге «За шелковым занавесом» писал: «Всякий раз, когда евреям в Америке давалось обещание относительно Палестины, государственственный департамент немедленно посылал правительствам арабских государств сообщения, в которых он отказывался от этого обещания и заверял их, что, независимо от всего сказанного или публично обещанного евреям, без консультации с арабами ничего не будет сделано такого, что могло бы изменить положение Палестины». Очередная корректировка ближневосточной политики США произошла 19 марта 1948 года, когда на заседании Совета Безопасности ООН американский

представитель выразил мнение, что после окончания действия британского мандата в Палестине возникнет «хаос и крупный конфликт», а поэтому, заявил он, Соединенные Штаты считают, что над Палестиной должна быть установлена временная опека. Таким образом, Вашингтон выступил фактически против резолюции №181, за которую сам голосовал в ноябре. В связи с этим представитель Еврейского агентства оценил попытку США приостановить реализацию плана раздела Палестины как «потрясающее изменение их позиции». Критикуя новый американский план на сессии Генассамблеи ООН в начале мая 1948 года, советский представитель С.К.Царапкин говорил: «Никто не может оспаривать высокий уровень культурного, социального, политического и экономического развития еврейского народа. Такой народ опекать нельзя. Этот народ имеет все права на свое независимое государство».

Почему же стало возможным это «потрясающее изменение» американского подхода к палестинской проблеме? В марте 1948 года некоторые американские газеты обвинили начальника управления госдепартамента по делам Ближнего Востока и Африки Л.Гендерсона в том, что он занял резкую проарабскую позицию и содействовал пересмотру политики США в отношении Палестины. Вскоре стало известно, что Гендерсон получал взятки от вице-президента компании «Арабиен-американ ойл компани» Дьюза. Сенатор Мюррей 26 марта сказал: «Срыв решения о разделе Палестины представляет собой величайшую победу нефтяных компаний». Не исключено также, что правительство Соединенных Штатов в условиях эскалации «холодной войны» решило изменить свою прежнюю линию в пику Советскому Союзу, твердо выступавшему за создание в Палестине двух независимых государств – еврейского и арабского.

В те времена любые внешнеполитические акции США на Ближнем Востоке объяснялись советской пропагандой единственной причиной – интересами и борьбой нефтяных монополий (такой подход преобладает и сегодня, причем не только в посткоммунистической России). В данном случае, принимая окончательное решение по палестинской проблеме, американская администрация считалась не только с интересами нефтяных компаний, но и с общественным мнением внутри страны, с голосами пяти миллионов

еврейских избирателей. В начале апреля 1948 года делегация бостонских сионистов вручила исполняющему обязанности госсекретаря Р.Ловетту петицию протеста против отказа правительства Г.Трумэна от программы раздела Палестины. Под петицией стояли подписи около 100 тысяч человек. Думается, подобные акции сыграли далеко не последнюю роль в том, что Соединенные Штаты признали Государство Израиль сразу же после его провозглашения. (Советский режим сам определял «общественное мнение», поэтому стали возможными и те «потрясающие изменения» – крутые повороты во внутренней и внешней политике СССР по отношению к советским евреям и еврейскому государству, хорошо известные всем.)

Нельзя сказать, что решение это было легким, так как в самом американском руководстве до конца отсутствовали ясность и единодушие по этому вопросу. На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН делегация США до последнего момента отстаивала предложение о том, чтобы «в случае провозглашения в Палестине независимого государства или государств... члены Организации Объединенных Наций не признавали государство или государства, которые будут провозглашены». Поэтому когда участники сессии Генассамблеи услышали о признании де-факто Израиля Соединенными Штатами, американская делегация оказалась в неловком положении.

Однако само по себе это признание еще не гарантировало стабильно доброжелательного отношения к еврейскому государству со стороны могущественной заокеанской державы. Дж.Макдональд, посол США в Израиле в 1948-1950 годах, в своих воспоминаниях, вышедших в 1951 году, не исключал возможность поддержки Соединенными Штатами в будущем плана создания «великой Сирии». Этот план предусматривал объединение Трансиордании, Палестины, Сирии, Ливана и Ирака под короной Абдаллы.

Последовательно антиеврейскую позицию занимала в этот ответственный момент Великобритания. Вынужденная отказаться от мандата на Палестину, она воздержалась при голосовании по резолюции №181, а затем по существу проводила обструкционистскую политику, создавая серьезные препятствия на пути урегулирования палестинской проблемы. Так, английское правительство

не выполнило решение Генассамблеи ООН об открытии в Палестине с 1 февраля 1948 года порта для еврейской иммиграции. Более того, британские власти задерживали в нейтральных водах Средиземного моря суда с еврейскими иммигрантами и насильно направляли их на Кипр, а то и в Гамбург. Морское побережье Палестины блокировали также и египетские корабли. Но наибольшую опасность для региона в целом и особенно для ишува представляла ориентация правительства Великобритании на реакционные феодальные арабские круги в странах Ближнего Востока. 28 апреля 1948 года, выступая в палате общин британского парламента, министр иностранных дел Э.Бевин заявил, что в соответствии с англо-трансйорданским договором, заключенным в марте, Великобритания «и впредь намерена предоставлять средства на содержание Арабского легиона, а также посылать военных инструкторов». Содержание Арабского легиона ежегодно обходилось англичанам в два с половиной миллиона фунтов стерлингов; во главе его находился английский генерал Джон Глабб («Глабб-паша»), и командный состав был укомплектован англичанами. Э.Бевин в своем выступлении также дал понять, что его правительство не осуждает заявление короля Трансйордании Абдаллы о намерении вторгнуться в Палестину.

После подписания англо-трансйорданского договора поставки английского оружия на Ближний Восток увеличились. Вооружали арабов и другие страны. В марте 1948 года французское правительство продало Ливану большую партию оружия, в том числе пушки и танки; для ливанской же армии было предназначено американское оружие, доставленное в бейрутский порт на грузовом судне «Оксфорд» 19 апреля 1948 года, то есть менее чем за месяц до начала арабо-еврейской войны. Разоружая еврейское население, британские власти в то же время содействовали вооружению арабов Палестины. По свидетельству одного английского офицера, «работа на английскую администрацию» обеспечивала в то время «возможность жить большинству арабов». Рассказывая о нищете в арабских деревнях, этот англичанин вместе с тем замечал: «... Если кто-нибудь скажет, что может продать какое-либо огнестрельное оружие (что представляет собой преступление, подсудное военному трибуналу), то самый грязный парень из этих слепленных из грязи лачуг вытащит из-

под своей изорванной тоги пачку банкнот в 100 английских фунтов стерлингов».

13 мая 1948 года английское министерство колоний и министерство иностранных дел опубликовали совместное заявление об окончании действия британского мандата на Палестину. 14 мая в Тель-Авиве на собрании членов Еврейского национального совета было провозглашено создание Государства Израиль. 15 мая Лига арабских стран заявила, что «все арабские страны с этого дня находятся в состоянии войны с евреями Палестины». Первым начал боевые действия против израильтян Арабский легион под командованием Дж.Глабба.

Вместо того чтобы позаботиться о создании на территории Палестины, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, арабского государства, правящие режимы семи арабских стран направили свои усилия на уничтожение государства еврейского: их войска вторглись в Палестину с севера, востока и юга, а король Трансиордании Абдалла поторопился выпустить новые денежные знаки со своим портретом и надписью: «Арабское хашимитское королевство». История сыграла злую шутку с агрессорами, которые взялись за решение сразу двух задач – ликвидировать Израиль и не допустить усиления соседей. Короли Египта и Саудовской Аравии в качестве противовеса Абдалле выдвинули бывшего иерусалимского муфтия Амина аль-Хуссейни, в годы Второй мировой войны тесно сотрудничавшего с нацистами, а теперь претендовавшего на пост президента «единой неделимой Палестины».

Британские эмиссары на Ближнем Востоке Дж.Глабб и Ч.Клейтон рассчитывали, что арабские войска, руководимые английскими офицерами и вооруженные английским оружием, предпримут генеральное наступление на Израиль, в результате которого силы обороны только что созданного еврейского государства в десятидневный срок будут «сброшены в море». Хорошо известно, чем закончилась арабская агрессия. Чего удалось добиться честолюбивому трансиорданскому монарху, так это поглощения части территории, отведенной ООН для арабского палестинского государства, да провозглашения себя «королем Трансиордании и Палестины». Арабо-израильская война «превратилась в национальный скандал», писал в своей книге «Каир.

Биография города» Джеймс Олдридж, имея в виду Египет; она «показала, насколько прогнившей и неподготовленной была египетская армия». Эти слова с полным основанием можно отнести и к остальным участникам агрессии. Провал антиизраильской авантюры больно ударил и по международному престижу Великобритании. Позиция ее правительства подверглась резкой критике в самой Англии. Газета «Манчестер гардиан» 22 мая 1948 года высказала мнение, что английское правительство должно посоветовать арабским странам признать Израиль и прекратить войну против него, а коммунистическая «Дейли уоркер» сообщила, что по всему миру «прокатилась бурная волна протеста против поддержки британским правительством арабской агрессии в Палестине».

В этой ситуации США, чтобы поправить своего не справившегося с делами союзника, вынуждены были встать в оппозицию Англии на Ближнем Востоке. Британская «Дейли мейл» писала, что напряженность в отношениях между США и Англией достигла «величайшей силы за последние три года, и американские газеты сообщили миллионам своих читателей о серьезном расколе по вопросу о палестинской политике...» Кроме того, Соединенные Штаты обвинили Великобританию в том, что она использует поставки по плану Маршалла для оказания помощи арабам. Из-за арабо-еврейской войны 1948 года в англо-американских отношениях впервые со времен Второй мировой войны возникли заметные трения. Правда, ни Вашингтон, ни Лондон не были в этом заинтересованы: ведь у них был теперь общий серьезный противник в «холодной войне» – Советский Союз. Дж.Ф.Даллес в личной беседе с послом Макдональдом в ноябре 1948 года сказал: «Англия оказалась ненадежным гидом на Среднем Востоке – ее предсказания слишком часто не оправдывались. Мы должны стремиться сохранить англо-американское единство, но Соединенные Штаты должны быть старшим партнером». Именно такое разделение ролей в дальнейшем и сложилось – «гидом» на Ближнем Востоке постепенно становились США.

15 мая 1948 года министр иностранных дел Израиля М.Шерток (Моше Шарет) направил руководителю советского внешнеполитического ведомства телеграмму. В ней содержалась благодарность Советскому Союзу «за ту твердую позицию, которую заняла

делегация СССР в ООН... в пользу установления суверенного и независимого еврейского государства в Палестине... за выражение искреннего сочувствия страданиям еврейского народа в Европе под пятой его фашистских палачей...» Израильский министр предлагал Советскому Союзу официально признать еврейское государство и его Временное правительство. 18 мая газеты «Правда» и «Известия» опубликовали это послание вместе с ответом на него министра иностранных дел СССР В.М.Молотова, в котором говорилось, что правительство Советского Союза «приняло решение об официальном признании государства Израиль и его Временного Правительства». Советское правительство выражало надежду, что «создание еврейским народом своего суверенного государства послужит делу укрепления мира и безопасности в Палестине и на Ближнем Востоке» и «уверенность в успешном развитии дружественных отношений между СССР и государством Израиль». Вскоре Чехословакия, Венгрия, Югославия и Польша также признали Израиль.

Советский Союз резко осудил вторжение арабских армий на территорию еврейского государства и призвал к их немедленному выводу; он также добивался принятия Израиля в ООН. 15 июля 1948 года представитель Украины, выступавший в Совете Безопасности от имени СССР, подверг жесткой критике план урегулирования арабо-израильского конфликта, представленный посредником ООН графом Ф.Бернадотом (1895 – 1948). План этот предусматривал, в частности, отторжение в пользу Трансиордании значительной части израильской территории: Негева, Галилеи, Иерусалима и т.д., а также другие пункты, и таким образом вел фактически к уничтожению еврейского государства. В своем докладе правительству Израиля 26 октября 1948 года министр иностранных дел М.Шерток сообщал: «По большинству вопросов у нас очень хорошие отношения с СССР. В Совете Безопасности русские работают не просто как наши союзники, а даже как наши эмиссары». В свою очередь, израильское руководство конфиденциально информировало советский МИД об «обмене мнениями» послов Израиля с американскими послами.

Советская поддержка возрожденного еврейского государства в то время была не только моральной. С санкции Сталина, из Чехословакии (где в феврале 1948 года к власти пришли коммуни-

сты) в Израиль было отправлено большое количество оружия, включая артиллерию, минометы, немецкие трофейные истребители «Мессершмитт» и пр. Весной 1948 года в арабской прессе появилась информация о том, что у берегов Палестины арабы захватили «русский» пароход «Ляйкофта» (!), на борту которого было 680 артиллерийских орудий, 20 танков и 20 бронемашин. Все это предназначалось для вооружения еврейских сил обороны. Командующий арабскими добровольческими отрядами в Палестине утверждал, что в боях против его частей сражались «три русских батальона», причем «один русский – генерал-полковник – был во время сражения убит, а второй повешен арабами». Сведения о военной помощи СССР Израилю пропускались в советскую печать, но их достоверность категорически отрицалась по политическим соображениям: ведь в это же время США и Франция объявили эмбарго на поставки оружия на Ближний Восток, а Великобритания вооружала арабов.

Каковы же причины скорого и стремительного ухудшения советско-израильских отношений?

Совершенно очевидно, что правительство и значительная часть населения возрожденного еврейского государства, расположенного вблизи границ СССР, были заинтересованы в добрососедских отношениях и развитии торгово-экономического, культурного и военного сотрудничества с могущественной державой, имевшей к тому же после своей недавней победы над нацистской Германией огромный международный авторитет. В октябре 1949 года израильский посол в Москве М.Намир (сменивший на этом посту Голду Меир) писал министру иностранных дел М.Шарету: «Следует спросить Вышинского [с марта 1949 года – министр иностранных дел СССР] почему Советский Союз не принимает наших настойчивых предложений расширить экономическое и культурное сотрудничество и тем самым увеличить влияние на наше государство, почему они упускают момент и не извлекают пользы для самих себя. Они ведь могут оказать влияние на формирование нашей армии и ее оснащение, обучать наших офицеров. Мы также предлагали им расширение торговых отношений».

Разумеется, в руководстве ишува, а позднее и Израиля имело место также настороженное и даже недружественное отношение

к СССР и к перспективе тесного сотрудничества с ним. Объединенная рабочая партия Израиля (МАПАМ), основанная в январе 1948 года и придерживавшаяся марксистско-ленинской идеологии, на первых выборах в кнессет, состоявшихся 25 января 1949 года, получила 19 мандатов. Несмотря на это, из-за своей открытой просоветской ориентации, она не вошла в правительство Бен-Гуриона. Один из видных деятелей МАПАМ, Моше Снэ (1909 – 1972), бывший с 1944 года членом Национального Совета, а в 1941 – 1946 годах – командующим Хаганы, считал, что Советский Союз должен стать главным стратегическим партнером Израиля. Однако Д.Бен-Гурион и многие другие лидеры Рабочей партии Израиля (МАПАЙ) придерживались иного мнения. В результате, военная карьера М.Снэ не сложилась, хотя он и был депутатом кнессета семи созывов и обладал большими организаторскими способностями.

Как видим, в то время Израиль был открыт для советского влияния и «проникновения», и ограничение связей между двумя странами явилось результатом не только «нежелания» некоторых влиятельных израильских политиков, но и сознательного выбора высшего советского руководства, продиктованного рядом внешних и внутренних причин. Прежде всего, это обострение «холодной войны». Кроме того, важная для СССР геополитическая цель – вытеснение Великобритании из Палестины – была уже достигнута, а полученный Израилем от США заем в 100 млн. долларов свидетельствовал о том, что Израиль имеет тесные контакты не только с американскими евреями, но и с правительством Соединенных Штатов, президентом которых вновь был избран Г.Трумэн. С началом Корейской войны летом 1950 года Израиль занял в ООН проамериканскую позицию: М.Шарет, в частности, выступил против советского предложения о выводе из Кореи американских сил. В свою очередь, СССР отклонил план израильской делегации в ООН по корейскому вопросу, предусматривавший вывод всех иностранных сил из Кореи.

Проводя свою внешнюю политику, израильское руководство вынуждено было считаться со следующими реалиями: враждебное арабское окружение, крайне недружелюбная позиция Англии, неустойчивая поддержка США и меняющееся к худшему отношение со стороны Советского Союза. Небольшая страна, укрепля-

шая свою государственность в крайне тяжелых условиях, нуждалась в надежной поддержке и помощи более могущественных партнеров. Советский Союз в то время не желал и не мог стать таким партнером. В условиях «биполярного» мира естественным стало обращение взоров израильских политиков на Запад, за океан: в 1952 году Израиль и США заключили соглашение о помощи по обеспечению взаимной безопасности, которое предусматривало предоставление Израилю американской военной помощи.

Понятно также, что прозападная ориентация Израиля определялась и демократической политической системой этой страны. Все это вызывало растущее недовольство Советского Союза, который, «выдавлив» Англию из Палестины, перехватил британский антиизраэлизм, а позднее, в послесталинскую эпоху – и проарабскую ориентацию. Еще в феврале 1949 года по дипломатическим каналам советское правительство выразило недовольствие по поводу возможного присоединения Израиля к «плану Маршалла». Перемены в настроениях советского руководства, раздраженного «неблагодарностью» Израиля, были выражены корреспондентом журнала «Новое время», побывавшим в еврейском государстве в 1951 году: «Три года существования Израиля не могут не разочаровать тех, кто ожидал, что появление нового независимого государства на Ближнем Востоке будет содействовать укреплению сил мира и демократии».

Неудовлетворенность коллапсом советско-израильских отношений испытывали и в молодом еврейском государстве. В то же время Израиль, сближаясь с Соединенными Штатами, старался сохранить, насколько это было возможно, свою «неидентификацию» и не обострять отношений с Советским Союзом. Осенью 1951 года правительства США, Англии, Франции и Турции обратились к ряду ближневосточных государств с предложением создать союзное средневосточное командование для совместной обороны Ближнего и Среднего Востока. Направленность этого плана была очевидной, и 21 ноября советское правительство своими нотами предупредило Египет, Сирию, Ливан, Ирак, Саудовскую Аравию и Израиль, что их участие в «средневосточном командовании нанесет серьезный ущерб существующим между СССР и этими странами отношениям». Этот демарш сыграл свою

роль в отказе названных стран обсуждать предложенный США и их союзниками план. В ответной же ноте израильского правительства прямо говорилось: «Израиль никогда не соглашался и не согласится поддержать выполнение или подготовку актов агрессии против СССР...»

Внешнеполитический фактор, бесспорно, способствовал охлаждению советско-израильских отношений, но усиливавшаяся враждебность сталинского руководства объяснялась главным образом причинами внутреннего характера, и в первую очередь – пробуждением национального самосознания еврейского народа под воздействием Холокоста. Настороженность Москвы вызвал энтузиазм советских евреев в связи с образованием Государства Израиль и тем, что Советский Союз поддержал его. Надо было умерить этот энтузиазм или направить его в иное русло; Сталин помнил, за здоровье какого народа он поднимал тост в июне 1945-го.

С возрождением еврейского государства возникла и проблема алии из стран Восточной Европы и Советского Союза. Массовый выезд евреев из СССР нанес бы удар по официальной идеологической догме, выражая которую Илья Эренбург в статье «По поводу одного письма», опубликованной в «Правде» 21 сентября 1948 года, писал, что советские евреи, вместе с другими народами СССР строящие коммунизм, обращают свои взоры не на Ближний Восток, а в будущее, в то время как израильские рабочие, далекие от иллюзий сионизма, с надеждой смотрят на север, на Советский Союз. Советские евреи, отмечалось в статье Эренбурга, относятся к борьбе Израиля за свое существование, как к справедливой войне. Но Израиль – это убежище для евреев из капиталистических стран, а не из Советского Союза, где антисемитизма нет. Однако факты говорили о другом. Осенью 1948 года тысячи советских евреев устроили в Москве торжественную встречу израильской дипломатической миссии, возглавлявшейся Голдой Меир; многие выразили желание ехать в Израиль, чтобы с оружием в руках защищать возрожденное еврейское государство. (Израилю действительно были жизненно необходимы и рабочие руки, и солдаты; по словам Г.Меир, в то время страна могла принять за пять лет миллион новых репатриантов). Уже в начале февраля 1949 года последовал первый советский протест

посольству Израиля в Москве в связи с призывами к советским гражданам репатриироваться в Израиль.

Аналогичные проблемы возникли в Венгрии, Польше, Румынии. Идеологическую суть вновь обострившегося еврейского вопроса раскрывало заявление заместителя министра иностранных дел Венгрии, сделанное в мае 1949 года: «Неевреи спрашивают, почему евреи уезжают, а они [представители других народов] должны строить социализм и терпеть все беды, связанные с этим».

Такое развитие событий не могло устроить сталинское руководство. Сионизм превращался в идеологического соперника советского режима, а Израиль – из потенциального союзника в противника, который к тому же будет поглощать «мозги». Для того чтобы оправдать ограничение алии из стран советского блока, нужно было создать устойчивый образ недруга в лице Израиля и одновременно дискредитировать сионизм и ликвидировать еврейские организации внутри этих стран. С этой целью в Чехословакии в ноябре 1952 года был организован процесс по «делу Р.Сланского», который разоблачил «роль международного сионизма как агентуры американского империализма». В СССР еще в 1948 году была развернута «борьба с безродными космополитами» с целью пресечь распространение сионизма среди советских евреев, запугать их. Тогда же был распущен и Еврейский антифашистский комитет, во время войны сделавший немало для мобилизации общественного мнения на Западе в поддержку усилий Советского Союза и сбора пожертвований. Завершающий этап этой кампании начался расправой с ЕАК в 1952 году и «разоблачением» группы врачей, связанных «с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт» («Права», 13 января 1953 года). После ареста «врачей-вредителей» из Венгрии «за шпионскую деятельность» был выслан израильский атташе по вопросам культуры, а правительство Чехословакии направило правительству Израиля ноту протеста.

«Дело врачей» нанесло тяжелый удар по советско-израильским отношениям. 19 января М.Шарет выступил в кнессете с заявлением, в котором критиковал политику СССР в связи с «делом

врачей», закрытием в Советском Союзе еврейских организаций и запретом на алию, после чего в Израиле поднялась волна протестов. Все это закончилось взрывом гранаты на территории советской дипломатической миссии в Тель-Авиве 9 февраля 1953 года, спровоцировавшим разрыв дипломатических отношений между СССР и Израилем.

Сразу после смерти Сталина советский МИД вновь возглавил В.Молотов, 4 апреля 1953 года было объявлено об освобождении и реабилитации врачей, арестованных по сфабрикованному делу, а в июле 1953 года дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены. Интересно, что новый советский посол вручал верительные грамоты президенту Израиля И.Бен-Цви в Иерусалиме. Но возврата к прежним доверительным отношениям не произошло: новое советское руководство раздражали продолжавшееся сближение Израиля с Соединенными Штатами и настойчивые требования к СССР соблюдать права советских евреев. Кроме того, система военных блоков, создававшаяся США и другими западными державами, также тревожила Советский Союз. Но ведь ни в НАТО, созданном еще в 1949 году, ни в СЕАТО (Манильский пакт, 1954), ни в СЕНТО (Багдадский пакт, 1955) Израиля не было!

Внешняя политика Советского Союза определялась не только реальными стратегическими интересами государства и прагматизмом. Значительную роль здесь играли также идеологические догмы и предрассудки высших руководителей страны. К середине 50-х годов в официальной науке и пропаганде место идеи «мировой революции» заняла концепция «общего кризиса капитализма». Наступило разочарование в революционных потенциях индустриального Запада. Большое внимание стало уделяться национально-освободительному движению в странах «третьего мира». При этом жесткий революционаризм и «классовый детерминизм» подталкивали советское руководство к поддержке в любой точке планеты «угнетенных империализмом народов», то есть экономической и социально-политической отсталости и авторитаризма, дестабилизирующих действий экстремистов. Поэтому многие арабские антидемократические режимы со временем стали оцениваться в СССР не иначе как «антиимпериалистиче-

ские», «прогрессивные» или «революционные». (Военный переворот в Египте, совершенный в 1952 году, долгое время характеризовался советской пропагандой как «национально-освободительная революция», хотя один из его руководителей генерал Мохаммед Нагиб главной причиной восстания египетских офицеров откровенно называл отказ правящей верхушки от проведения военных реформ. «Если бы король [Фарук I] и его друзья, – писал Нагиб в своих мемуарах, – поддержали нашу оздоровительную программу, мы бы никогда не восстали».) Соответственно, политическая система Израиля, в котором у власти в то время находились социалисты, получила ярлык «буржуазной лжедемократии».

По той же причине Москва проявляла удивительную терпимость и снисходительность к внутреннему антикоммунизму и даже пронацистским «слабостям» арабских режимов. Накануне Второй мировой войны сложное переплетение и столкновение устремлений и интересов на Ближнем Востоке привело к такому положению, когда англичане в Палестине приняли сторону арабов в их борьбе с ишувом, в то время как арабские националисты и исламисты, стремившиеся к независимости от Великобритании, поддерживали нацистскую Германию. «Эта ориентация на Берлин, – отмечал московский профессор Я.Я.Этингер, – превратила часть арабских националистов в прямую политическую и военную агентуру гитлеровской Германии на Арабском Востоке». После войны «германо-арабская дружба» не закончилась: в 50-е годы в арабские страны (главным образом в Египет и Сирию) бежало около 8 тысяч бывших офицеров вермахта. Эти люди, многие из которых приняли ислам, оказывали заметное влияние на политику арабских стран, насаждали и распространяли там идеи нацизма, в том числе и юдофобию. Вскоре после военного переворота в Египте там появился известный гитлеровский разведчик и диверсант Отто Скорцени. Он работал в египетской службе госбезопасности, организовывал особые войсковые соединения для операций в зоне Суэцкого канала. Десятки тысяч египетских демократов и коммунистов томились в концлагерях, созданных насеровским режимом при содействии гитлеровских «специалистов» в этой области.

СССР, в свою очередь, в 1955 году начал усиленно снабжать

Египет оружием: по первому контракту на сумму 450 млн. долларов, Советский Союз поставил (через Чехословакию!) около двухсот истребителей и бомбардировщиков, артиллерию и бронетранспортеры, более двухсот танков, 6 подводных лодок и т.д. В результате египетская армия получила четырехкратное превосходство над израильской по вооружениям. Когда же в июле 1958 года с просьбой о поставках ему военной техники к Советскому Союзу обратился Израиль (премьер-министр Д.Бен-Гурион просил продать для укрепления обороны еврейского государства – через третьи страны – 20 тяжелых танков «ИС», 32 истребителя и столько же бомбардировщиков, а также 2 подлодки), то советское руководство оставило эту просьбу без ответа: МИД СССР считал, что Израиль хочет посорить Советский Союз с арабскими странами.

Таким образом, СССР открыто стал на сторону арабов, заняв в сложном ближневосточном вопросе явно антиизраильскую позицию, и постоянно оглядываясь на то, что подумают и скажут его «арабские друзья». Соответствующим образом менялась и пропагандистская риторика. В 1955 году, выступая на сессии Верховного Совета СССР, первый секретарь ЦК КПСС Н.С.Хрущев сказал: «Заслуживают осуждения действия Государства Израиль, которое с первых дней существования начало угрожать своим соседям, проводить по отношению к ним недружелюбную политику». С этого времени из столиц арабских государств все чаще и громче стали раздаваться призывы «сбросить Израиль в море». Поэтому даже для своего времени странным выглядело утверждение академика Е.М.Примакова, что «не поставки вооружения арабским странам из социалистических государств, а широкие поставки оружия Израилю из западных источников вели к гонке вооружений на Ближнем Востоке» («Анатомия ближневосточного конфликта», 1978).

Израиль, находившийся во враждебном арабском окружении, стал еще и камнем преткновения между США и СССР. Нестабильность «мирного сосуществования», рекламировавшегося хрущевским руководством, приводила время от времени (не в последнюю очередь, благодаря новым «друзьям» Советского Союза) к острым международным кризисам. Они сопровождались угрозами применения ядерного оружия как со стороны США, так и

со стороны СССР. Одним из них был Суэцкий кризис 1956 года. В 1957 году Советский Союз был втянут в конфликт вокруг Сирии, в 1958-м – Ливана. Ни об участии Советского Союза в создании еврейского государства, ни об его помощи Израилю в Войне за независимость в официальной науке и масс-медиа с этого времени нельзя было и заикаться. Более того, в духе высказываний высших руководителей, прямо и бесцеремонно фальсифицировалась недавняя история. В одном из обзоров московского журнала «Международная жизнь» за 1956 год читаем: «Израиль развязал войну против арабских стран буквально на следующий день после того, как 14 мая 1948 года в Иерусалиме был спущен английский флаг и было провозглашено государство Израиль»...

Дальнейшие события в мире сделали советских евреев заложниками «холодной войны» – спустя всего два десятилетия после того как еврейский народ принес на алтарь свободы шесть миллионов жизней своих сынов и дочерей. Отношение СССР к Израилю стало откровенно враждебным после Шестидневной войны. Тяжелое поражение, нанесенное в июне 1967 года Израилем арабским странам, рикошетом ударило по международному авторитету Советского Союза, щедро вооружавшего египетский и сирийский режимы. Эта обида толкнула брежневское руководство на разрыв дипломатических отношений с еврейским государством, к откровенно антиизраильской внешней политике и поддержке в 1975 году постыдной антисемитской резолюции Генассамблеи ООН №3379, постановлявшей, что «сионизм является формой расизма и расовой дискриминации».

В ближневосточной политике, как в капле воды, отразились успехи, неудачи и откровенные провалы великих держав на международной арене в послевоенное время. Опыт внешнеполитических действий в этом регионе позволяет проследить дрейф идеологических шаблонов, а также константы, прослеживаемые в течение многих десятилетий. Оказалось, что некоторые из них переходят от одного субъекта внешней политики к другому: порицавшиеся и, казалось бы, отвергнутые жизнью стереотипы неожиданно возвращаются почти в неизменном виде, подхватываются бывшими их противниками. И дело тут, как видно, не только в обычном легкомыслии политиков и забвении уроков истории.

Вирази ближневосточной политики великих держав, совер-

шаемые в мощном поле юдофобии и антиизраэлизма, подпитывают арабо-израильский конфликт по сей день. Даже развал социалистического блока, прекращение холодной войны, распад Советского Союза и отказ руководства посткоммунистической России от безоглядной антиизраильской политики не сдвинули решение ближневосточной проблемы с мертвой точки. Затянутость этого конфликта, его неразрешенность силовым путем из-за постоянного вмешательства разного рода «миротворцев» привели к тому, что в регионе сложилась уникальная, невиданная в истории войн ситуация: побежденный и победитель словно бы поменялись местами! Победитель настойчиво, «на равных» добивается мира от побежденного, а побежденный ломается и даже ставит под сомнение легитимность самого существования победителя, ведя против него непрерывную террористическую войну.

Такому положению дел способствовало не только попустительство международного сообщества и его институтов террористическим организациям, заправляющим в арабской палестинской автономии, но и иллюзии израильского руководства относительно «мирного процесса». В 1947 году ооновские «отцы-основатели» от щедрот своих отвалили еврейскому государству территорию, для которой такое понятие политической географии, как «хинтерленд» (hinterland – районы, расположенные в глубине страны) – чисто номинальное. В конце 80-х годов у палестинских арабов не было никаких претензий по поводу «границ» 1967 года – Израиль сам дал им в руки эту карту, впустив на территорию страны Арафата с его террористической компанией и начав с ним «диалог» на основе сомнительного принципа «территории в обмен на мир».

Сегодня никому не придет в голову поднимать вопрос о восстановлении Германии, скажем, в границах 1939 года, или о возвращении ей Эльзаса и Лотарингии, Судетской области или бывшего Кенигсберга. Зато по Палестине опять бродит призрак графа Бернадота с новым «планом» ликвидации еврейского государства, и без того занимающего исчезающе малую территорию среди океана мусульманских стран, многие из которых переживают глубокий кризис, охвачены войнами; они захлестываются волнами террора, границы их трещат по швам. Прошлое вступило в конфликт с настоящим. Но историю нельзя повернуть вспять: то,

что арабы упустили в 1948 году и то, что они утратили в 1967-м – уже не может быть «возвращено» в здравом уме – все это завоевано большой кровью. За просчеты, ошибки и авантюры отцов приходится платить детям. Поезд истории давно ушел. Возврат к «границам 1967 года», никем и никогда не установленным и не признанным, означал бы возврат к ситуации худшей, чем та, что привела пятьдесят лет назад к Шестидневной войне. Стоит ли пытаться судьбу еще раз?

Аарон Мунблит

**ТРИ ЖЕНЫ ТОМУ НАЗАД,
или
CABERNET FRANC**

Моему сыну Михаэлю

*Лучше, чтобы тебя ненавидели за то, что ты есть,
чем, чтобы тебя любили за то, что ты не есть на
самом деле.*

Андре Жид

Чего только не случается по недоразумению.

Зашел я на Пурим к семейству Гробман – Врубель-Голубкина. Прихватил с собой по случаю праздника бутылку вина. Ира позаботилась о закуске, так что вечер прошел в располагающей обстановке. Миша пригубил чисто символически, но, тем не менее, послушав мои истории, на прощание порекомендовал, вероятно в шутку, написать мемуары. Я же по наивности воспринял всерьез.

Прошло полгода, и первый вариант был готов. Исторической справедливости ради надо отметить, что подобный совет мне давали и раньше, так что, по сути, я уже созрел. Можно смело сказать, что общими усилиями они меня убедили, за что всем особая благодарность.

Даже если эти воспоминания никто не опубликует, они могут пригодиться мне на старости. Буду перечитывать в попытке убежать от Альцгеймера или как его там.

2015 год

Предисловие

Это было две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад.

Курт Воннегут. Колыбель для кошки

...А это было еще раньше. Как сейчас помню, стояли мы на улице: моя мама, преподаватель начальных классов и я. «Если ваш сын не будет читать книги, – начала по-доброму Зинаида Федоровна, – он никогда не заговорит».

Много лет спустя, уже в Израиле, уже после очередного увольнения попал я на курсы «Управление маркетингом и международная торговля». Устроиться на работу в фирму по продаже оружия мне это не помогло, но разговаривать с женщинами стало как-то легче.

В детстве я любил математику, физику и шахматы. Однако судьба распорядилась по своему, забросив меня в Ленинград, где я познакомился с театром. А затем исход, 10 лет «отказа», Москва...

Четыре года тому назад позвонил мне человек, представился – Моисей Лемстер, сказал, что собирается писать об отказниках Молдавии и попросил дать интервью. Через неделю он пришел ко мне домой, и после короткого разговора я предложил ему другой вариант – я напишу сам, как все это видел и прожил, а он обещает вставить написанное без изменений в брошюру со своим текстом и рассказами других активистов «алии».

В первые годы после приезда в Израиль практически во всех интервью на трех языках и просто в беседах, касающихся, так или

иначе, Еврейского движения в СССР – борьбы за право на выезд и на позитивную еврейскую идентификацию, мне первым делом, как в обязательной программе, задавали вопросы:

- 1 Сидел ли в тюрьме?
- 2 Знал ли Щаранского?

– Нет, в тюрьме не сидел. Бог миловал, – начинал я свой ответ.

– Так что ты тут всякие истории рассказываешь?! – не дожидаясь его развития, грозно парировал собеседник.

И, поскольку дальше им было уже неинтересно, со временем я постепенно прекратил. Тем более, что и мне становилось скучно. И я вспоминал, как когда-то в Союзе один большой шутник, приятель-отказник пророчил: «Ты еще ответишь в Израиле за то, что тут не сидел». Кроме того, истории, как и сама жизнь, были основаны на весьма тонкой и небезопасной игре с советской властью, вникать в которую ни обычным людям, ни журналистам было некогда и незачем. Скандал или сенсационный заголовок не вырисовывались, а «игра в бисер» не для прессы.

Я в таких случаях часто вспоминаю эпизод из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Га-Ноцири: «...Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал».

Так что мое желание изложить все самому созревало постепенно, и ничего личного в нем не было по отношению к Лемстеру, который, кстати, слово сдержал. Через несколько месяцев мой рассказ «10 лет в «отказе» (1977 – 1987)» без изменений был опубликован в электронной версии журнала МЫ ЗДЕСЬ, а затем и на сайте Ассоциации «Запомним и Сохраним». Бесспорно, приятным был комментарий Сони Искаковой, прекрасно разбирающейся в том, что и как тогда происходило: «Арон, хорошо с юмором и без занудства вы описали ТУ жизнь, спасибо!»

К сожалению, вывезти документы мне не удалось, и это серьезно усложнило точное описание прошлых событий, особенно в случае судебных процессов и деловой переписки. Так что вынужден был нарисовать расширенный вариант – «с юмором и без занудства» – по памяти.

Часть 1. Там

«Не понимаю»

Мое неприятие советской власти и еврейская самоидентификация мало способствовали нормальному проживанию в СССР. Отсюда – множество проблем, в том числе – исключение из комсомола и две попытки исключить меня из института. Даже защита дипломной работы удалась лишь с третьего захода.

К концу первого курса появилось объявление о том, что все желающие поехать летом на стройку должны зайти в комсомольское бюро института. Как выяснилось к концу лета, те, кто не пожелал, запаслись справками о плохом состоянии здоровья. А я по наивности сразу сказал сокурсникам, что не поеду, у меня другие планы. Когда меня исключали из комсомола, а затем из института, я повторял, что дело было добровольное, а они повторяли: ну что, ты не понимаешь?!. Нет, не понимаю.

Именно это неприятие характерного для власти и общества ханжества, выразившегося эпитетом добровольно-принудительно, помогло в дальнейшем в период отказа, когда мне пытались запретить вести семинар, отмечать еврейские праздники, преподавать иврит и встречаться с иностранцами. Я спрашивал, что в этом противозаконного, что я нарушаю? Ну, вы же понимаете... Нет, не понимаю, скажите, не стесняйтесь. Если объясните, убедите, возможно, перестану.

Этим я, пожалуй, отличался от советского человека, который обычно без лишних разговоров понимал и принимал. Так что выезд из той страны был неминуем даже безотносительно моего еврейства.

Спустя 15-20 лет меня время от времени называли в советских газетах антисоветчиком. Мне были чужды общепринятый порядок, советское ханжество и лицемерие. Сопротивляться власти и принятым нормам было вовсе не просто. Но «облагораживать» тот строй я не собирался. Возможно, потому что у меня была другая родина – Израиль. А посему стал со временем не просто диссидентом, а еврейским активистом.

Лазарь

Получив диплом, я начал трудиться в большом проектном институте в должности старшего техника. Было ли это проявлением антисемитизма, не знаю – начальник отдела был еврей. И коммунист. А вместе – это уже не смешно.

Через несколько месяцев меня призвали в армию, а по возвращении повысили до инженера. И от нее, армии, был определен толк. В институте я познакомился с Борисом Моисеевичем Лазарем, который работал в нашем отделе руководителем группы. Некоторые называли его товарищем Лазарем, некоторые – просто Лазарем, а случалось – Лазарем Моисеевичем. В последнем случае он обычно просил не путать его с Кагановичем.

Чувство юмора было не единственным его достоинством. Он был умным, образованным, эрудированным, чемпионом института по шахматам и прекрасным инженером. Любой разработанный им конвейер был похож на ракету. О болтах говорил стихами. И главное – светлый человек. Мне с ним здорово повезло.

Лазарь был старше лет на девять. Многому научил, включая любовь к конструированию, которой не было у меня от природы. Как говорила моя первая жена Женя, если он был бы буддистом, я тоже пошел бы за ним.

На следующий день после убийства террористами израильских олимпийцев в Мюнхене в 1972 году я пришел на работу в черном галстуке, который выделялся на фоне белого халата. А Лазарь возмущался как тем, что такое могло произойти, так и тем, что остальные спортсмены продолжали соревноваться, как ни в чем не бывало. И напомнил всему отделу, что даже в Древней Греции на время Олимпийских игр прекращались войны и заключалось перемирие – экехерия, а представители враждующих полисов проводили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить конфликты.

От себя добавлю: Олимпийские боги не метали молнии, не проглотили организаторов и спортсменов, и земля не разверзлась.

Однажды Лазарь собрал меня и еще двух конструкторов и сообщил нам, что уезжает в командировку. Старшего не будет. Управлять группой будем мы, как Триумvirат в Древнем Риме.

Отношения сложились не сразу. Но когда это произошло, он

стал меня не то, чтобы опекать, скорее – оберегать от очередного «исключения из комсомола». Своим «пассивным» противостоянием существующим нормам я многих раздражал, особенно начальство. Два простых, совершенно диких примера.

В 25 лет у меня была яркая рыжая борода. Запустил я ее из-за сильнейшего раздражения от бритья, а затем просто привык. Кому-то нравилось, кому-то нет. В Ленинграде чувствовал себя нормально, а в Кишиневе тогда это было в диковину. И вот начальник отдела заговорил со мной о том, чтобы я ее ни много, ни мало сбрил. Я удивился такому странному предложению, которое быстро переросло в требование.

Постепенно вокруг нас собрался народ, и началось массовое обсуждение темы. Многие были солидарны с руководством, но нашлись и «смельчаки», оправдывавшие мое гражданское право на такую внешность. Борода осталась, и отношения с начальником сильно ухудшились, тем более что до этого «безобразия» я успел куда-то не поехать на добровольно-принудительные работы.

И вот наступил день подписки на газеты. Тоже в рабочее время прямо в отделе. Идет бурный обмен мнениями, что лучше и полезней читать. Все рады возможности оторваться от чертежей, выписывают по две-три, а я – ни одной. И опять на меня все смотрят, как на врага народа. Особенно начальник, который вот-вот взорвется от негодования. А Лазарь в очередной раз пытается спасти положение.

Лазарь приехал в Кишинев из маленького городка, окончил Сельскохозяйственный институт, работал на целине, пахал в прямом смысле этого слова, а затем трудился на крупном тракторном заводе, где ему довольно быстро предложили стать главным инженером, естественно, при условии, что он вступит в коммунистическую партию. Он не вступил и долгие годы работал на должности намного ниже своего профессионального уровня.

Лазарь отводит меня в сторону.

– Вы что, совсем не читаете газеты?

– Читаю иногда.

– Так выберете одну и подпишитесь.

– Я читаю у мамы.

– Какую?

– «Известия».

- Так выпишите «Правду», – говорит он улыбаясь.
- Не хочу я читать «Правду», – откровенно парирую я.
- Мама будет у вас читать, – настаивает он, с трудом сдерживая смех.
- Мама и газеты! Надо знать мою маму, – я совсем уже не сдерживаюсь, – она их вовсе не читает. Это отчим выписывает.
- Арон, даже в боксе бывает брейк, – говорит он уже вполне серьезно.

Газету я не выписал, а фразу эту запомнил надолго, как и самого Лазаря. Когда он узнал, что я уезжаю в Ленинград, пытался отговорить меня, ссылаясь на то, что за два с половиной года делает из молодого специалиста конструктора-аса. Уговаривал остаться хотя бы еще на полтора года. Если бы не жена – ленинградка, мог бы и остаться.

Кишинев – Ленинград

В конце 60-х – начале 70-х евреи уже заговорили об Израиле, а я, совсем молодой человек, интересовавшийся шахматами, а также русской и мировой культурой, устремился в Ленинград. Там, в лесу, неподалеку от города, я служил в армии, там родилась дочь Лия, там я познал радости и прелести семейной жизни, бурную страсть, размолвки и перемирия. Там я впервые услышал от женщины изрядно поразившее меня признание: «Ты единственный человек, находясь с которым в одной комнате, я не чувствую, что одна». Там я повзрослел.

У Жени был свой круг знакомых, благодаря которому мы знали, что нового в городе, в театре, в литературе. В такой ситуации всегда легче решить, что читать и куда пойти. Да и обсудить прочитанное и увиденное есть с кем.

Это был период расцвета БДТ – Большого драматического театра, во главе которого стоял великий режиссер Георгий Товстоногов. Мне довелось повидать на сцене таких блестящих актеров, как Ефим Копелян, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих, Владислав Стржельчик, Евгений Лебедев, Олег Басилашвили.

Посмотрев лучшие спектакли БДТ, других ленинградских, гастрольных московских и даже вашингтонского театров, «Хореографические миниатюры» Леонида Якобсона и многое другое, а

также наигравшись в шахматы в Чигоринском клубе, я несколько утолил свой духовный голод. А еще вкусив «радостей» советской жизни в коммунальной квартире, я в очередной раз задумался о том, кто я и что я. Тем более что с проявлениями антисемитизма я столкнулся и в этом большом, так понравившемся мне городе.

Евреем я ощущал себя всегда. В Кишиневе, где родился, идиш можно было услышать не только на улице, но и в еврейском театре. Свадьбы с еврейской музыкой были тогда важной частью нашего существования. Нонконформистом, рыжим и упрямым я был от рождения. Но подавать документы на выезд до 1977 года было бессмысленно, так как я служил в ракетных войсках стратегического назначения, где дал подписку на пять лет о неразглашении военной тайны и невыезде за границу.

Еврейская идентификация и путь в отказ

Сам отказ начался еще до подачи документов на выезд в 1976 году. Родители жены не пожелали выразить в письменном виде свое отношение к намерению их дочери выехать в Израиль на постоянное жительство, опасаясь неприятностей на работе и в быту. Тогда-то мы с Женей и решили перебраться из Ленинграда в Кишинев, где проживала моя мать, полагая, что оттуда легче будет уехать. Там и прошли долгие и насыщенные десять лет отказа, изрядно разбавленные постоянными полетами в Москву.

Это был поистине период исхода из рабства, и стал он результатом изучения языка, истории и культуры еврейского народа и веры в то, что придет время, и я буду жить в своей стране.

Юриспруденцией я тоже вынужден был заняться еще до подачи. Вообще-то согласно советскому законодательству можно было доказать, что у родителей моей жены нет претензий к желающей покинуть страну дочери. Для этого необходимо было отправить им заверенные нотариусом письма с просьбой сообщить, имеются ли у них моральные или материальные претензии. Письма заканчивались фразой: «Отсутствие ответа в течение двух недель будет рассматриваться, как отсутствие претензий».

Юридически все было чисто, но тогда в той стране представители власти редко ориентировались на законы, особенно в вопросах выезда за границу. Нотариус выдал нам справку о том, что

родители не реагировали на письма, и, тем не менее, понадобился целый год для того, чтобы документы на выезд были приняты ОВИРОм. И это была первая победа.

Подобные письма помогали далеко не всем. Но мое имя к тому времени уже было хорошо известно и советским властям, и на Западе. Я стал еврейским активистом и одним из лидеров движения отказников, получив канал для передачи информации за границу. Мне начали звонить из Торонто, а спустя некоторое время – из Иерусалима и Филадельфии.

А началось все с того, что подошел ко мне у синагоги активный отказник Гриша Левит и сказал, что Толя Штаркман после пяти лет отказа устал ходить на переговорный пункт. Не возьмусь ли я, спросил Гриша и добавил, что обычно – это функция лидера. Подумав некоторое время и посоветовавшись с Женей, я согласился.

Примерно через месяц Штаркман сообщил мне, что получил телеграмму с приглашением на переговоры из Торонто, что надо рассказать о важном происшествии в городе и желательно на английском, чтобы прослушивавшие разговор не прерывали его. Я пришел в назначенное время, ждали мы долго, а затем зашли в кабинку вместе. Штаркман рассказал почему-то сам все по-русски, а затем добавил, что сейчас Арон сделает это по-английски.

Так я познакомился с Джанетт Голдман. Она – опытная журналистка и активистка еврейского движения в Канаде – начала разговор издалека, спросила, кто я и что я, откуда английский, чем занимаюсь. Я рассказал о себе, о проблемах подачи из-за родителей жены и о погоде. Штаркман при этом все время поглядывал на меня, придерживал за рукав и, надо полагать, чувствуя ответственность за то, что привел меня, спрашивал, о чем столь долгий разговор.

Прошло еще какое-то время, и я стал получать телеграммы по своему адресу. И так на протяжении многих лет мы с ней общались раз в две недели. Порой со стороны могло показаться, что это просто светская или дружеская беседа. Но при этом вся необходимая информация о происходившем, о семинарах, о проведении праздников, изучении иврита, новых отказниках, их проблемах и многом другом передавалась в полном объеме. Говорили по-русски и по-английски, а спустя несколько лет прибави-

вился еще и иврит.

Володя Престин и знакомство с Москвой

Мне порой везло в жизни; повезло и в отказе. Первым, с кем я познакомился в Москве в 1977 году у синагоги на улице Архипова, был Володя Престин. Трудно представить себе, как прошли бы последующие десять лет без него.

Володя был старше, опытней; он был признанным лидером. Он меня многому научил, он направил и познакомил с нужными людьми. Каждый раз, когда я прилетал в Москву, он первым делом заботился о том, где мне спать, а затем – на какой семинар отправиться. Если не находилось свободной квартиры, отправлял к своей строгой, но гостеприимной маме Лие Феликсовне Престин-Шапиро или оставлял у себя.

Благодаря Володе, я попал на семинар к Виктору Браиловскому, где познакомился с большой группой ученых. Володя представил меня Владимиру Альбрехту, идеи и юмор которого прекрасно сочетались с моим характером и мировоззрением, и общение с которым придало мне силы и уверенность в себе. А все вместе взятое способствовало становлению личности и профессиональному подходу к постоянно возникающим бесконечным проблемам.

Потом были семинары по юриспруденции, культуре и прочие мероприятия, где я познакомился чуть ли не со всеми отказниками и активистами как московскими, так и приезжавшими из разных городов страны. Павел Абрамович, Виктор Фульмахт, Иосиф Бегун, Юлий Кошаровский, Мика Членов, Илья Эссас и многие, многие другие.

Володя подсказывал, как аккуратней вести переговоры по телефону, передавая всю необходимую информацию и не подставляя себя, насколько это было возможно. Его советы были весьма полезны, особенно с учетом постоянных звонков из Канады, Израиля и США.

Володя подробно рассказывал о различных точках зрения на поправку Джексона-Вэника к Закону о торговле США, ограничивающую ее со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека; о Заключительном акте

Хельсинкских соглашений и его основных разделах; о «культурниках», «политиках» и «хунвейбинах» в рядах отказников.

Володя давал книги по истории еврейского народа и популярные – по психологии человеческих взаимоотношений. Со временем последние стали поступать ко мне из-за границы, и мы вели с ним длительные беседы о том, надо ли постоянно придерживаться одних и тех же советов или вести себя гибко, не позволяя, таким образом, гэбистам легко просчитывать наше дальнейшее поведение.

Каково же было мое удивление, когда в один из приездов он вдруг резко сменил привычный ход беседы и спросил, не играю ли я еще в теннис. Думаю, что в профиль я выглядел в тот момент, как Савелий Крамаров в наших любимых фильмах.

Гости и реалити-шоу

В школе и институте я изучал французский язык, который в лучшем случае помогал мне в период проживания в Ленинграде объяснить иностранцам, как, например, добраться до Эрмитажа. Надумав уезжать из Союза, я серьезно взялся за английский и окончил трехгодичный курс.

Очень помогла разговорная практика с приезжавшими навесить отказников иностранными туристами. Я жил рядом с гостиницей «Интурист», так что они обычно первым делом приходили ко мне, а затем уже я приглашал желающих пообщаться на следующую встречу. Случалось так, что мы проводили несколько дней вместе, и тогда разговор заходил не только о проблемах отказников. Мы жили за железным занавесом. Очень хотелось узнать о свободном мире.

Порой я пытался заговорить о литературе, вообще, и об американской, в частности, но эта тема обычно не вызывала интереса. Складывалось впечатление, что американцы знают собственную литературу хуже, чем мы, проглатывающие все, что появлялось в переводе в журналах «Иностранная литература» и «Новый мир».

Приехала как-то пара из Канады на целых три дня. Мы обсудили все необходимое по протоколу и заговорили о жизни, литературе, кино. Выяснилось, что они прекрасно в этом разбираются и даже сумели догадаться, что я имел в виду, когда упомянул

такие произведения, как «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» и «Трамвай “Желание”». Интернета тогда еще не было. Откуда мне было знать, что в подлиннике это звучит так: «They Shoot Horses, Don't They?» и «A Streetcar Named Desire»? Когда я сделал им комплимент в связи с их догадливостью, гость скромно сказал, что он – профессор американской литературы в Монреальском университете...

Забегая вперед, поделюсь своими впечатлениями об увиденном и услышанном спустя много лет в Израиле. Шломо Бараба, один из наиболее ярких израильских актеров с прекрасным чувством юмора, сыгравший Рокки в «Загнанных лошадей пристреливают» в Камерном театре, в одной из радиопередач примерно так описывает происходящее.

Для ведущего организация марафонов является бизнесом, он продает входные билеты и заинтересован в зрелищности мероприятия. Это – нечто, очень напоминающее современное реалити-шоу по телевидению, в котором принимают участие «униженные и оскорбленные», нуждающиеся в победе и получении приза ради выживания. А зрители не только платят за развлечение, но еще и делают ставки. Кто-то из танцующих выбывает из соревнования, а кто-то из жизни, падая замертво.

Вот и вся наша жизнь это некое реалити-шоу, созданное инопланетянами более высокой цивилизации. Они не только с удовольствием наблюдают за нами, но еще и делают ставки на то, кто из нас выживет, а кто нет. И вообще с нетерпением ожидают, когда мы наконец-то сожжем свой земной шар ядерным оружием.

Не исключаю возможность несколько упрощенного видения мироздания или как минимум нашего существования. Я не всегда так вольно общаюсь с создателем нашей цивилизации, и главное – отношусь с должным почтением. С интересом читаю об открытии учеными «божественной частицы». Но, вместе с тем, не забываю высказывание из пьесы «Веер леди Уиндермир» Оскара Уайльда: «Жизнь – слишком важная штука, чтобы говорить о ней всерьез».

Возвращаясь к нашей тогдашней «реалити»... Где-то в 82-83 году в Голливуде решили снять фильм об известной отказнице Иде Нудель. После ссылки ей запретили вернуться в Москву, и

она поселилась в Бендерах. И вот в кишиневский аэропорт прилетела сыгравшая Глорию в «Загнанных лошадях» легендарная Джейн Фонда, чтобы лично познакомиться с той, кого ей предстояло сыграть.

Об этом я узнал от своего бендерского друга, отказника Славы Рояка. А также о том, что у нее был мой кишиневский адрес. Да и жил я рядом с гостиницей, в которой она остановилась. Однако гэбэшники сурово предупредили ее – ко мне не заходить. В противном случае ей не доехать до Бендер и не встретиться с Идой. Так советская власть лишила меня не только рок-н-ролла, который принято было позволять разве что в виде пародий, но и исторической встречи с великой актрисой.

Владимир Альбрехт

Параллельно с сионистской деятельностью я уделял много внимания юриспруденции. Для того чтобы обрести уверенность в себе, необходимо было хорошо ориентироваться во многих вопросах и главное – чувствовать, где проходит постоянно меняющаяся свои очертания граница допустимого. Находясь глубоко в тылу, трудно поразить цель. Пересекая эту невидимую границу, попадаешь в опасную зону, где тебя могут избить, арестовать, устроить провокацию.

Особую роль в понимании этих вопросов сыграло знакомство с Владимиром Альбрехтом, написавшим книгу «Кислый ломтик жизни моей». В ней описывались текущие события, которые подвергались анализу на основе разработанной им теории поведения на допросе, во время обыска и просто в беседе с представителями власти, теории, которая легла в основу взаимоотношений диссидентов и активистов алии с советской властью.

Переоценить эту роль и постоянные контакты с ним в моей жизни просто невозможно. Дошло до того, что во время одной из бесед Альбрехт даже сказал мне: «Все, Арон, больше ты ко мне не приходишь. Ты изучил меня настолько и парируешь моими же идеями, что я уже не могу быть тебе полезным. Начну приезжающих ко мне со всей страны за советами отправлять к тебе в Кишинев...» Улыбка при этом не сходила с его лица. И я прекрасно понимал, что относиться к таким комплиментам надо с особой

осторожностью.

В Молдавии я действительно занимался подобными вопросами – как в рамках юридического семинара, так и вне – весьма серьезно и давал советы в меру своей компетентности тем, кто в них нуждался и обращался ко мне, все годы отказа.

Как говорил маэстро, мы ведь живем в стране советов. Игра слов, гибкость ума, юмор и импровизация прекрасно сочетались с его идеями и превращались в мощное оружие в руках тех, кто мог все это осилить.

Идеи Альбрехта легко и непринужденно увязывались с моими представлениями о человеческих отношениях и помогали не только в борьбе с представителями власти, но и в обычной жизни. Они оставили во мне глубокий след и повлияли на поведение, принеся не только пользу, но и определенные проблемы уже в Израиле. Одно дело бороться с властью, совсем другое – благоустраиваться. Это, как говорят в Одессе, – две большие разницы.

Еще один совет. Когда я в очередной раз пытался найти интересующие меня законы, которые могли бы помочь разрешить одну из серьезных ситуаций, Альбрехт порекомендовал ориентироваться на здравый смысл, хорошее воспитание и этику. И еще добавил: «Был такой человек – В.И. Ленин. Не было у него никакой справки, а какую революцию совершил. Дерзай!» А на лице все та же улыбка.

Подозреваю, что прочитав написанное мной, он тоже вспомнит эпизод из романа «Мастер и Маргарита»: «...Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет...»

Армия

Мне было отказано в выезде по режимным соображениям. Ничего особенного рассказать на Западе я не мог. Прошло пять лет к моменту подачи документов на выезд. А выпустили через десять лет после подачи, то есть через 15 – после демобилизации, и не потому что наконец-то все устарело, а просто потому, что время такое пришло.

Я не любил подавать документы в ОВИР, как это делали многие, каждые полгода, а занимался тем, что считал важным и нуж-

ным, понимая, что за моей жизнью внимательно следят и прекрасно знают, что я хочу уехать. Один литератор, малознакомый с событиями тех лет, искренне удивился: «Можно заподозрить, что некоторые каждые полгода любили подавать документы, но не обязательно их подавали; что подавать документы – дело неважное и ненужное, поскольку вы так не делали».

Каждый поступал, как считал нужным, в зависимости от уровня взаимоотношений с властями. Кто-то подавал каждые полгода и приходил на прием в ОВИР раз в неделю, так как чаще не принимали ни документы, ни посетителей. А кто-то, не только я, видел и воспринимал происходящее иначе, как Воланд: «...Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут». Для многих это просто красивая фраза, которой принято щеголять в определенных кругах, как и цитатами из пьесы «Тот самый Мюнхгаузен», а для кого-то – хороший совет. Последующие события и форма, в которой мне было предложено покинуть Советский Союз, подтвердили правоту Воланда.

Впрочем, однажды я надумал обыграть понятие «режимные соображения» и отправил письмо министру обороны. Речь шла о том, что, будучи солдатом, я дал подписку о неразглашении военной тайны сроком на пять лет. Прошло уже восемь, а власти отказывают мне в выезде, утверждая, что я еще знаю какие-то секреты. Я общаюсь с разными людьми, включая иностранцев, и мне бы не хотелось случайно выдать какую бы то ни было тайну. А посему убедительно прошу напомнить мне, что же еще является секретом из того, что я узнал в армии.

Это была обычная человеческая реакция и попытка защитить себя. Они издевались над нами, а мы им отвечали, кто как умел. Некоторые восхищались тем, как они довели капитана Муравского в ОВИРе до того, что он вышел в приемную, где терпеливо сидели евреи, и спросил, у кого есть валидол. Мне было жаль тратить время на то, чтобы обивать пороги, часами ожидать встречи с капитаном и беседовать с ним, заранее зная, что он ничего не решает. Общаться, так с маршалом. Более того, и это главное, я не просил его помочь мне уехать. Я хотел соблюсти закон и сохранить тайну. Такая просьба выглядела намного «скромнее» и не давала повода вызвать меня в ОВИР, где обычно состоялся при-

мерно такой диалог:

– Вы писали?

– Да, – быстро отвечал еврей-отказник, вместо того чтобы поинтересоваться когда, куда и кому. Таким образом «хитрый ход», как например письмо одного моего знакомого первой женщине-космонавту Валентине Терешковой не работал, поскольку в конце была просьба помочь уехать, и вызов в ОВИР был вполне логичным.

– Вам отказано, – говорил служащий. Выйти из замкнутого круга не удавалось. Выстрел оказывался холостым.

Секреты мне не напомнили, зато я получил повестку на переподготовку. В военкомате я сообщил дежурному, принимавшему пришедших, что не могу больше служить в советской армии, так как являюсь гражданином Израиля. Он испугался услышанного и отправил меня к военкому, который уже ждал. Я это понял практически сразу по его намекам и вопросам касательно моего еще неоформленного развода, который не имел никакого отношения к переподготовке. Чувствовалось, что гэбэшники снабдили его информацией и попросили проверить меня на вшивость.

Итак, я был вооружен идеями Альбрехта о том, что, будучи формально гражданином СССР, я себя таковым не считаю и, более того, считаю себя гражданином Израиля. Полковник же утверждал, что я, несмотря на свои ощущения, все еще советский гражданин, и отказ от переподготовки карается годом тюрьмы. Тогда я, слегка повысив голос, напомнил ему, что служба в рядах советской армии это не просто обязанность, а **священный долг и почетная обязанность** каждого советского гражданина. И если он, военком, намерен силой формализма заставить меня служить, то он тем самым оскорбляет чувства тех, для кого это действительно священный долг и почетная обязанность.

Для него это была высшая математика, он к этому не привык, а посему чувствовал себя не в своей тарелке и, возможно даже, воспринимал происходящее, как издевательство. Но сделать он со мной ничего не мог – это была прерогатива КГБ, а играть в бисер ему было неохота. Он исчерпал все доводы и со «спокойной совестью» отпустил меня домой. Поручение гэбэшников он выполнил, теперь им было решать, сажать или не сажать.

КГБ

Непосредственного контакта с работниками КГБ у меня почти не было за редким исключением. Я был вооружен теорией поведения с представителями власти, но, тем не менее, лишних разговоров избегал и другим не советовал.

Еще где-то в 76-77-ом занимался на курсах вождения автомобилей. Встретил там некоего Рудакова, которого помнил по институту. Он был старше на два потока, а еще, будучи членом комсомольского бюро, принимал участие в исключении меня из комсомола после первого курса. Разговаривали мы с ним мало, в основном по его инициативе.

Как-то заговорили о работе, и он предложил мне помощь в трудоустройстве. Однако закончилось это довольно быстро, когда он сказал, что готов изложить мне все от «А» до «Я», но не в тот же вечер, так как я занят. Стало понятно, что надо прервать отношения. В этот вечер у меня второй день подряд были гости из заграницы и группа отказников, и он был в курсе. В субботу я рассказал об этом отказникам у синагоги, они подтвердили мои опасения, и больше никаких контактов с ним не было.

Еще один непосредственный контакт был в середине 80-х, когда меня привезли в КГБ прямо с работы на черной “Волге”. Там состоялась беседа с полковником Полтораком и его сотрудниками. К ней мы еще вернемся.

Все остальное время я постоянно ощущал их дыхание, но действовали они через смежные структуры. Впрочем, кто знает, в самых различных ситуациях как дома, так и вне среди лиц в штатском могли быть и их представители. Порой их влияние можно было заподозрить, когда кто-то из знакомых боялся остановиться на улице при встрече. Или, например, по тому, как неожиданно без объяснений пропадала девушка, с которой я общался в период между браками.

The show must go on

Развод – всегда непросто. А особенно, когда ваш дом и имена в центре внимания, как в реалити-шоу на глазах у всех отказников, КГБ и тех, кто поддерживает вас в Израиле и на Западе. И в этой

ситуации помог совет – необходим небольшой брейк. И судьба сама мне его подбросила.

Через несколько месяцев после развода познакомился я с Алей. Довольно быстро возникли симпатия и взаимопонимание. Мы проводили вместе много времени, тем более, что она уже не работала, так как получила разрешение на выезд вместе с пятилетней дочкой в США и занималась всякой бюрократической волокитой и прочими «отъездными» делами.

Я с радостью согласился сопровождать ее. Была зима, мы гуляли по редкому для Кишинева чистому снегу, и я начал понемногу отходить. На традиционное празднование Хануки мы пришли вместе. Ушли тоже вместе. Не желая расходиться, поехали ко мне. Довольно долго не расставались, но, несмотря на холод и взаимную симпатию, спали в разных комнатах. Как видно я еще не созрел к иным отношениям.

Пришло время ехать в Москву для оформления визы. Я подумал, что и мне пора пообщаться с отказниками, и мы решили улететь вместе на несколько дней. Встретились в аэропорту, оформили документы, но рейс задерживался. Мы с удовольствием болтали и попросту коротали время. Аля попросила исправить молнию, которая заела и не расстегивалась. Пришлось снять сапог с ноги. Так произошел первый контакт, и я вдруг почувствовал, что рядом со мной женщина. Молнию поправил, кофе выпили, а погода все хуже и хуже. Сели в такси и уехали ко мне.

Дома было куда приятней. Наскребли еду в холодильнике, зажгли оставшиеся ханукальные свечи и сели ужинать. Затем я спустился вниз к телефону-автомату, который был рядом с домом, и позвонил в аэропорт. Рейс задержали еще раз, и это сыграло решающую роль в развитии событий.

Я поднялся наверх, сообщил радостную новость, и мы улеглись на кровать в одежде. Ненадолго. Легкое прикосновение рук быстро переросло в бурные объятия, одежда оказалась разброшенной по полу, и я почувствовал, какая она горячая, изящная, подвижная и в теле. Будильник нам не понадобился – мы уже не расставались до утра.

Звонить в справочную было некогда. Быстро оделись, поймали такси и приехали в аэропорт. К утру распогодилось, и самолет поднялся в воздух.

В Москве первым делом отправились на поиски гостиницы. Потратили почти весь день, объездили полгорода. Безнадежно. В те времена это было нереально. Обычно я прилетал в Москву в субботу так, чтобы встретить друзей у синагоги и остаться у кого-нибудь из них. Но тут была совершенно иная ситуация. Как было ни прискорбно, пришлось расстаться на время.

Я поехал к Альбрехту. Дверь открыла совсем юная дева, как выяснилось, младшая сестра Сони – жены Володи. Они куда-то ушли, оставив ее одну. Я представился, изложил ситуацию и был приглашен на кухню, где меня накормили и напоили чаем. Хозяева все не шли и не шли. У меня слипались глаза, я не спал почти вторые сутки. Сониная сестра нашла мне свободную кровать, и я мгновенно провалился в сон.

Утром проснулся довольно поздно, хозяева к тому времени уже вернулись, поспали, встали и позавтракали. Ну, рассказывай, – как всегда улыбаясь, сказал Володя. Поговорили о делах, а затем мало-помалу я все-таки рассказал о разводе и некоторых его подробностях, тем более, что он был знаком с Женей. Володе это почему-то напомнило пионерский лозунг: «Все ли ты сделал, чтобы твой друг пошел в кино с твоей девушкой?!» Любую ситуацию он мог описать кратко, с математической точностью и в ироничной форме, характерной для Вуди Аллена. Скучно с ним никогда не было.

Мы посмеялись, после чего Володя предложил жениться на Сониной сестре. Сколько можно жениться на столичных интеллектуалках? Сониная сестра – молодая красивая восточная девушка, выросла и воспитана в лучших традициях, будет служить тебе верой и правдой. И главное – мы с тобой породнимся, – сказал он, и мы долго еще вспоминали эту сцену сватовства. Затем взялись за дело и написали письмо в МВД по поводу избиения на рынке отказника Давида Водовоза.

А на прощание я получил дельный совет – притормозить свою активность, пока не приведу в порядок личные дела, совет, который напомнил мне брейк Лазаря. И он еще раз посмотрел в сторону девушки. Забегая вперед, покаюсь. Совету я последовал частично. Время от времени налаживал свой быт, но на восточной девушке не женился и нахлебался...

Я поехал к Володе Престину и пообщался с ним. Они с Аль-

брехтом были очень разные, соответственно – и мои разговоры с ними, и отношения. Но по большому счету этот самый короткий визит в Москву оказался весьма успешным – я почувствовал себя гораздо лучше. Получив порцию книг, отправился в назначенное место на вокзале.

Там мы встретились с Алей, которая решила все вопросы с визой. Учитывая то, что спать нам было негде, оставаться ей не было смысла. Мы пошли к кассе, в которой билетов не оказалось. Аля решила, что уедет в любом случае и пошла договариваться с проводницей. Это оказалось гораздо легче, чем найти свободный номер в московской гостинице или билет до Кишинева. В последний момент, когда поезд уже тронулся, я спросил у проводницы, не возьмет ли она еще одного пассажира, и вскочил на подножку.

Сначала мы зашли к проводнице, решили с ней все «бюрократические» проблемы, а затем она отвела нас в купе, где была супружеская пара и два свободных места. Соседи оказались весьма приветливыми. Мы пообщались, попили некое подобие чая, как было принято в поездах, и пошли спать.

Утром я проснулся, светит солнце, а за окном снег. И главное – соседей напротив и их багажа нет. Заглянул на верхнюю полку, Аля – на месте. Я буквально взлетел, как птица, а она, не открывая глаза, обхватила меня руками и ногами, прижала к себе, и в мгновение ока я уже был в ней. Был слышен характерный размеренный стук колес, из-под которых летели искры. Впрочем, как и из наших постепенно просыпающихся, но уже огненных глаз.

Это было совершенно незабываемое утро, которое я часто вспоминал в самых разных ситуациях. Вспомнил и во время просмотра фильма Джейн Остин, когда Том Лефрой, прежде, чем посоветовать «Историю Тома Джонса», зачитывает отрывок из книги самой Остин:

«Ранним майским утром в небе стрижи летали на огромной высоте беззаботно счастливые. Но вот, вот один из них набросился на другого, вцепившись когтями в спину, и, вмиг разучившись летать, стали приближаться к земле в смертельном падении. И вдруг они издают, издают... пронзительный громкий крик экстаза».

А ситуация было совсем нетривиальная. У Али – американская виза в паспорте. У меня – многолетняя слава отказника и «анти-советчика», в портфеле сионистская литература, оба формально

без билета и еще одна немаловажная деталь – дверь, которую проводница могла открыть в любой момент своим ключом. Думаю, тогда я впервые по настоящему осознал, что перепало мне кое-что и от черта, и что претензий по этому поводу я предъявлять ему не стану.

У Али весь день горели глаза. Она пылко читала какое-то стихотворение и говорила, что не ожидала от меня такого поворота событий. Она видела меня один раз выступающим на каком-то из наших мероприятий еще до развода. Слышала обо мне многое, и у нее сложился образ борца, педанта, лидера, сиониста, короче, очень серьезного и расчетливого человека, никак не способного прыгнуть на подножку поезда в последний момент ради женщины и, тем более, забраться к ней на верхнюю полку в купе поезда.

Было это, как в фильме-драме «Общество мертвых поэтов», в котором школьный учитель Джон Китинг советует своим ученикам «жить мгновением»: «*Care diem*. Ловите момент, мальчики. Сделайте свою жизнь экстраординарной... Люди пишут и читают стихи не ради забавы. Мы читаем и пишем стихи, потому что мы принадлежим к роду человеческому, а род человеческий одержим страстями. Медицина, право, инженерное дело весьма благородные занятия, и они необходимы для жизни. А поэзия, красота, романтика, любовь, ради них-то и стоит жить».

С Алей мы радовались друг другу еще две-три недели, после чего в связи с ее отъездом расстались, к сожалению, навсегда. Интерес к переезду у нее пропал, но она хотела, чтобы дочка росла рядом с родными. Да и документы были уже на руках. Отступать было поздно.

Так началась новая жизнь, в которой было много встреч и расставаний и невероятного переплетения личного и общественного в самое неожиданное время в самом неожиданном месте. Когда-то я уехал в Ленинград, чтобы избежать участи тихого еврейского кишиневского мальчика. Но даже в самом мокром сне я не мог бы увидеть, что мне суждено пережить и какие ветры будут носить меня по городам и весям.

Я часто вспоминаю автобиографичную повесть Жана-Поля Сартра «Слова» и мысль о том, что ему повезло, что отец скончался, когда он был мальчишкой. И далее: «Останься мой отец в живых, он повис бы на мне всей своей тяжестью и раздавил бы

меня». Эти слова глубоко меня ранили. Тяжесть отца совсем не пугала, более того, я любил его и, зная, что он обречен, молился о том, чтобы он прожил, как можно дольше. Но с годами я понял, что вся моя жизнь была бы совершенно иной, останься я в Кишиневе, живя в благополучной еврейской семье, и не попади со временем в отказ.

Илья Корман

ГОРОД ОЖИВАЮЩИХ СЮЖЕТОВ

Три в тени двух

После «Двенадцати стульев» – но до «Золотого телёнка» – Ильф и Петров создали и опубликовали три художественно-сатирических произведения: повесть «Светлая личность», цикл новелл «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и цикл «1001 день, или Новая Шахерезада». Нас будут интересовать, в основном, первые два (и по преимуществу – «Необыкновенные истории...»).

У них разная судьба. Повесть, написанная соавторами всего за шесть дней, известна больше, и по ней в восьмидесятые годы был снят фильм.

«Необыкновенным историям» повезло меньше. Неприятности начались сразу же, в 1928-м году: после публикации первых 11-ти историй печатание дальнейших было запрещено по требованию цензуры. «Истории», в отличие от «Светлой личности», не вошли ни в пятитомное собрание сочинений Ильфа и Петрова (1961), ни в сборник «Одесская пляеда» (1990).

Но при всей разности судеб – общего у трёх вещей всё-таки больше. Общее прежде всего в их строении, в соотносённости художественного пространства – и героев в нём. В обоих романах был явный главный герой, у него была явная цель – разбогатеть, ради этой цели он действовал, разъезжал, «комбинировал» – местом действия была «вся страна!» в этом-то и был главный читательский интерес!

В трёх составляющих сатирического триптиха – нет единства героя и цели (главного героя вообще нет; роль Шахерезады – не

действовать, а рассказывать). Художественное пространство локализовано, ограничено *вымышленным* провинциальным городом (или одним *вымышленным* московским учреждением, как в «Новой Шахерезаде»).

Да! возрастает роль вымысла, роль абстракции. Сатира становится менее реалистически-узнаваемой, и при этом более действительно-разящей.

Но как будто какая-то сила побуждает исследователей замалчивать межроманные произведения соавторов. Пример такого замалчивания мы приведём ниже.

А те исследователи, кто об этих произведениях всё-таки писали – их недооценивали.

И только в 2012 году появляется работа К.С.Позднякова «Интертекстуальность повести И.Ильфа и Е.Петрова «Светлая личность», где трём недооценённым вещам соавторов, в особенности – первой из них, воздаётся должное. В самом начале статьи, ещё до начала анализа повести, автор замечает: «Удивительно, что данное произведение совершенно незаслуженно остаётся в тени «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка».

А завершив анализ (в частности, сопоставив «Светлую личность» с новеллой Ф.Кафки «Превращение»), автор приходит к выводу: «... становится очевидно, что повесть Ильфа и Петрова гораздо значимей, чем ранее представлялось исследователям творчества соавторов».

Присмотримся и мы к трём «затенённым» произведениям соавторов.

Прежде всего, отметим черты сходства между «Светлой личностью» и «Необыкновенными историями».

Черты сходства

1 Каждое произведение описывает один город – странный, «ужасный» ... и всё же существующий;

2 В каждом городе возвышается огромное, высоченное, пустыющее, заброшенное здание – «клуб» или небоскрёб;

3 В каждом городе есть и жилой дом с определённым номером: «Светлая личность» – дом № 16 (где получает комнату Прозрачный), «Необыкновенные истории» – дом № 17 (где живёт чета Пфферд). Своеобразная числовая преемственность!

4 Четвёртое структурное подразделение каждого из двух сравниваемых произведений – («Глава IV. История города Пищеслава»; новелла четвёртая: «Город и его окрестности») – посвящено описанию города.

(Об этом более подробно см. ниже в разделе «Число 4 и теоремы существования»);

5 В пятом структурном подразделении – («Глава V. «Юбилейная речь»; новелла пятая: «Страшный сон») – один из героев видит сон библейского происхождения. «Светлая личность»: «В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих».

«Необыкновенные истории»: «Приснилось ему, что на стыке Единодушной и Единогласной улиц повстречались с ним трое партийных в кожаных куртках, кожаных шляпах и кожаных штанах.

– Тут я, конечно, хотел бежать, – рассказывал Завитков соседям, – а они стали посреди мостовой и поклонились мне в пояс.

– Партийные? – восклицали соседи.

– Партийные! Стояли и кланялись. Стояли и кланялись».

(Более подробно – в разделе «Продажа сновидца»).

И вообще, в обоих произведениях присутствуют и помимо снов отсылки к Ветхому Завету (чего совершенно нет в «Новой Шахерезаде»), а также, как мы покажем ниже, к литературным источникам (чего в «Новой Шахерезаде» очень мало).

Теперь присмотримся более внимательно к «Необыкновенным историям...».

Тропою Грома («Синий дьявол»)

Сюжет новеллы имеет, как минимум, два аналога в предшествующей художественной литературе. Во-первых, в «Преступлении и наказании», в части первой: «Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что

он отскочил к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех.

– И за дело!

– Выжига какая-нибудь.

– Известно пьяным представится да нарочно и лезет под колеса; а ты за него отвечай.

– *Тем промышляют, почтенный, тем промышляют...*»

То есть, умышленно бросаются под колёса, чтобы получить денежную компенсацию.

Во-вторых, в новелле Мопассана «Верхом». Старуха, случайно сбитая с ног понёсшим конём, притворяется покалеченной и не могущей ходить, чтобы побольше взыскать с совестливого всадника и его столь же совестливой супруги, превращает их жизнь в ад – говоря метафорически, садится на них верхом.

Поясним: мы не утверждаем, что Ильф и Петров сознательно учитывали вышеупомянутые сюжеты Достоевского и Мопассана – так сказать, «танцевали» от них. Мы вполне допускаем, что сходство этих сюжетов с сюжетом «Синего дьявола» – случайно.

Но мы утверждаем, что Ильф и Петров *сознательно учитывали* древнюю христианскую легенду.

От столкновения с синим «паккардом» доктор Гром упал. Казалось бы: ну что тут христианского? что тут библейского? тривиальное дорожное происшествие. Но эта простота обманчива. Давайте рассмотрим падение в сочетании с другими деталями новеллы.

а) *падение и фамилия Гром.*

Гром исходит с неба, сверху, а воспринимается (слышится) на земле, внизу. Можно сказать, что гром падает с неба на землю.

б) *падение и сияние.*

«... фортуна, скрипя автомобильными шинами, повернулась лицом к доктору Грому. *Сияние* ее лица было столь ослепительно, что доктор упал». Словом, мы имеем картину падения Люцифера (*светоносного*) с неба на землю.

в) *падение и хромота.*

Христианская легенда приписывает дьяволу хромоту – как результат падения с неба. Обычно дьявол хромает на левую ногу (левая сторона считается более, чем правая, подверженной дья-

вольскому влиянию – ср. «плюнуть через левое плечо»). Ну, и доктор Гром после падения стал прихрамывать на левую ногу.

г) слово дьявол в заголовке новеллы относится, очевидно, к польскому автомобилю. И определение *синий* – к нему же. Но в основном тексте новеллы слово *синий* и однокоренное *синяк* относятся к жителям Колоколамска:

«Особенно пристрастились к этому делу (попаданию под польский автомобиль – И.К.) городские извозчики в *синих* жупанах. Одно время в Колоколамске не работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий».

И: «Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплывшееся чернильное пятно, синяком под глазом.левой рукой он не владел».

Что ж: Гром пострадал на *левую* ногу, Подлинник – на *левую* руку. Этот *левый* уклон объясняется, конечно, не происками *левой оппозиции*, а дьявольским влиянием, излучаемым находящимся в заголовке словом *дьявол*.

Всё это позволяет считать дьяволом не только автомобиль, но и его первую жертву.

д) размер пенсии.

«Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по *сто двадцать* рублей в месяц».

Конечно, число (или, если угодно, числительное) *сто двадцать* может встретиться где угодно, и всё же, помимо этого «где угодно», у него есть специфическая библейская коннотация: «Пусть будут дни их *сто двадцать* лет».

«Давно ль по-испански вы начали речь?» («Гость из Южной Америки»)

И в первой новелле, и во второй появляются иностранцы: клятвийцы в первой, аргентинец во второй. Интересно отношение к ним автора (Ф.Толстоевского).

Он как будто ничего не знает о «враждебном капиталистическом окружении», о возможности шпионажа. Клятвийское посольство и страна Клятвия в целом – честно выполняют постановления московского (то есть, советского) суда и выплачивают хитрым жер-

твам наездов ежемесячные пенсии, что ставит Клятвию на грань финансового краха.

Благородное поведение капиталистической Клятвии резко контрастирует с алчным вымогательством «советских» жителей Колоколамска.

В «Синем дьяволе» иностранцы не произносят ни одного слова. Во второй новелле иностранец – говорящий. Вообще-то он чисто говорит по-русски, но в минуты волнения... «С непокрытой головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал:

– Милицюс!»

Или: «Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбинезон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков».

Смесь (а выражаясь по-библейски: смешение) языков – есть причина, по которой не была достроена Вавилонская башня.

Тридцатидвухэтажный небоскрёб в Колоколамске есть аналог Вавилонской башни. Небоскрёб, в отличие от башни, был достроен и даже заселён, но в новоявленных жильцах (кроме мосье Подлинника. Об этом – ниже) разыгрались разрушительные наклонности, и небоскрёб так же опустел и был заброшен, как когда-то Вавилонская башня. В частности, губернский город перестал отражаться в окнах 25-го этажа колоколамского небоскрёба.

Отметим активную (дурацко-активную) роль Никиты Псова как в заселении небоскрёба, так и в выселении из него. Сама фамилия *Псов* оказывается активно-творящей: вдруг выясняется, что у *Псова* есть *цепная собака*.

Напомним, что и в «Синем дьяволе» с Никитой Псовым связан самый критический момент сюжета: «Когда под клятвийскую машину попал тридцатый по счету гражданин города Колоколамска, Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государственную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики <...> Клятвии пришлось сделать внешний заем».

Интересно, что в этой новелле впервые появляется «Воронья слободка», которая потом перейдёт в «Золотой телёнок». Репутация её в новелле такая же, как потом в романе: «...квартиры воров очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж,

этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей Слободкой».

И судьба её примерно такая же: «Когда же он (Никита Псов – И.К.) увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небоскреба в старую халупу, *разбив предварительно камнями все стекла в ненавистной ему Вороньей Слободке*».

(Вообще, похоже, что Никита Псов послужил прототипом для Никиты Пряхина в «Золотом телёнке»).

А в следующей новелле появится один из главных персонажей будущей романной Вороньей Слободки.

Лохань потопа («Васисуалий Лоханкин»)

Как только губернский город перестал отражаться – то есть, быть видимым – в Колоколамске, так сразу же над ним (если верить Лоханкину) «разверзлись хляби небесные. В губернском городе семь дней и семь ночей дождь хлещет».

В Библии из ковчега выпускают ворона, у Толстоевского – ворону. Но не забудем, что уже в предыдущей новелле появилась Воронья Слободка.

* * *

В конце новеллы: «Счеты с автором потопа граждане сводили до поздней ночи». В «Золотом телёнке» жители Вороньей Слободки тоже будут сводить счёты с незадачливым Лоханкиным.

А начинается сведение счётов вот с чего: «– Считаться не приходится! – загремел Похотилло. И ударил гробовщика вороной по румяному лицу».

Быть может, удар вороной по лицу отозвался потом, у другого писателя, ударом курицей по шее: «Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу и всей этой курицей плашмя, крепко и страшно так ударил по шее Поплавского, что туловище курицы отскочило, а нога осталась в руках Азazelло».

* * *

Фамилия «Лоханкин» – *водяная*. И потому – является одним из источников потопа. Другим источником является профессия Ло-

ханкина – гробовщик. Но чтобы это увидеть, надо вернуться к началу, к «Двенадцати стульям».

«В городе N люди умирали редко». В конце второй части бедный Безенчук привозит свои гробы в Москву, в наивном расчёте на эпидемию гриппа. А на что может рассчитывать Лоханкин? В «Светлой личности» мы находим замечательный пассаж, по сути означающий победу над смертью:

«Дивный и закономерный раскинулся над страной служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли, как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды – очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды, притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями».

В этой абстрактной модели бюрократизированного человечества – смерти нет! Место смерти заняло – увольнение!

На что же может рассчитывать гробовщик?

Правда, в «Светлой личности» наряду с абстракцией, победившей смерть, существует ещё и не прибранная к рукам жизнь, в которой люди всё-таки умирают: «И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью) неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида». И ещё: «Постегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался».

Но уже в «Необыкновенных историях...» в славном городе Колоколамске умирает лишь один человек, «неизвестный частник», да и то – давно, «в начале нэпа». (А уж в «Новой Шахерезаде» – вообще никто не умирает).

Бедный гробовщик!

И тут – благодатные слухи! Конечно же, гробовщик становится рьяным проповедником идеи о потопе.

Иные радетели мечтают «загнать человечество в счастье»; ну, а Лоханкин – в гробы! Вот они и пригодились: «Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом». Ноев гроб!

В новелле «Васисуалий Лоханкин» литературный (библейский в данном случае) источник узнаётся без труда. Тому причиной не столько говорящее имя (*Ной* Андреевич Похотилло), сколько слова *потоп* и *ковчег*, употребляемые не в каких-либо переносных, а в своих прямых, «библейских», явных смыслах.

Продажа сновидца («Страшный сон»)

В этой новелле тоже есть всё, что требуется для опознания его «библейского происхождения» – и говорящее имя *Иосиф*, и *сны*, содержание которых сновидец простодушно пересказывает согражданам, и «библейские» слова *поклонились*, *продать*, *караван*...

Пожалуй, для «опознания» есть даже больше, чем нужно: ведь название ваксы, «Африка», тоже – говорящее. Проданного Завиткова безвозвратно увозят куда-то далеко, как библейского проданного Иосифа увезли в Египет, в *Африку*.

И даже фамилию героя можно трактовать, как говорящую – *завиток* судьбы.

Но если и отвлечься от библейских аналогий, то всё равно в новелле остаётся кое-что интересное, не сразу различимое и нуждающееся в разъяснении.

Это – смысл взаимно-относительного расположения Никиты Псова, толпы, мосье Подлинника и кибитки с главрежем:

«– Какой город? – хрипло закричал главреж, высовываясь из кибитки.

– Колоколамск! – закричал *из толпы* Никита Псов. – Колоколамск, ваше сиятельство!

– Мне нужен типаж идиота. Идиоты есть?

– Есть один продажный, – вкрадчиво сказал мосье Подлинник, *приближаясь к кибитке*.

– Вот! Завитков!

Взор режиссера скользнул по толпе (от которой мосье Подлинник успел отдалиться, и, тем самым, с «типажем идиота» он уже как бы и не связан – И.К.) и выразил полное удовлетворение. Выбор нужного типажа был великолепен. Что же касается Завиткова, то главрежа он прямо-таки очаровал.

– Давай! – рявкнул главный.

Связанного Завиткова положили в кибитку».

Снова, как всегда, Подлиннику удаётся занять наивыгоднейшую позицию. Ну, а Никита Псов остаётся в толпе – олицетворять «типаж идиота».

Отступление об эпохе

Упомянутые в новелле съёмки фильма «Избушка на Байкале» – не выдумка соавторов. Съёмки начались в 1925 году, а в следующем – фильм вышел на экраны. Это была попытка экранизации первого советского романа «Два мира» (1921). Автор романа – Владимир Зазубрин, он же и автор сценария к фильму – успел к 1921 году послужить, по заданию партии (ещё до Октября 17-го), секретным осведомителем жандармерии, а после Октября – послужить в армии Колчака (на сей раз – без задания партии), и перейти на сторону красных, и вот – написать роман, о котором одобрительно отозвались Ленин («Очень страшная книга, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга»), Горький, Луначарский.

«Таков уж был Зазубрин, наследник раннего Горького и позднего Л.Андреева. И верным учеником Достоевского, как бы ни отрицали это поздние советские исследователи его творчества», – пишет В.Яранцев, один из лучших толкователей творчества писателя.

В том самом 1928 году, когда новелла «Страшный сон» появилась в журнале «Чудак» – в том году Зазубрина исключили из ВКП(б) за участие в партийной оппозиции. И не то удивительно, что 1937 год поставил точку и в карьере Зазубрина, и в его жизни вообще. И даже не то, что его жестокая повесть «Щепка» (1923), о чекистских расстрелах, ждала публикации 66 лет!

Удивительно то, с какой точностью двойственность и жестокость революционной эпохи отразились и в самой личности Зазубрина, и в его литературном творчестве.

Продажа первородства («Пролетарий чистых кровей»)

Это последняя новелла «Необыкновенных историй», чей сюжет коренится в Библии: Исав продал первородство Иакову, а Досифей Взносков продаёт «первородство» (сиречь, пролетарское происхождение) мосье Подлиннику. Здесь надо отметить, что имя Досифей означает *данный Богом*.

И ещё один любопытный нюанс: «Для того чтобы устранить последние сомнения в чистоте своего происхождения, Подлинник нарисовал свое родословное древо. Ветви этого древа сгибались под тяжестью предков мосье.

По мужской линии род Подлинника восходил к Степану Разину, а по женской – Фердинанду Лассалю».

То, что род Подлинника восходил к Лассалю по *женской* линии, не случайно. Лассаль был не только идеологом и деятелем европейского социализма, но и любителем прекрасного пола, героем многочисленных любовных историй.

* * *

Для оставшихся пяти новелл кратко укажем происхождение их сюжетов:

«Золотой фарш»

1) Басня Эзопа «Гусыня, несущая золотые яйца»; болгарская и украинская народные сказки о курице, которая несла золотые яйца;

2) Опера Дж. Мейербергера «Гугеноты». В частности, «поголовному избиению домашней птицы» в новелле – соответствует резня гугенотов в опере;

3) Биография Козьмы Прутковка: служба в Пробирной палатке. «Красный калошник-галошник»

Жюль Верн, «Пять недель на воздушном шаре».

«Собачий поезд»

1) Экспедиция (1927 год) Леонида Кулика в район падения Тунгусского метеорита;

2) Э.Распе, «Приключения барона Мюнхгаузена».

(Надо сказать, что новелла «Собачий поезд» очень похожа на фельетон, высмеивающий любительские, плохо организованные экспедиции с якобы научными целями).

«Вторая молодость»
Г.Ибсен, «Враг народа».
«Морепоплаватель и плотник»
А.Пушкин, «Стансы».

Пример замалчивания

Приведём обещанный выше пример необъяснимого замалчивания трёх «промежуточных» (межроманных) произведений со-авторов.

Перед нами – «Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы»

Издательство СО РАН
Новосибирск, 2003.

Романы Ильфа и Петрова отнюдь не замалчиваются. Вот, например, описывается сюжет «Имущество дьявола»:

Имущество дьявола: дьявол оставляет среди людей свое разрозненное, расчлененное имущество – герои пытаются собрать его

Н.В. Гоголь. “Сорочинская ярмарка” (1831) [история красной свитки]

И.Г. Эренбург. “Одиннадцатая” (“Тринадцать трубок”, 1922)

И.Ильф, Е. Петров. “Двенадцать стульев” (1927-1928)

М.А. Булгаков. “Мастер и Маргарита” (1929-1940) [сеанс черной магии и его последствия]

С.И.Кирсанов. «Неразменный рубль» (1939)

и так далее.

Но вот что касается межроманных произведений...

Вот раздел «Сюжеты библейские и апокрифические».

Среди подразделов находим: «Вавилонская башня»

«Потоп»

«Иосиф Прекрасный»

Берём «Вавилонскую башню» – и что же мы видим?

Вавилонская башня – строительство башни, дома для всех народов. В основе – два библейских предания: постройка города и смешение языков; возведение башни и рассеяние людей (Быт. 11: 1-9).

А.Ф. Мерзляков. “Ода на разрушение Вавилона” (1801)

Ф.М. Достоевский. “Записки из подполья” (1863), “Братья Карамазовы” (1879-1880) (“Легенда о великом инквизиторе”) [мотив]

М.Е. Салтыков-Щедрин. “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил” (1869) [мотив]

С.Я.Надсон. «Вавилон» (1883)

В.Я.Брюсов. «В неоконченном здании» (1900), «Всхождение» (1914) [мотив]

и так далее. Ильфа и Петрова – нет. И в «Потопе» их не будет, и в «Иосифе Прекрасном».

Полюса уважения

Мосье Подлинник – герой десяти из одиннадцати новелл «Необыкновенных историй»; по частоте появления никто не может с ним сравниться. Он пользуется уважением всех горожан – «Председатель лжеартели своей рассудительностью завоевал в городе большое доверие». Он и в самом деле выделяется среди горожан: *самый умный* – во-первых, и *наименее хищный (алчный)* – во-вторых.

Пройдёмся по некоторым новеллам и проследим за поведением председателя лжеартели.

«Синий дьявол».

«С наступлением первых морозов из Колоколамска *потащился* в Москву председатель лжеартели “Личтруд” мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал. Но жена была беспощадна («Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены» – И.К.) Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала:

– Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд».

То есть, «стану Анной Карениной». Сплошная литературность! «Подлинника провожал весь город» – дань уважения.

«Вид мосье Подлинника (по возвращении из Москвы – И.К.) был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промысел больше не ходили.

И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения».

Можно – не слишком преувеличивая – сказать, что мосье Подлинник пожертвовал собой, чтобы спасти страну.

«Гость из Южной Америки».

Это мосье Подлинник обнаружил на площади плачущего незнакомца; это он, Подлинник, выведаль удивительную историю сказочного обогащения бывшего земляка; и это Подлинник устроил многолюдное чествование земляка-миллионера, в ходе какового чествования растроганный миллионер решил возвести для земляков небоскрёб – на той самой Членской площади, на которой его впервые увидел председатель лжеартели.

Мосье Подлиннику достаётся квартира на самом верхнем – 32-ом – этаже небоскрёба. Что соответствует уровню уважения горожан к рассудительному мосье.

Во время проживания в небоскрёбе Подлинник не замечен ни в каких разрушительных, хулиганских или просто глупых действиях (каковыми, увы, отметились многие колоколамцы). Наоборот, он сам стал жертвой сограждан: на его квартиру «был произведён налёт».

«Страшный сон».

Пока можно было, Подлинник защищал Завиткова перед согражданами. Когда же защищать стало невозможно, Подлинник выдвинул деловое предложение: «Его надо продать! – заметил мосье Подлинник с обычной рассудительностью».

О хитроумном перемещении Подлинника от толпы к кибитке главрежа мы уже говорили.

«Золотой фарш».

Пока можно было, Подлинник защищал курицу, якобы снёсшую золотое яйцо, от желающего её зарезать хозяина. Когда же защищать стало невозможно («– Заре-езать! – закричали все»), он мигом перестроился: « – В таком случае я в долю! – воскликнул мосье Подлинник и ринулся за курицей...»

Практически не прилагая усилий, Подлинник приобретает «пролетарское первородство» («Пролетарий чистых кровей»); становится «главным директором» курорта («Вторая молодость»).

Если же он *прилагает* усилия («Морепплаватель и плотник»), то результат воистину грандиозен: «Речь гражданина Подлинника, выступившего от имени городской торговли и промышленности,

надолго еще останется в памяти колоколамцев. Даже через тысячу лет речь Подлинника наряду с речами Цицерона и правозащитника Вакханальского будет почитаться образцом ораторского искусства».

На противоположном полюсе – полюсе неуважения – оказывается Никита Псов, «наименее умный» из колоколамцев и отмеченный дурацкой активностью, вредящей всем – и ему самому.

Число 4 и теоремы существования

В главе IV «Светлой личности» прерывается развитие сюжета повести, вместо него излагается история города Пищеслава и «доказывается», что Пищеслав действительно существует.

Но, хотя развитие сюжета прервано, интертекстуальность от этого не страдает. Именно в этой главе излагается история изобретения «скоропища» – машинки, производящей три миллиона пельменей в час, причём изобретатель уверяет, что производительность можно поднять (до пяти миллионов в час), но нельзя снизить. Улицы несчастного города завалены разлагающимися пельменями.

К.С.Поздняков говорит, в связи со скоропищем, о Рабле, о раблезианских масштабах. С этим можно согласиться, хотя нам изобретение пельменной машинки скорее напоминает сюжет «Ученика чародея». В любом случае, возможность столь разнородных истолкований следует отнести к «плюсам» ильфо-петровского текста.

В пятой главе развитие сюжета возобновляется, но интертекстуальность не ослабевает. Она даже становится более смелой – вплоть до того, что в шестой главе: «Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события».

Трудно тут не узнать первую фразу «Коммунистического манифеста».

И трудно не узнать смелого мальчика, воскликнувшего «А король-то голый», читая про другого – советского – мальчика: «К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно

заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки.

Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош».

В «Необыкновенных историях» *четвёртая* по счёту «история» является опять-таки не новеллой с чётким сюжетом, а «теоремой существования» (математический термин) – города Колоколамска на сей раз.

Итак, как в «Светлой личности», так и в «Необыкновенных историях...» *четвёртое* по счёту структурное подразделение (глава или «история») является «теоремой существования» соответствующего города.

Структурная роль числа «4» обнаруживается и в новелле «Золотой фарш»:

«Председатель лжеартели ударил по оконной раме, как Рауль де-Нанжи в *четвертом* действии оперы “Гугеноты”, и предстал перед толпой.

– Граждане! – завопил он. – Что делать с курицей?»

Важную роль играет число «4» в «Новой Шахерезаде»:

1. Шахерезада Шайтанова предстаёт *четвёртой* по счёту перед комиссией по чистке (первым – бронеподросток Ваня Лапшин);

2. В рассказе (Шахерезады) «О выдвигенце на час» начальник поучает своих секретарей: «Знайте же, глупые секретари, что есть сорок способов, и на каждый способ сорок вариантов, и на каждый вариант сорок тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвигенца в неделю...»

$40 \times 40 \times 40 = 64000$ (тонкостей);

3. В этом же рассказе начальник вручает новоприбывшему заместителю все свои печати, причём *четыре* из них названы, так сказать, поимённо: «сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную»;

4. Свои рассказы Шахерезада предусмотрительно прерывает в *четыре* часа дня.

Живая и неживая

В «Светлой личности», в главе I, вся вселенная (неживая материя) описывается как вотчина победившего бюрократизма: «Ми-

риады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края», «Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают», «Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии»... Кроме этой бюрократической вселенной – в мире нет ничего.

В «Необыкновенных историях», в новелле «Вторая молодость», бюрократизм как бы делает следующий шаг: теперь ему подвластны – птицы!

«Грачи прилетели в город Колоколамск.

Был светлый ледяной весенний день, и птицы кружили над городом, резкими голосами воздавая хвалу городским властям. Колоколамские птички, подобно гражданам, всей душой любили власть имущих».

Бюрократизм охватил и живую природу, и неживую.

Похвальное слово бюрократизму

Мы уже видели, во всех трёх вещах триптиха, настойчивую тенденцию отмены, преодоления смерти: замены смерти – увольнением. Одна из причин этого – у героев отсутствуют убеждения, ради которых можно идти (и посылать) на смерть.

Вся мировая литература переполнена благородными героями, сражающимися за *Свободу Отечества* или за *Честь Дамы*, они палят из пушек, красиво фехтуют на дуэлях, убивают других и умирают сами.

Но жители Пищеслава и Колоколамска, прохиндеи и бюрократы, не таковы. Они прежде всего – люди мирные: «никто из колоколамцев никогда не воевал».

Вот жилище мосье Подлинника: «Стена была увешана редчайшими портфелями. Они висели, как *коллекция старинного оружия*».

Если смерть заменяется увольнением, то оружие – портфелями.

А вот заключительная сцена «Новой Шахерезады»:

«Двери кабинета распахнулись, и в портале показалась мощная фигура товарища Сатанюка.

При нем были три портфеля. Один большой, нашейный, крокодиловый и два из свиной кожи в руках. И голос товарища Сатанюка был, как морской прибой в шестибалльный ветер.

– Кто сидит за моим столом? – спросил он, потряхивая какой-то бумажонкой («Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места!» – И.К.).

– Товарищ Фанатюк назначается в город Колоколамск на должность городского фотографа.

И еще никто в мире не сдавал дела с такой быстротой, как товарищ Фанатюк».

Бюрократически-аппаратный переворот! И причём, при всей своей «шестибалльности» – бескровный!

А вот во времена той, «настоящей» Шахерезады – если и случались перевороты, то вряд ли бескровные.

Разные, конечно, бывают бюрократизмы. В иных – составляют «расстрельные списки» и прочие несущие смерть бумаги. Но тот, чьи разновидности описаны в трёх «промежуточных» произведениях соавторов, можно назвать бюрократизмом с человеческим лицом.

Можно сколько угодно высмеивать бюрократические порядки и иные пороки Колоколамска, Пищеслава, «Когтей и Хвостов», но нельзя отрицать, что в этих нелепых и смешных мирах человеку всё-таки обеспечено его основное право – *право на жизнь*.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Роман Кацман

МЫСЛЬ ИЗРЕЧЕННАЯ,

или

ВОЗМОЖЕН ЛИ АВАНГАРД ПОСЛЕ АВАНГАРДА?

*Гали-Дана Зингер. Взмах и взмах: Стихотворения и баллады.
Поэзия без границ, 2016.*

И сделай двух херувимов из золота; чеканной работы сделаешь их на обоих концах крышки. И сделай одного херувима с одного края и одного херувима с другого края, из самой крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями покрывать крыльями своими крышку, а лицами своими друг к другу; к крышке да будут лица херувимов.

Исход 25: 18-20

Гали-Дана Зингер, пытаюсь, по ее собственным словам, услышать «гул времени», преодолевает границы форм, языков, слов и чувств, не говоря уже о границах городов и стран, жанров и концепций. Ее новая книга стихов «Взмах и взмах», вышедшая в 2016 году в Латвии, в рамках проекта Дмитрия Кузьмина «Поэзия без границ», воплощает всё то бесконечное, что умещается в зазоре различения между мандельштамовским «шумом» и иерусалимским «гулом»: осмысленный хаос бытия-слова. Ведь гул – это больше чем шум; может быть, даже противоположность шума: гул церковных колоколов, гул компьютера, эхом отзывающийся в кристаллической решетке иерусалимского камня, гул мыслей за зубчатой стеной очков.

Стиль этой книги, за неимением лучшего слова, но, конечно, не вполне всерьез, я бы определил как «гулизм» – смесь гула детерминистического хаоса, персидского оборотня гула, goal'a в игре в салочки, а также детского и голубиногуления. Все общеупотребимые определения, увы, не попадают в цель. Текст Зингер – это не постмодернизм, ибо апеллирует к метафизической истине; не метамодернизм, поскольку не довольствуется колебанием между противоположностями; не заумь и не футуризм, потому что впитал их без остатка. Смешение жанров, стилизаций и подражаний, более или менее пародийных, наводит на мысль об эклектизме, но и это лишь иллюзия определенности, а по сути – отказ от борьбы за определение. В заключение этой сумбурной преамбулы, можно сказать, что если эстетика Зингер в целом – это «гулизм», то ее поэтическая стратегия – это ассоциативно-лингвистический символизм, кружение кружев существующих и выдуманных слов, цепляющихся друг за друга острыми углами своих звучаний и значений, и как бы ведущих мысль за собой, в каждом стихотворении собирающих мозаику своего фантазийного силлогизма.

По-видимому, такой и может быть авангардная поэзия после того, как второй, третий, энный авангарды заняли свои места на полке канона. Как говорил Виктор Іванів, поэт и прозаик, памяти которого посвящены в книге три баллады, возобновление авангарда невозможно, но, тем не менее, случается снова и снова.

Поэзия же Зингер возвращается к шиллеровской наивности изнутри авангарда, в обход новой искренности и примитивизма, и потому ее тяга к стилизованной фольклорности и старинным жанрам, таким как баллада, кажется уместной и не только подражательной. Гали-Дана и Некод Зингеры не раз писали о своей приверженности неоромантизму, но первый неоромантизм сгорел в декадентских кругах начала двадцатого века, и вряд ли есть смысл возвращаться сегодня к старым пепелищам. В то же время, наивная поэзия была и есть «дитя жизни», «сама природа», так же, как и во времена Шиллера, хотя жизнь и природа весьма изменились с тех пор. Сегодня жизнь – это кажущееся парадоксальным, но таковым не являющееся, единство системности и самоорганизации, структурности и непредсказуемости, другими словами, очевидной сложности и неочевидной синергии, способной таковую сложность преобразовывать в новую, неочевидную и контринтуитивную, но научно адекватную, и в этом смысле наивную, простоту. В этом, как мне представляется, метафизическая суть поэзии Гали-Даны Зингер.

Перейдем теперь к сути «физической» – иронично сдвоенному солипсизму, обращенному к плотным, непрозрачным множющимся вещам или сущностям: «я поспешно закрыто. / как два полоумных спирита, / пешком идут взмах и взмах, / избегая оваций» («Снаяву»). Взмахи сдвоенных вещей и слов, как взмахи крыльев двух обращенных друг к другу херувимов, венчающих крышку ковчега завета, преследуют во сне и наяву, а точнее, между тем и другим, «там, где всё смутно и серо»; это в них живет время, и о них задан вопрос и получен ответ: «Где вещи прежних лет и дней? / (...) / Они почти что тут» («Баллада о дороге никуда»). Взмаху руки – взмаху времени – вторит «росчерк в ночном окне»: это имена исчезающих вещей пишутся магическими формулами («зовёшь, они нейдут») на пыли времен. И вот, наконец, обнаруживается всеохватное значение смутно-серого мира ушедших вещей и имен: это Элизиум, в котором героиня баллады одновременно и Эней, и Вергилий. При этом для Вергилия Эней – уже одна из душ в загробном мире: «и нас так тоже назовут». Взмах-росчерк, как жест прощания и расставания, имеет однако не ностальгический, а трезво критический оттенок разочарования и указывает на ту «чёрную полынью», в которой всё «в вещем крутится вранье». И

не случайно, несмотря на элегический тон, поэт избрала форму баллады – жанр сюжетный, напряженный, как пружина, сжатый между полюсами таинственности и ее разрешения, всегда не полного, и потому оставляющего привкус критического скепсиса.

Горьким разочарованием и скепсисом, но не ностальгией или пессимизмом, пронизаны многие стихотворения в книге. Довлеющие в первых балладах цвета – черный и белый – не столько служат данью мрачному символизму, сколько соединяются, как чернила и бумага, чтобы составить ту материю, из которой складываются слова-вещи, строки-тела. Именно с их недостаточностью, нехваткой связано самокритичное разочарование и недоумение героини, сжегшей, по ее словам, дотла свой словарь и теперь льющей «бесцветные чернила» на «бумажный атлас» («Баллада о симпатических чернилах»). Далее эта материя и ее цвета разнообразятся: «бритвенный ливень зеленых чернил» на-стурций («Баллада о верности»); словарь Даля, «увесит и багрян» («Баллада о несостоявшемся натуральном обмене»); «зелень и золото» листвы и волшебных волос Рапунцель («Баллада о том, что посередине»); «Солнечное пятно, Серебряное зерно» («Баллада о тягостном молчании»). И всё же это разнообразие служит одной цели: бескомпромиссной, почти математической самокритике письма, уводящего смысл, словно некий авангардистский не то Вергилий, не то Моисей, в «закрайний край» и «райское забытьё», в молчание и немоту, в прозрачный бред и лунатизм, словно ведущий в особого рода мифологических или герменевтических (что, как оказывается, одно и то же) салочках: «Тот, кто угадан, / Что ж, ему – / Черёд водить, / Черёд вести, / Пески и воды развести / И вывести во тьму» («Баллада о подвижных играх»).

Дантовское схождение в «приподземные края загробные» («Изнь») продолжается и во второй, заумной или обэриутской, части книги. Это «возврай», «котёл тел и темнот», смесь ада и рая, незнакомые «городва» «подземнодушия» («Поворачиваюсь к не бывает»). Здесь обитают и вовсе мифопоэтические чудовища, такие как «словалости», «полусловек», «трёхвостаруха», которые, как и все зингеровские сущности (или «не-сущности») и существа, множатся и кишат, «клеятся ластами», «прививаются» друг к другу. Несмотря на постоянные упоминания смерти и ожидания чего-то губельного или, по крайней мере, лиминального, мысль и

слово, в понимании Зингер, сталкиваясь с небытием, не оказывается на краю бездны, а, скорее, зависает посреди нее. Путешествие мысли в срединном царстве – вот ее основной поэтический миф, хронотоп ее героини и ее бытийная забота: «и если мысли / предать / среднемноте / они / на полуслове упадут / или повиснут / в лучаяны?» («Пока никто не слышит»). Цель этого путешествия – «тайкомое» («Смотрю вниз»): медиана, делящая и соединяющая тайное и знакомое; она – то искомое в математической задаче или теореме, форму которой стремится принять стихотворение Зингер. И вполне осознанно: медиана превращает два в три, данное в скрытое. Видя в двоеточии и троеточии, и вообще в «двудушии» («(Б,В,Г)ремя») и «растроении» («Начинаю в пословорядке»), символ самого письма (журнал Зингеров «Двоеточие» и его манифест – живое тому подтверждение), героиня ждет, когда одна из точек «откроется наскоро / в картонной коробке / задачи» («Запомникогда»). Можно не сомневаться, что в этой «медианной» поэзии должна открыться, как задача, средняя из трех точек, как в «двоеточии» (символе и журнале») открывается пространство между двумя точками.

Задача, задание или, говоря по-бахтински, заданность открывается, но отнюдь не всегда решается. Напротив, устанавливаемое ею «тайкомое» бытие всегда еще не готово; его письмо состоит из «букв чаянья», одето в «одежды межд», то есть оно целиком векторно, стремительно («лишь стремления чистая длительность»), хаотически непредсказуемо, и потому вечно оказывается «в сшибке сто-лба с той дверью», чревато «ошибками» («Начинаю в пословорядке»). Время, одна из основных тем в книге, есть переменная в такой задаче, уже не только математической, но и физической. Зачастую она нерешаема, ибо в ней оказываются «две переменные», и тогда героиня вынуждена «через силу / против воли» («(Б,В,Г)ремя») сама стать временем, то есть решением или той постоянной, которая делает решение возможным. Такое сугубо персоналистическое или психологическое решение героиня отвергает, как и решения «былософфов»: время – не история, не память, не именование (то есть не мифо- и целеполагание). Вслед за Аристотелем и Августином, Хайдеггером и Рикёром, она осознает иллюзорность прошлого и будущего, понимания и предвидения. Даже предметы превращаются в

«в меру подвижные копии / колебаний отчаяний чаяний»: «побуревшие очертания / чаинки на дне кофейника / прошловенная ржавчина / кружевная ржа ожиданий / ржаное тесто надежд». Решение задачи может быть дано только в настоящем и, возможно, за пределами видимости, образности, означивания как таковых, и, таким образом, увы, за пределами поэзии. Поэт взывает метафизического смысла, и время становится синонимом вневременности, вечности, вечной жизни и антонимом смерти, а мелькающая тень Раскольникова отмечает накал страстного, патетического, безответного ее отчаяния: «морга я вошь или время имею?». Но решение задачи о бессмертии души обречено на ошибку.

Ибо ошибочно всё – и мысль, и слово, и поэзия. Вера в слова – это «искус», «обольщение» («Песни обезизвествления – II»). И потому всё обрывает себя на «полусловности», несет «окоlesiцу» «на глухих околицах безвестности» («Песни обезизвествления – I»). Однако «ошибкий случай» (хаос) и «прилежное» (порядок) сливаются в странном аттракторе «мерного биения невзаимности» – невзаимности узнавания, понимания, прочтения, восприятия, влияния; и аттрактор этот есть «нежность». Так метафизическая поэзия переходит в философскую лирику. Тема «закрайнего края» баллад 2014 года продолжается и в стихотворениях 2016 года: «здесь невиданные поля», молочно-серые, «мёрзлые вусмерть» («Песни обезизвествления – III») спокойные поля Элизиума превращаются во всё расширяющиеся поля книжных страниц, поглощающие строку за строкой, пророчащие смерть, утрату и тоску, но также и покой. На фоне видений «Апокалипсиса», когда «времени больше не станет», появляется усталое, но нераздельное лирическое «мы» («Ещё три стихотворения – I»). В последних стихотворениях книги оно обретает пронзительный, почти сентиментальный голос в стилизованных диалогах, и, словно не выдержав собственной нежности, оно аннигилируется, превращается в героев по имени «нигде», «никогда», «никто», «ничего» и т.д. В заключение этой заметки скажу, что даже несмотря на это, философско-лирическая задача поэта ставится здесь, наконец, вполне определенно, с обескураживающей шиллеровской наивностью: «тяни свою лямку свой акт речевой / (...) / не расщепляя суть и существо», чтобы сыскать «своего

своего» («Желания»).

Михаил Юдсон

ДОБЫЧА ЧУДА

(Яков Шехтер, «Ведьма на Иордане», издательство «Книжники», Москва, 2017 г.)

Израильский прозаик Яков Шехтер явно продолжает славное дело Шмуэля-Йосефа Агнона и Исаака Башевиса-Зингера. Только у этих нобелевских лауреатов шел сплошной иврит да идиш, и к нам приходили переводы, а Шехтер сразу выдает на-гора родимую кириллицу. А так они из одной лавки писателей – быт у них смешан с Бытием, житейские гирьки соседствуют с весами небесными, бесы вырывают перо из хвоста у ангелов, проза пронизана гротеском, а истина – мистикой, в общем – с каббалы на тот еще бал!

В настоящей книге Шехтера обитают две повести и четыре больших рассказа, образующих вместе некий гармоничный шестиугольник, авторский щит от вторжения наружного хаоса. Аннотация учит: «Захватывающие сюжеты, непредсказуемые характеры, неожиданные параллели – реальность в произведениях Шехтера многомерна и насыщена. Поистине новаторским является стремление писателя решить теологическую задачу – увидеть Высшее присутствие в столкновении и переплетении человеческих судеб».

В рассказе «Повелительница ангелов» женщина Мазаль влюбляется в женатого мужчину Арье, казалось бы, обыкновенная скучная история. Но тут на сцене появляется старинный манускрипт, где на восемнадцатой странице записаны имена ангелов – и заржавевшие сцепления сюжета начинают работать по-новому. Ежели произнести, учтите, вслух имя ангела, то случится чудо, и он начинает тебе служить: «Я быстро отыскала восемнадцатую

страницу, прошептала имя ангела и попросила, чтобы ты стал моим, только моим, навсегда и только моим, до самого последнего дня.»

При этом, оказывается, Мазаль из «йеменской» общины с отцом-каббалистом, а Арье из ортодоксальной «литовской» семьи – страшно далеки они, плоть одного народа, друг от друга. Иудейский монотеизм монолитен и един лишь на первый взгляд, а для постепенно просвещаемого читателя открывается множество общин, «дворов», разбегающихся тропок вселенского сада и вавилонского Талмуда: «У каждой группы были свои синагоги, детские садики, школы, ешивы.» А заодно свои свары и разборки, разбитые носы и колена – гурские на горских, коцкие на гадских!

Но ангел, чертяка, все в итоге устроил, свел воедино, медвежьи услужил – жена и дочь Арье в одночасье гибнут в автокатастрофе (дух вон из машины!), сам он от ужаса впадает в кому, а очнувшись, неутешный вдовец совсем уже было женится на счастливой Мазаль, однако на свадьбе валится с лестницы да головой о ступеньку – и второй блин комом: «Сознание не вернулось к Арье. Он проснулся годовалым младенцем и, по мнению врачей, останется таким навсегда... Да, теперь он ее, только ее, навсегда и только ее, и останется с ней до самого последнего дня.»

Впрочем, вкрадчиво пишет Шехтер, «чудо всегда возможно, Мазаль каждый день молит о нем, ложась и вставая.» Уж эти просящие еврейские женщины – я вас умоляю!.. Очень мне понравилось у Якова Шехтера: «– Все женщины немножко ведьмы, – ответил он цитатой из Талмуда.» Выходит, Гоголь в своем ужастике «Вий», говоря о «хвистике» у баб, повторял зады Талмуда, забавно.

Многослойный текст Шехтера, его метафизический метафоризм, нуждаются в определенном читательском усилии, домашней расшифровке: «Но когда упирает Всевышний человека носом в стену, то помимо изумрудных лишайников и полосок рыхлого под ногтем раствора между кирпичами судьбы Он приуготовляет бедолаге потайную дверь на скрипучих петлях.» Вопрос лишь в том, начинаешь кумекать, куда эта дверца ведет – в райский дворец или в глубокую строительную яму, как в притче Герберта Уэллса «Дверь в стене». Да и кирпич судьбы на свою голову во-

ландается поблизости. Уэллсовская дверь, булгаковский кирпич, набоковский грузовик – коли нет Гейзихи, значит, все позволено...

В прозе Шехтера явно переночевала сверхзадача – там все не так просто и таки не просто так: «Только далеким от Учения простакам кажется, будто миром управляют президенты и диктаторы.» На самом деле все течет и меняется, плодится и размножается под диктовку Торы. Для автора обязателен «оттенок высшего значения», и по страницам Шехтера в его историях и снах бродят тени с набоковских берегов и из бунинских темных аллей, а порой и Эко логично приплести для чистоты литературного эксперимента. Вдобавок отмечу, что полное имя шехтеровского персонажа Арье-Ор, а фамилия его Ланда, из рода знаменитого комментатора Книги, жившего триста лет назад в Праге. Все эти подробности хитросплетаются в узор, глина прозы големно оживает – ба, с размаху хлопаешь себя по лбу, да ведь у Вирджинии Вульф есть рассказ «Орландо» (Ор-Ланда), где герой то и дело впадает в спячку – тут отворяется еще одно измерение, очередной этаж текста, несть им числа, а прозе дна. Читателю надобно набрать в карманы побольше камней (время философски собирать) и постепенно, не спеша входить поглубже в текст – погружаться... Тогда и наслаждение должное получишь.

Автор тоже не сидит сложа руки, он старательно внушает нужное, муштрует нерадивого читатю, как бы окунает его макушкой в микву: «Вникни и нишкни!» Действительно, ну что мы можем знать о помыслах и замыслах Творца?! Словно муравейцман какой-нибудь знай ползай отпущенный срок на покрытом письменами поднебесном необъятном листе, плюс наверняка это еще и лист мёбиусный. Книженция Судеб! Поди разбери усиками-антеннами...

Я намеренно столь подробно остановился на первом же рассказе из сборника Шехтера – просто привел пример презентуемой прозы, а там и дальше словесных радостей немерено и заманчивых миров вдосталь. Не зря по словам аннотации: «Яков Шехтер известен российскому читателю прежде всего как автор серии книг “Голос в тишине”, в которых он искусно воссоздает мир хасидского еврейства, с его философией и самобытностью.» Мистикчковая реальность! Да и отпочковавшийся от черты галута, от борща с чесночком и галушек с Пацюком, современный Израиль все равно предстает патриархально-буколическим, ешиботно-хуторским –

этакая «Касриловка с ракетами», с чертями и чудотворцами. Вареники с оливками!..

Вслед за Мазаль, молящей о чуде, на страницах книги возникает целая вереница верящих в чудеса, мечущихся меж двух зайцев – согрешить и покаяться. Лодки-каяки, на которых плавают персонажи повести «Ведьма на Иордане», даны нам как ступени понимания: лестница может вести не только вверх, к твердыне духа, и не одни ангелы спуют по ней, существует еще и «боковой рост» (так писал про эротику Розанов), влажная горизонталь жизни – Лестница Каякова.

И о чем бы Яков Шехтер ни повествовал, какие бы стиральные машины счастливого рутинного быта ни монтировал, а выходит у него про любовь. Женщина как лилитлолитный соблазн, как чудное мгновенье, бунинский солнечный удар, булгаковский опять же финский нож... Даже в сказке, как обозначил текст автор, «Торквемада из Реховота», неподкупный судья раввинского суда, суровый толмач и глашатай Торы, великий израильский инквизитор, отправляющий гойских ведьм на костер депортации, в изгнание на метле – и тот обжигается на женщине, да на ужас собственной жене. Тоже мне Торквемада! А прочитав наоборот, как положено, справа налево, получится – Адам Ев крот. Не рой другим ямку...

То ли дело Янкл из повести «Пощечина» – честный простой столяр с хищным глазомером – там чистая поэзия. Хронотоп оседлости! Талмудические штудии в начальной стадии, одухотворенно пахнет стружками, хрустит снежок под ногами, лежит заваленное сугробами местечко – штетл, печется пирог – кугл, герой надевает молитвенный пояс – гартл, и несет ребе записку с просьбой – квитл... Начитаешься такого и искренне проникаешься духом, нахватываешься искр и становишься светл! Торчишь в своей тельавивской глуши и вздыхаешь – ох, чулан мой утл, вот догрызу кугл, затяну потуже гартл, да подам Ребе небесному квитл, чтоб услал меня в заоблачный штетл... Отпусти пипл! Дай войти в гугл обетованный.

Естественно, не только мне по нраву миры Шехтера, но и многим, и многим. Приведу мнение Дины Рубиной: «Увлекательный сюжет, точная прорисовка характеров, многоплановость, гармоничность архитектоники – этим объединены произведения в сборнике, написанные в разное время. Когда художник находит в себе силы могучим усилием интеллекта и души переступить за край по-

слания, очерченного им самому себе, это настоящая победа. Шехтеру такое удалось.»

Перед нами, по сути, «Пакс Шехтериана» – парк хасидского периода, подконтрольные автору территории, неизведанные земли прозы. Яков Шехтер выращивает еврейскую литературу на роскошном мировом компосте, варит свой компот из классических ягод. Авторская цимесорубка работает вовсю – для тех, кто понимает. Его фишка в том, что он наполняет, фарширует «рыбу» текста личным, прочитанным – причем вполне учтиво, убедительно и увлекательно. Сие отнюдь не вторая производная (даже в переказах хасидских историй) – а абсолютно новая проза.

Рефрен же в книге Шехтера, блуждающий по строчкам путеводный огонек – это слово «чудо» в разных видах. Вот навскидку: «без вмешательства потусторонних сил и чудес»; «можно было только чудом»; «происходит необыкновенное, удивительное, чудесное»; «поглощен случившимся чудом»; «это просто чудо»; «чудесный сад»; «это было так чудесно»; «мало надеялся на чудо»; «бродить по чудесному лесу» (это, читатель, об Учении, о глубокой поверхности страниц); «скрытые чудеса»; «великий чудотворец»; «никаких чудес на свете не бывает» (черная ирония автора – жену персонажа зовут Света, детей, увы, нет); «чудеса валялись в этом доме под ногами»...

И в этом томе Шехтера – чудес битком, под завязку. Здесь происходит ударная добыча чуда, как угля из шахт, а с другой стороны текста мы сами являемся добычей чуда – оно утаскивает нас в свой мир, исполняющий обязанности реальности, с иорданскими водяными ведьмами и хасидскими разудалыми свадьбами, где все вращается по велению Учения, и трещит за печкой неумолчный сверчок веры – на троих с надеждой и любовью...

У Якова Шехтера в текстах будто вечная ханука с зажиганием свечей – автор неустанно будит, расталкивает нашу душу, заводит свой волчок: «Чудо великое свершилось тут».

Ну и хорошо, а то ж сон чуда, как известно, рождает чудовищ. Будем верить – и Шехтеру, и вообще. Давно и точно замечено: самое диковинное чудо – человек, не верящий в чудеса.

СТИХИ И СПРУНУЫ

Ирина Морозовская

О песнях Сергея Труханова

УЛЕТАЕТ ЖИЗНЬ МОЯ ОТ МЕНЯ, УЛЕТАЕТ ДАЛЕКО-ДАЛЕКО...

<https://www.youtube.com/watch?v=WN2Yh6JkVu0>

Это подхватили и пели все вокруг, потому что песенка забирала сразу и долго не отпускала. Такая, знаете, обманчивая лёгкость и офигенная мелодичность. Ещё “В ПЫЛИ И СКАЛАХ”, тоже на стихи Ольги Нечаевой <https://www.youtube.com/watch?v=8IUUVugjzmU> мгновенно стала хитом, им и осталась, и поминали Серёжу в соц-сетях по большей части ею либо той, что на стихи Бродского “НАВСЕГДА РАССТАЁМСЯ”

<https://www.youtube.com/watch?v=S8KTfkFaeBQ...>

Пишу это на курене, здесь у меня давно живут диски Труханова, два лета подряд часто слушала “Песни потерпевшего кораблекрушение”. Голос Сергея всегда уводил меня с того места, где я оказывалась, в другое – не обязательно горние выси или бездны, просто уводил. Как дудочка Крысолова, только доброго.

И когда я где-нибудь застревала и понимала, что заблудилась – его песни срабатывали, как голос в лесу, на который идёшь и выходишь к жилью, теплу и свету в окошках, к другим людям.

Сама я больше ценила и переслушивала другие его песни – на стихи Ольги Родионовой прежде всего. Лечилась ими.

Мы не были особо близки с Сергеем Трухановым. Так, знакомы, два десятка лет в одной тусовке ведь. При любой возможности тянулась его слушать. Подпевала, немного недоумевала – как, вот как так это у него получилось, немного завидовала. Потому что из тех, кто пишут на чужие стихи, в нашем поколении – Сергей единственный, кого я признавала круче себя. И дело не в волшебной его гитаре и отчаянно точном понимании того, что и о чём он поёт. А в глубине, в которую он заныривал, чтоб вытащить, как светящиеся

во мраке жемчужины, вот эти мелодии. Мне туда ходу не было. Теперь понимаю – что и не выдержала бы. Да и он не выдержал, но смог и сумел.

И то, что он делал и как вёл себя вот эти полтора года от начала болезни – невероятно по мужеству и достоинству и самоотдаче.

Обычно, когда настает пора писать эту колонку – начинаю потихоньку слушать и вспоминать песни автора. Сейчас раз за разом приключалась такая фигня, что на третьей песне – любой, с чего ни начинала, приходилось искать бумажные салфетки и носовые платки – потому что неизвестным образом организм сам выдавал полный нос и мокрые щёки. Не только от так и неподъёмного мне пока осознания того, что ни Сергея, ни новых песен уже не будет в этом мире, а и от ощущения какого-то персонального сиротства – нет, сирота – это тот, кто потерял родителя. Сиротство пережила при уходе своего Учителя – Александра Андреевича Дулова. А как называется переживание потери брата? С которым далеко жили и редко общались, но вот это кровное и общее – оно ж не от того, как часто видишься, оно просто есть. Было.

Сейчас я покажу своё любимое, заветное и невозможное: на стихи Ольги Родионовой НИЧЕГО БОЛЕЕ

<https://www.youtube.com/watch?v=-mrJxNeeE2Y>

И “КОЛОКОЛЬЧИК, ГОЛОС ВЕТРА”

<https://www.youtube.com/watch?v=ONptm3CsGtg>

и на стихи Арсения Тарковского ничего лучше не написано “БАБОЧКА В ГОСПИТАЛЬНОМ САДУ”

<https://www.youtube.com/watch?v=ErLPmsmwLKY>

В сети есть немало его выступлений за все эти годы. И все последних пары лет концерты, всё теперь совсем рядом – кроме самого Сергея.

Вот ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ТРУХАНОВА В “ГИПЕРИОНЕ”

<https://www.youtube.com/watch?v=U93rTHwfpfo>

и чудесный “домашник” в Америке, где он и остался:

<https://www.youtube.com/watch?v=p2JIIT8zb1c>

Там совсем новое тоже есть.

Послушайте, а?

Сведения об авторах

Дина Рубина – писатель. Живет в Мевассерет-Ционе.

Анна Файн – каббалистка, прозаик, колумнист. Живет в Бней-Браке.

Ирина Маулер – поэт, художник. Живет в Ришон ле-Ционе.

Эли Люксембург – прозаик. Живет в Иерусалиме.

Григорий Подольский – врач, прозаик. Живет в Иерусалиме.

Валентин Толецкий – филолог, прозаик. Живет в Санкт-Петербурге.

Глеб Шульпяков – поэт, прозаик. Живет в Москве.

Яков Шехтер – писатель. Живет в Холоне.

Ирина Власова – прозаик, поэт, художник. Живет в Антверпене.

Марина Ариэла Меламед – поэт, бард. Живет в Иерусалиме.

Игорь Губерман – поэт, Живет в Иерусалиме.

Игорь Божко – художник, поэт. Живет в Одессе.

Борис Фэрр – поэт, филолог. Живет в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Стровский – поэт, историк. Живет в Ариэле.

Григорий Кульчицкий – поэт, журналист. Живет в Хайфе.

Михаил Каганович – поэт, прозаик. Живет в Москве.

Александр Карабчиевский – прозаик, драматург. Живет в Тель-Авиве.

Роза Ляст – историк. Живет в Бней-Браке.

Галина Подольская – писатель, искусствовед. Живет в Иерусалиме.

Илья Абель – литератор, критик. Живет в Москве.

Эдуард Бормашенко – философ, физик. Живет в Ариэле.

Даниэль Клугер – писатель. Живет в Реховоте.

Михаил Сидоров – историк, публицист. Живет в Азоре.

Аарон Мунблит – журналист. Живет в Тель-Авиве.

Илья Корман – поэт, литературовед. Живет в Тель-Авиве.

Роман Кацман – филолог, переводчик. Живет в Реховоте.

Михаил Юдсон – литератор. Живет в Тель-Авиве.

Ирина Морозовская – психолог, бард. Живет в Одессе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

**Яков Шехтер
Михаил Юдсон**

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия:

**Ирина Маулер (раздел поэзии), Ирина Морозовская (раздел
“Стихи и струны”), Анна Мисюк,
Эдуард Бормашенко, Денис Соболев (раздел литературной
критики), Давид Шехтер (раздел публицистики)**

Компьютерная обработка:

Амнон Пасхин

Почтовый адрес:

**Michael Yudson, Journal “Article”. P.O.B. 44050,
Tel-Aviv 61440, Israel**

Телефон: 050-908-03-48 (в Израиле)

(972)-50-908-03-48 (для заграницы)

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Сайт журнала:

<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtiki>

Стоимость годовой подписки (с пересылкой):

**в Израиле – 200 шекелей,
за рубежом – 100 долларов.**

